

Пути небесные. Том I

Иван Шмелёв

Содержание

- [I ОТКРОВЕНИЕ](#)
- [II НА ПЕРЕПУТЬЕ](#)
- [III ИСКУШЕНИЕ](#)
- [IV ГРЕХОПАДЕНИЕ](#)
- [V ТЕМНОЕ СЧАСТЬЕ](#)
- [VI ОЧАРОВАНИЕ](#)
- [VII ОТПУЩЕНИЕ](#)
- [VIII СОБЛАЗН](#)
- [IX ПРОЗРЕНИЕ](#)
- [X НАВАЖДЕНИЕ](#)
- [XI ПРЕЛЬЩЕНИЕ](#)
- [XII ВОСХИЩЕНИЕ](#)
- [XIII ЗНАК](#)
- [XIV ЗЛОЕ ОБСТОЯНИЕ](#)
- [XV ШАМПАНСКОЕ](#)
- [XVI МЕТЕЛЬ](#)
- [XVII МЕТЕЛЬНЫЙ СОН](#)
- [XVIII ОБОЛЪЩЕНИЕ](#)
- [XIX МЕТАНИЕ](#)
- [XX ДЬЯВОЛЬСКОЕ ПОСПЕШЕНИЕ](#)
- [XXI ПОМРАЧЕНИЕ](#)
- [XXII ЗНАМЕНИЕ](#)
- [XXIII ОТЧАЯНИЕ](#)
- [XXIV ИССТУПЛЕНИЕ](#)
- [XXV «ПРЕЛЕСТЬ»](#)
- [XXVI ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ](#)
- [XXVII МАСКАРАД](#)
- [XXVIII ВРАЗУМЛЕНИЕ](#)
- [XXIX КРЕСТНЫЙ СОН](#)
- [XXX ПОСЛУШАНИЕ](#)
- [XXXI ПОПУЩЕНИЕ](#)
- [XXXII ПРЕОБРАЖЕНИЕ](#)
- [XXXIII ИСХОД](#)

I ОТКРОВЕНИЕ

Эту чудесную историю — в ней земное сливается с небесным — я слышал от самого Виктора Алексеевича, а заключительные ее главы проходили почти на моих глазах.

Виктор Алексеевич Вейденгаммер происходил из просвещенной семьи, в которой перемешались вероисповедания и крови: мать его была русская, дворянка; отец-из немцев, давно обрусевших и оправославившихся. Фамилия Вейденгаммер упоминается в истории русской словесности; в 30-40-х годах прошлого века в Москве был «благородный пансион» Вейденгаммера, где готовились к университету дети именитых семей, между прочим — И. С. Тургенев. Старик Вейденгаммер был педагог требовательный, но добрый; он напоминал, по рассказам Виктора

Алексеевича, Карла Ивановича из «Детства и отрочества». Он любил вести со своими питомцами беседы по разным вопросам жизни и науки, для чего имелась у него толстая тетрадь в кожаном переплете, прозванная остряками «кожаная философия»: беседы были расписаны в ней по дням и месяцам, — своего рода «нравственный календарь». Зимой, например, беседовали о благотворном влиянии сурового климата на волю и характер; великим постом-о душе, о страстях, о пользе самоограничения; в мае — о влиянии кислорода на организм. В семье хранилось воспоминание, как старик Вейденгаммер заставил раз юного Тургенева ходить в талом снегу по саду, чтобы расходить навалившееся «весеннее онеменение». Такому-то систематическому воспитанию подвергся и Виктор Алексеевич. И, по его словам, не без пользы.

Виктор Алексеевич родился в начале сороковых годов. Он был высокого роста, сухощавый, крепкий, брюнет, с открытым, красивым лбом, с мягкими синими глазами, в которых светилась дума и вспыхивало порой тревогой. Всегда в нем кипели мысли, он легко возбуждался и не мог говорить спокойно.

В детстве он исправно ходил в церковь, говел и соблюдал посты; но лет шестнадцати, прочитав что-то запретное, — Вольтера или Руссо, — решил «все подвергнуть критическому анализу» и увлекся немецкой философией. Резкий переход от «нравственного календаря» к Шеллингу, Гегелю и Канту вряд ли мог дать что-нибудь путное юному уму, но и особо вредного не случилось: просто образовался некий обвал душевный.

— В церкви, в религии я уже не нуждался, — вспоминал о том времени Виктор Алексеевич. — многое представлялось мне наивным, детски-языческим. «Богу — если только Он есть надо поклоняться в духе, а в поклонении Бог и не нуждается», — думал я. И он стал никаким по вере.

Сороковые годы ознаменовались у нас увлечением немецкой философией, шестидесятые — естественными науками. В итоге последнего увлечения — крушение идеализма, освобождение пленной мысли, бунтарство, нигилизм. Виктор Алексеевич и этому отдал дань.

— Я стал, в некотором смысле, нигилистом, — рассказывал он, — даже до такой степени, что испытывал как бы сладострастие, когда при мне доходили в спорах до кощунства, до скотского отношения к религии. В нем нарастала, по его словам, «похотливая какая-то жажда-страсть все решительно опрокинуть, дерзнуть на все, самое-то священное... духовно опустошить себя». Он перечитал всех борцов за свободу мысли, всех безбожников-отрицателей и испытал как бы хихикающий восторг.

— С той поры «вся эта ерунда», как называл я тогда религию, — рассказывал Виктор Алексеевич, — перестала меня тревожить. Нет ни Бога, ни дьявола, ни добра, ни зла, а только «свободная игра явлений». И все. Ничего «абсолютного» не существует. И вся вселенная — свободная игра материальных сил.

Окончив Московское техническое училище, Виктор Алексеевич женился по любви на дочери помещиков-соседей. Пришлось соблюсти порядок и окрутиться у аналоя. Скоро и жена стала никакой, поддавшись его влиянию, и тем легче, что и в её семье склонялись к «свободной игре материальных сил».

— С ней мы решали вопросы: что такое — нравственное? что есть разврат? Свободная любовь унижает ли нравственную личность или наоборот, возвышает, освобождая ее от опеки отживших заповедей? И приходили к выводу, что в известных отношениях между женщиной и мужчиной нет ни нравственности, ни разврата, а лишь физиологический закон отбора, зов, которому, как естественному явлению, полезней подчиняться, нежели сопротивляться, что брезгливость и чистоплотность являются верным регулятором, что отношение к явлениям зависит от наших ощущений, а не от каких-то там «ве-ле-ний». И вот когда то случилось, — рассказывал Виктор Алексеевич, — о н а... — он никогда не говорил «жена», — она мне с усмешкой бросила: «Никакого разврата, а... физиологический закон отбора... и зависит от наших настроений!»

Курс он кончил с отличием. Еще студентом он сделал какие-то открытия в механике, натолкнулся на идею двигателей нового типа, «как бы предвосхитил идею двигателей внутреннего сгорания дизеля».

Первые годы женитьбы он все свободное время сидел за своими чертежами, пытаясь осуществить идею. Жена любила наряды, хотела блистать в свете и блистала, а он, при всей своей страстности к жизни и ее дарам, «чуть ли не похотливости к жизни», как он откровенно признавался, вычислял и вычерчивал, уносился в таинственный мир механики, тщаь раскрыть еще неразгаданные ее тайны. Его стали томить сомнения: хорошо ли сделал, что стал инженер-механиком? не лучше ли было бы отдаться «механике небесной» — астрономии? Он схватился за астрономию, за астрономическую механику, и ему открылась величественная картина «движений в небе». Он читал дни и ночи, выписывал книги из Германии, и на стенах его кабинета появились огромные синие полотна, на которых крутились белые линии, орбиты, эллипсы... — таинственные пути сил и движений в небе.

А пока он отдавался астрономии, семейная его жизнь ломалась.

Он тогда служил на железной дороге, проходил стаж; ездил и кочегаром, и машинистом, готовясь к службе движения. Как раз в ту пору началась железнодорожная горячка, инженерами дорожили, и ему открывалась блестящая дорога. И вот, когда он трясся на паровозе и подкидывал дрова в топку или вглядывался в звездами засыпанное небо и в мыслях его пылали «пути небесные», строго закономерные для него, как пара блестящих рельсов, — семейная его жизнь сгорела.

Вернувшись как-то домой раньше обещанного часа, он увидел это с такой оголенной ясностью, что, не сказав ни слова, — чего ему это стоило! — решительно повернулся и как был в промасленной блузе машиниста, так и ушел из дома: здесь ему делать нечего. Снял комнату и послал за вещами и книгами. У него уже было двое детей, погодки. Он написал родителям жены, прося позаботиться о детях, — старики Вейденгаммеры уже померли. Родители пробовали мирить, приводили детей, чтобы тронуть «каменное сердце», но он остался неумолим. Жена требовала на содержание и отказалась принять на себя вину. Он даже не ответил, и она написала ему в насмешку: «Никакой вины, а просто... закон отбора». Он написал на ее записке «Потаскушка» и отослал. Тем семейная жизнь и завершилась. Он давал детям на воспитание, но потребовал, чтобы жили они у бабушки, и иногда приезжал их поцеловать.

Вскоре он занял видное место на дороге, но скромной жизни не изменил: жил замкнуто, редко даже бывал в театре, — «жил монахом» — и все свободное время отдавал своим чертежам и книгам.

— И вот, — рассказывал он, — что-то мне стало проясняться. Я видел с и л ы, направляющие движение тел небесных, разлагал их и складывал, находил точки, откуда они исходят, прокладывал на чертежах силы главного порядка... и видел ясно, что эти новые силы предполагают наличие новых сил. Но и этот новый порядок сил... одним словом, открывались новые силы еще еще... и эти новые, назовем их «еще-силы», необходимо было сложить и свести к единой. Хорошо-с. Но тогда к чему ее-то свести, эту единую?.. И откуда она, этот абсолют, этот исток-сила? Этот исток-сила не объясним никакими гипотезами натурального порядка. А раз так, тогда все законы механики летят как пыль! Становилось мне все ясней, что тут наше мышление, наши законы-силы оказываются — перед небом! — ку-уцыми. Или же тут особая сверхмеханика, которая в моей голове не уместается. Тут для меня тупик, бездонность Непознаваемого, с прописной «Н», — н е знаю, н е понимаю, н е... принимаю, наконец! Все гипотезы разлетелись как мыльные пузыри. Но как-то мелькнуло мне, озарило и ослепило, как молнией, что я узнаю, увижу... не глазами, не мыслью, а за-глазами, за-мыслью... понимаете, что я хочу сказать?.. — что я найду доказательство особой, как бы вне-пространственно-материальной силы, и тогда станет ясно до осязаемости, что все наши формулы, гипотезы и системы тут — ничто, ошибка приготовишки, сплошное и смехотворное вранье, все эти «законы» — для Беспредельного — чистейшая чепуха. И удивительно что еще? Да то, что называется «по Сеньке и шапка»: как еще из всей этой чепухи что-то еще мы получаем, какие-то все-таки законцы, и законцы относительно даже верны, в

пределах пригготовительного класса.

Как-то ранней весной, когда уже таял снег и громыхали извозчики, он засиделся за чертежами, докурился до одури. Взглянул на часы — час ночи. Он открыл форточку, чтобы освежиться, и у него закружилась голова. Это прошло сейчас же, и взгляд его обратился к небу. Черная мартовская ночь, небо пылало звездами. Таких ярких, хрустально-ярких, он еще никогда не видел. Он долго смотрел на них, за них, в черную пустоту провалов.

— И такую страшную почувствовал я тоску, — рассказывал он, — такую беспомощность ребячью перед этим бездонным н е п о н я т н ы м, перед этим Источником всего: сил, путей, движений!..

Черно-синие бархатные провалы перемежались седыми пятнами, звездным дымом, дыханьем звездным, — мириадами солнечных систем. Он беспомощно обводил глазами ночное небо, в глазах наплывали слезы, и ему вдруг открылось...

— Трудно передать словами, что тут случилось со мной, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Прошло лет тридцать, но я как сейчас вижу: все дрогнуло, все небо, со всеми звездами, вспыхнуло взрывами огней, как космический фейерверк, и я увидел бездонность... нет, не бездонность, а... будто все небо разломилось, разодралось, как сверкающая бескрайняя завеса, осыпанная пылающими мирами, и там, в открывшейся пустоте, в не постижимой мыслью бездонной глыби... — крохотный, тихий, постный какой-то огонек, булавоочная головка света, чутошный-чутошный проколик! И в неопределимый миг, в микромиг... не умом, я постиг, в чем-то... каким-то... ну, душевным, что ли, вот отсюда идущим чувством?.. — показал он на сердце, — что исследовать надо там, та-ам, в этом проколикке...но — и это самое оглушающее! — и там-то... опять на-ча-ло, начало только, — все такое же, как и это, только что разломившееся небо! Меня ослепило, оглушило, опалило, как в откровении: дальше уже н е л ь з я, дальше — конец человеческого, предел.

Это был обморок, от переутомления, от перенапряжения мысли и зрения, может быть — от чрезмерного куренья, от дохнувшей в него весенней ночи. Он увидел себя на полу, лицом в полуосвещенный потолок. В открытую форточку вливался холодный воздух. Он поднялся, совсем разбитый, и поглядел в небо с неопределимо тревожным чувством. Звезд уже не было: так, кое-где, мерцали, в сквозистой ватке наплывающих облаков. Все было обыкновенное, ночное.

Это был обморок, продолжавшийся очень долго: часы показывали половину второго.

После он вспоминал, что в блеске раздавшегося неба огненно перед ним мелькали какие-то незнакомые «кривые», ж и в ы е, друг друга секущие параболы... новые «пути солнца», — новые чертежи небесной его механики. Тут не было ничего чудесного, конечно, рассуждал он тогда, а просто-отражение света в мыслях: мыслители видят свои мысли, астрономы — «пути планет», и он, инженер-механик и астроном-механик, мог увидеть небесные чертежи — «пути». Но и еще, иное, увидел он: «бездонную бездну бездн» — иначе и не назвать. И в этом — еще, другое, до осязания внятное всем существом его: тот огонек-проколик, «точку точек», — так в нем определилось, — «предел человеческих пределов, конец, бессилие».

— Со всяким подобное случалось, только без вывода, без «последней точки», — рассказывал Виктор Алексеевич. — Вы лежите на стогу в поле, ночью, и загляделись в небо. И вдруг звезды зареяли, заполошились, и вы летите в бездонное сверканье. Но что же вышло, какой итог? Я почувствовал пустоту, тщету. И раньше сомнения бывали, но тут я понял, что я ограблен, что я перед э т и м как слепой крот, как эта пепельница! что мои силы, что силы всех Ньютонов, Лапласов, всех гениев, всех веков, до скончания всех веков, — ну, как окурок этот!.. — перед этим «проколиком», перед этой булавоочной головкой-точкой! Мы дойдем до седьмого неба, выверим и начертим все пути и движения всех допредельных звезд, вычислим исчислимое, и все же-пепельница, и только. В отношении Тайны, или, как я теперь говорю благоговейно, — Господа-Вседержителя. Вседержителя! Это вот прежнего моего, что я найти-то тщился, занести на свои «скрижали», — Источника сил, из Которого истекает Всё. Я почувствовал, что ограблен, Вот

подите же, кем-то ограблен! протест! Я, окурок, — тогда-то! — не благоговею, а проклиная, готов разодрать сверкающее небо, будто оно ограбило. Не благодарю за то, что было мне откровение, — было мне откровение, я знаю! — а плюю в это небо, до обморока плюю. Теперь я понимаю, что и обморок мой случился не от чего-то, а от этого «оскорбления», когда я в один микромиг постиг, что дальше — н е л ь з я, конец. И почувствовал пустоту и тоску такую, будто сердце мое сгорело и там, в опаленной пустоте, только пепел пересыпается. Нет, не сердце сгорело: сердце этой тоской горело, а сгорело вот это... — показал он на лоб, — чудеснейший инструмент, которым я постигал, силился постигать сверх — все.

После открывшегося ему комната показалась такой давящей, будто закрыли его в гробу и ему не хватает воздуха. Он забегал по ней, как в клетке, увидел синеющие кальки с путанными на них «путями неба», хотел сорвать со стены и растоптать, и почувствовал приступ сердца — «будто бы раскаленными тисками». Подумал: «Конец? не страшно».

Он не мог оставаться в комнате и выбежал на воздух. Была глубокая ночь, час третий. Он пошел пустынными переулками. Под ногой лопались с хрустом пленки подмерзших луж, булькало и журчало по канавкам. Пахло весной, навозцем, отходившей в садах землей. Москва тогда освещалась плохо. Он споткнулся на тумбочку, упал и ссадил об ледышки руку. «По земле-то не умеешь ходить, а...» — с усмешкой подумал он и услышал оклик извозчика: «Нагулялись, барин... прикажите, доставлю... двугривенничек бы, чайку попить». Голос извозчика его обрадовал. Он нашарил какую-то монету и дал извозчику: «На, попей». И услышал за собой; «А что ж не садитесь-то? Ну, покорно благодарим». Это «покорно благодарим» будто теплом обвеяло.

На Тверском бульваре горели редкие фонари-масленки. Ни единой души не попадалось. Он наткнулся на бульварную скамейку, присел и закурил. Овладевшая им тоска не проходила. Все казалось ему никчемным, без выхода: то были цели, а теперь вдруг открылось, что- ничего. Кончить?.. — сказало в нем, и ему показалось, что это выход, Так же, как в юности, в пору душевной ломки, когда он решил «все пересмотреть критически», когда полюбил первой любовью, и эта любовь его — девочка совсем — в три дня умерла от дифтерита. И, как и тогда, он почувствовал облегчение: выход есть.

II НА ПЕРЕПУТЬЕ

Мартовская ночь, потрясая Виктора Алексеевича видением раскрывшегося неба, стала для него о т к р о в е н и е м. Но постиг он это лишь по прошествии долгих лет. А тогда, на Тверском бульваре, он был во мраке и тоске невообразимой.

— Стыдно вспомнить, — рассказывал он, — что это «неба содроганье» лишь скользнуло по мне... хлыстом. Какое там откровение! Просто хлестнули по наболевшему месту — по пустоте, когда лопнуло мое «счастье». Вместо того, чтобы принять «серафима», явившегося мне на перепутье, внять «горний ангелов полет», я только и внял, что «гад морских». Закопошились во мне, подушные, и отравляющей верткой мыслью я истачивал остававшееся во мне живое: «Все мираж и самообман, и завтра все то же, то же», Если бы не покончил с собой, наверное, заболел бы, нервы мои кончались. Но тут случилось, что случается только в самых что ни на есть романтических романах и — в жизни также.

Он стал представлять себе, не без острого наслаждения, как э т о будет: не больше минуты, и... спазм дыхания, судороги, и — ничего, мрак. Он знал один кристаллик, как рафинад... если в стакане чаю размешать ложечкой, и — глоток!.. Когда-то, при нем, техник Беляев, в лаборатории ошибся — не вскрикнул даже. И потом н и ч е г о не будет. Эти грязные фонари будут себе гореть, а там... — поглядел он в небо, где проступали звезды, — эти, светлые, будут сиять все так же, пока не потухнут все от каких-то неведомых «законов», и тогда все «пути» закончатся... чтобы начать все снова? И ему стало грустно, что они еще будут, и долго будут, когда его не будет, А вдруг после т о г о, после «кристаллика», и о т к р о е т с я? Мысль о «кристаллике» становилась все заманчивей. «Ничего не откроется, а... „лопух вырастет“, верно сказал тургеневский Базаров!..» —

проговорил он громко, язвительно и услышал вздох рядом. Вздрыгнул и поглядел: на самом краю скамейки кто-то сидел, невидный. Кто-то подсел к нему, а он и не заметил. Или — кто-то уже сидел, когда он пришел сюда?

Он стал приглядываться: кажется, женщина?.. сжавшаяся, в платке... какая-нибудь несчастная, неудачница, — для «удачи» все сроки кончились. Как с извозчиком в переулке, стало ему свободней, будто теплом повеяло, и ему захотелось говорить: но что-то удержало, — пожалуй, еще за «кавалера» примет и обратится в пошлость, в обычное- «угостите папироской». Он испугался этого, поднялся — и сел опять.

— Я вдруг ясно в себе услышал: «Не уходи!» — рассказывал Виктор Алексеевич. — Никакого там «голоса», а... жалость. Передалось, мне душевное томление жавшейся робко на скамейке, на уголке. Если бы не послушал жалости, «кристаллик» сделал бы свое дело наверняка.

— Я испугалась, что станут приставать, — много спустя рассказывала Дарья Ивановна, — сидела вся помертвелая. Как они только сели, хотела уйти сейчас, но что-то меня пристукнуло. У меня мысли путаются, а тут кавалер бульварный, свое начнет. Встали они — сразу мне стало легче, а они опять сели.

Он закурил — и при свете спички уловил обежавшим взглядом, что сидевшая — в синем платье, в ковровой шали, в голубеньком платочке и совсем юная. Не мог усмотреть лица: показалось ему, — заплакано. По всему — девушка-мастерица, выбежала как будто наспех.

— Я сразу поняла, что это серьезный барин, — рассказывала Дарья Ивановна, — и им не до пустяков, и очень они расстроены. И сразу они мне понравились. Даже мне беспокойно стало, что они покурят и отойдут.

При первых его словах, чтобы только заговорить, — «А который теперь час, не знаете?» — сидевшая сильно вздрогнула, будто ее толкнули, — это он почувствовал в темноте, не видел, — и не ответила, словно хотела остаться незаметной. Он повторил вопрос насколько возможно мягче, чтобы ее ободрить. Она чуть слышно ответила: «Не знаю-с...» — и вздохнула. По вздоху и по этому робкому «не знаю-с» он почувствовал, что она действительно несчастна, запугана и, кажется, очень юная: голос у нее был пак будто детский, с в е т л ы й. Он почувствовал, как она отодвинулась на край скамейки и даже как будто отвернулась, и понял, что она его боится. Это его растрогало, и он стал ласково уверять, что бояться ей нечего, если она позволит, он проводит ее домой, а то уж очень поздно и могут ее обидеть. Она неожиданно заплакала. Он растерялся и замолчал. Она плакала всхлипами, по-детски и старалась укрыться шалью. Он стал ее успокаивать, называл нежно — милая, остро ее жалея, спрашивал, какое у нее горе, или, может быть, кто ее обидел?.. Она продолжала плакать.

— Я сразу поняла, что это особенный господин, — рассказывала Дарья Ивановна об этой «чудесной встрече», о самом светлом, что было в ее жизни до той поры, — и, должно быть, очень несчастный, как и я. Я плакала и от того, что со мной случилось, что некуда мне идти... а мне хоть руки на себя наложить, пойти на Москва-реку, в самое водополье кинуться... выхода мне не виделось. Ждала только, церковь когда откроют, помолиться перед Владычицей. Сидела на лавочке и ждала, и все думала — нет мне доли. И от ихней ласки я плакала, жалко себя мне стало.

— Я забыл о своем... — рассказывал Виктор Алексеевич, — сердце мое расплавилось, и загорелось во мне желание утешить, спасти это юное существо, которому что-то угрожало. Я тогда подумал, что ее обесчестили... растоптали, и я присутствую при живой человеческой трагедии, и в моей власти эту трагедию разрешить. Подумайте: глухая ночь, на Тверском бульваре, и одинокая девушка, рыдает! Мог ли я пройти мимо?

Он продолжал успокаивать ее, предлагал проводить ее до дому. Захлебываясь, от слез, выдавливая толчками слова, — «совсем, как обиженный ребенок!» — она несвязно выговорила: «У меня... не... куда... идти...» От сказал, что оставаться ночью на улице ей нельзя, ее заберут в квартал,

каждый человек должен иметь хоть какой-нибудь кров, что, наконец, он может нанять ее в прислуги, и ему очень нужна прислуга, он совершенно одинокий, а ему надо по хозяйству, у него служба, книги, и... — пусть только ему поверит, у него никакой задней мысли, и не надо обращать внимания на предрассудки. Он не раздумывал, понятно ли ей все то, что он насаждал так страстно.

А он именно «страстно» уговаривал, — вспоминал; Дарья Ивановна, — «так уговаривал, что мне думать стало и страх на меня напал». Он говорил ей с жаром, с восторгом даже.

— Да, с восторгом! — рассказывал Виктор Алексеевич. — Все идеальнейшее, что жило во мне когда-то... — оно никогда и не умирало! — во мн проснулось. Я почувствовал, как во мне оживает отмиравшее, задавленное «анализом», как пустота заполняется... как бы краны какие-то открылись, и хлынуло!.. Заполнилась этой вот незнакомой девушкой, «несчастной», о которой я еще ничего не знал. Плач ее, прерывавшийся детски голос сказали мне в с е о ней, а я и не видел ее лица. И тогда же, при этой страстности, я каким-то краешком думал и о своем: «Пусть т а м бездонность и пустота, обман и мираж, а вот ж и в о е, и это страдающее живое протестует, вместе со мной протестует против хлада пространств небесных, против немой этой пустоты... создавшей страдающее ж и в о е». Мн даже тогда мелькнуло, что эти слезы, этот беспомощный детский всхлип опрокидывают «бездонность», и «хлад», и «пустоту»... что... э т о как-то выходит из чего-то и — для чего-то. Ну, словом, я почувствовал, что пустота заполняется. Тогда еще я не видел ни ее светлых глаз, ни ее нежного юного лица... голос только ее и слышал, детский, горько жалующийся на жизнь. Ни тени дурной мысли, какого-нибудь пошлого, затаенного намека, что вот, юная девушка... а я мужчина, давно безженный, уговариваю ее пойти ко мне. Только жалость во мне горела и грела душу.

Она перестала плакать, доверилась. Сказала — «как батюшке на духу сказала, так я уверилась», — что она золотошвейка, от Канителева, с Малой Бронной, с семи лет все золотошвейка, стала уж мастерица, что определила ее тетка, а теперь сирота она... что Канителиха тоже померла недавно, и теперь от хозяина нет житья, проходу не дает... всех мастериц на «Вербу» отпустил, на гулянье, а ее оставил, приставать стал... заперлась от него в чулане... до ужина еще вырвалась в чем была, все сидела, дрожала на бульваре.

Он узнал, что не к кому ей идти, только матушка Агния ее жалеет, монахиня в Страстном, знакомая теткина... лоскутки ей носит, матушке Агнии, а она одеяла шьет... что теперь бы с радостью в монастырь укрылась, а матушка Агния может похлопотать, только все ее деньги у хозяина, семьдесят рублей, и паспорт, а монастырь богатый, так не берут, вот она и сколачивала на вклад, двести рублей желает матушка Ираида, казначея... что, может, возьмут за личико, все-таки не урод она... матушка игуменья с чистым личиком очень охотно принимает, для послушания... и голос у нее напевный, в крылошанки сгодиться может... головщица с правого крылоса матушка Руфина не откажет, матушка Агния попросит... что святые ворота закрыты, и она ждет заутрени: как ударят — тогда отворят.

Он слушал этот путанный полудетский лепет, в котором еще дрожали слезы, но сквозила и детская надежда, когда она говорила; «Матушка Агния попросит». Говорила с особенной лаской, нежно: «А-гния», со вздохом. Он так же ласково, невольно перенимая тон, как говорят с детьми взрослые, радуясь, что не случилось «непоправимого», сказал ей, что все устроится, что, конечно, матушка «А-гния попросит, и двести рублей найдутся...» — и тут, в стороне Страстного, вправо от них, ударили. «Пускают»... — сказала она робко и встала, чтобы идти на звон. Но он удержал ее.

— Я хочу вам помочь. Вам надо разделаться с хозяином, получить жалованье и паспорт, — сказал он ей. — Вот моя карточка, я живу тут недалеко. Если что будет нужно, зайдите ко мне, я заявлю в полицию, и...

Она поблагодарила и сказала, что матушка Агния заступится, сходит сама к хозяину.

— Я испугалась, что такой господин так для меня стараются, — рассказывала Дарья Ивановна, — из-за девчонки-золотошвейки, да еще наш хозяин начнет позорить, а он ругатель... и что подумают

про меня, что такой господин вступился...

Но он заставил ее взять карточку — мало ли что случится. А Страстной благовестил и звал. Она быстро пошла в рассвете. Он догнал ее и сказал, что дойдет с ней до монастыря, проводит. Она стала просить, чтобы не провожал: «Матушка Вириная нехорошо подумает, вратарщица...» И тут он ее увидел: смутные, при рассвете, очертания девичьего лица, детские совсем губы, девственно нежный подбородок, молящие светлые глаза. На него повеяло с ее бледного, полудетского лица кротостью, чистотой и лаской. Он подумал: «Юная, милая какая!» Она поблагодарила его за доброту, — «так обошлись со мной...» — в голосе задрожали слезы — и пошла через площадь к монастырю. Он стоял у конца бульвара, следил за ней. Рассвет вливался, розовели стены, монастыря. Было видно, как в святые ворота, под синий огонек фонарика-лампады, одиноко вошла она. Он почувствовал возвращавшуюся тоску свою.

Домой... Чтобы вернуть то светлое, что почувствовал он в себе на ночном бульваре, что вдруг пропало, как только она ушла, он перешел площадь и, раздумчиво постояв, вошел в монастырские ворота.

Он узнал широкий настил из плит, — в детстве бывал тут с матерью, — занесенные снегом цветники, и с чувством неловкости и ненужности того, что делает, вошел в теплый и полутемный храм, пропитанный душно ладаном. Глубоко впереди, перед смутным иконостасом, теплилась одиноко свечка. Тонкий девичий голос скорбно вычитывал молитвы. Он прислонился к стене и озирался, не понимая, зачем он зашел сюда. И увидал ее: она горячо молилась, на коленях. Тут хорошо запели, — словно пел один нежный, хрустальный голос: пел такое знакомое, забытое... — когда-то и он пел это, в церковном хоре, у Сретенья: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный... и одежды не имам, да вниду в онь...» Он слушал, не без волнения, как повторили слова, мысленно пропел сам: «Просвети одеяние души моя, Светодавче...» Рассеянно перекрестился, думая: «А хорошо, очень хорошо», — и под зоркими взглядами монахинь вышел на свежий воздух.

Так, в темную мартовскую ночь, на Тверском бульваре, где поздней порой сталкиваются обычно ищущие невысоких приключений, скрестились пути двух жизней: инженера-механика Виктора Алексеевича Вейденгаммера, 32 лет, и золотошвейки Дарьи Ивановны Королевой, 17 лет. Случилось это в ночь на Великий Понедельник.

III ИСКУШЕНИЕ

Эта ночная встреча на Тверском бульваре стала для Виктора Алексеевича переломом жизни. Много спустя, перед еще более важным переломом, он прознал в этом «некую благостно направляющую Руку». Но в то раннее мартовское утро, на Страстной площади, случившееся представилось ему только забавным приключением. Смешным даже показалось, как это он разыграл романтика: утешал на бульваре незнакомую девушку, растрогался, проводил до святой обители, для чего-то и сам вошел, постоял у заутрени и даже не без волнения взглядом искал ее в полумраке храма, — совсем как герой Марлинского или Карамзина. Но за усмешкой над «несчастливым героем нашим» была и мимолетная грусть, что милое это личико больше ему не встретится.

И вот что еще случилось.

Выйдя на площадь, освещенную ранним солнцем, розовую, «весеннюю», — так и назвал тогда, — он почувствовал небывалую легкость, радостное и благостное, позабытое в юных днях, — «розовый свет какой-то, освобождение от каких-то пут. как бы душевное выпрямление». Мысль о «кристаллике», казавшаяся ему ночью выходом, теперь представилась совершенно дикой. Мало того: началось сразу, и очень бурно, совсем иное.

— Специалисты, — невропатологи или физиологи... — разберутся в этом по-своему... —

рассказывал Виктор Алексеевич. — Стыдно вспомнить, но мной овладело бурное чувство вожделения. Теперь я знаю — и не только по «житиям», — что нечто подобное бывает с иноками, с подвижниками даже, и заметьте: во время сильнейшего душевного напряжения, когда все в них «вознесено горе», когда они предстоят перед наисвященнейшим, так сказать... и вдруг — «бесовское наваждение», бурное вожделение картины великого соблазна. Люди духовного опыта это знают. Бывало со мной и раньше нечто похожее: после большой умственной работы, экзаменов, например, когда тело изнемогало, — в недрах, как бы в протест, начинается будоражение, раздражение «темных клеток», должно быть, смежных со «светлыми». Я тогда так и объяснил, увлеченный работой Сеченова «Рефлексы головного мозга». То же бывает после радений у сектантов И вот в то утро, после величественного «Чертога»... — и тогда мне, неверу и к а к о м у, этот тропарь показался проникновеннейшим: «Просвети одеяние души моя, Светодавче!»... — после целомудреннейших, хрустальных голосов юниц чистых, курений ладанных я почувствовал бурный прилив хотений. Не сразу, правда. Сперва — восторг, так сказать, пейзажный: из-за монастыря, влево от меня, за голыми деревьями бульвара, над где-то там Трубной площадью, местом довольно «злачным», заметьте это... — розовым шаром солнце, первовесеннее. Воздух!., розовый воздух, розовый монастырь, розовые облачка, огнисто-розовые дома, розоватый ледок на лужах, золотистый навоз, подмерзший, но раздражающе остро пахнувший. Ледок... в кружевцах ледок, в кружевных пленочках-иголках, и под ними журчит водичка, первовесенняя. Увидал эти лужи-пленки и, как мальчишка, давай похрустывать и смотреть, как из дырок свистят фонтанчики. Страстную радость жизни почувствовал, всеми недрами... и меня вдруг осыпал-защекотал какой-то особенно задорный, трескучий щебет откуда-то налетевших воробьев.

В таком розовом настроении он проходил по площади, и его чуть не сшибла мчавшаяся коляска с офицерами и девицей: мелькнули эполеты золотые, играющий женский голос задорно крикнул: «Гут-моэн-майн-киндхен!» ~ блеснула крахмальная оборка юбки. Его кинуло в жар от этого лёта и голоса. Захотелось курить, но спичек не было, — оставил, пожалуй, на скамейке. Он пошел бульваром, размашисто, распахнув пальто, — стало вдруг очень жарко. Издали увидел скамейку, подумал — не она ли? — и угадал; валялась под ней коробка серничков. Он сел, с жадностью закурил, и тут началось «искушение», — бурный наплыв хотений.

— Таких бурных, — рассказывал Виктор Алексеевич. — никогда еще не бывало... и в самых кощунственных подробностях, которыми я разжигал себя. И в центре всего этого омерзительного сора был этот чудесный монастырь с его благодистой лепотой, с голосами юниц и с той, которую я только что «спасал», а теперь... мысленно растлевал.

Он вызывал в мечтах милое личико, полудетское, нежное, бледное в наливавшемся рассвете, и трогательный голос, в котором теперь звучало глубокое-грудное, задорное, как крик промелькнувшей немки. Тут же припуталась и белая оборка юбки, и синее платье, обтягивавшее ноги, и темные кудряшки, выбившиеся прядкой из-под платочка, и серые глаза в испуге, и по-детски раскрытый, беспомощный и растерянный, бледный рот, с чуть отвисшей губкой. Эта беспомощность и растерянность привлекали его особенно. Ему представлялась такая возможная, но — досадно — неосуществившаяся картина: он уговаривает ее пойти с ним, и она растерянно готова, и вот они идут, в рассвете... и она остается у него. Он досадовал на себя, что поступил необдуманно, не отговорил ее от этой прикрытой благочестием кабалы, от даровой работы на тунядок, на этих чернохвостниц, важно пожевывающих губами матушек, игумений, казначей. Припоминал рассказы-анекдоты о столичном монастыре у веселого бульвара, о миловидных послушницах и клирошанках, которых настоятельницы-ловчачки отпускают на ночь к жертвователям-купцам и всяким там власть имущим. И он, в сущности, сам толкнул юную, чистую девушку в эту яму, сказав, что двести рублей для вступления в монастырь найдутся. Возьмут ее с радостью, конечно... за одно золотошвейное мастерство, помимо всего другого... — хорошенькая, глаза какие! — там это нужно для всех этих пустяков-прикрытий, — для «воздухов», покровов, хоругвей, чего там еще!.. — а в свободный часок будут отпускать напрокат, «во славу святой обители».

— Такие и еще более растлевающие мысли меня сжигали, — рассказывал Виктор Алексеевич. —

Я, человек культурный, нес всю эту — убедительную для меня тогда — чушь. Мне хотелось просто и м е т ь эту беззащитную, но это хотение я старался прикрыть от таившегося во мне надсмотрщика, А хотение напирало, и я напредставлял себе, как веду ее, как она нерешительна, но потом, шаг за шагом... Даже утренний час представил, с горячими калачами и «рюмочкой портвейнца»... — тут же у гастрономшника Андреева, против генерал-губернатора, прихватить икорки, сыру швейцарского, тянучек... — непременно тянучек, они очень тянучки любят, такие полудети, — фисташек и миндальных тоже, — все до точности расписал. И как она будет ошеломлена всей этой роскошью, как будет благодарна за спасение, и... Словом, я уже не мог сидеть спокойно. Наворачивать раздражающего мне уже было мало. Я даже позабыл, что к десяти мне надо в депо на службу, проверять паровозы из ремонта.

В таком состоянии одержимости он направился дальше по бульвару. Было еще безлюдно, а ему хотелось какой-нибудь подходящей встречи. Поднявшееся в нем т е м н о е закрыло чудесное розовое утро, и его раздражало, что бульвар пуст, что нет на нем ни вертлявых весенних модниц, ни жеманных немочек-гувернанток, ни даже молодых горничных или модисток, шустро перебирающих ногами, подхватив развевающийся подол. Дойдя до конца бульвара, он опять повернул к Страстному и увидел монастырь с пятью сине-золотыми главками за колокольной. Эти главки жгли его колким блеском сквозных крестов, скрытым под ними ханжеством. Дразнила мысль- зайти как-нибудь еще, послушать миловидных клирошанок, бледноликих и восковых, в бархатных, франтоватых, куколях-колпачках. Это казалось таким пикантным: «как траурные институтки». Казалось, что в с е может легко осуществиться: у ней есть его карточка, она может прийти к нему, попросить насчет паспорта или просто поблагодарить за участие... — «как обошлись со мной!» — можно уговорить, и она останется у него. Все казалось теперь возможным. Он спустился Страстным бульваром, постоял нерешительно у Петровских ворот и пошел вниз, к Трубе. На бульваре попала ему бежавшая с калачами горничная, и он посмотрел ей вслед, на ее бойкие, в белых чулочках ноги. На Трубной площади, у «греховного» «Эрмитажа», стоял только один лихач. Он поманил его, даже не думая, куда и зачем поехать, но лихач почему-то отмахнулся.

С того утра началась угарная полоса блужданий, удачных и безразличных встреч. И во всех этих встречах и блужданиях дразнило и обжигало неотступно — «как зов какой-то» — казалось бы, уже потускневшее, как бы виденное во сне под сине-золотыми главками, за розовыми стенами, милое личико под куколем. В блужданиях, ставших теперь обычными, средоточием оставался монастырь. Виктор Алексеевич, «как одержимый, в дрожи», приходил слушать пение, разглядывал миловидных клирошанок, но е е не видел ни разу. Были из них красивые, и все были затаенно-скромны. «Из приличия», он давал на свечи и даже снискал благоволение старушки-свещницы, которая уважительно ему кланялась и всегда спрашивала: «Кому поставить накажете-с?» Но за три месяца так и не решался спросить у нее, здесь ли послушница Даша Королева.

— Я кружился у монастыря, — рассказывал Виктор Алексеевич, — как лермонтовский Демон, и посмеивался- язвил себя. И чем больше кружил, тем больше разжигался. Тут столкнулись и наваждение и... как привождение. Меня в е л о. Иначе нельзя и объяснить, что со мной случилось. И вот когда я почувствовал, что так дальше не может продолжаться, — я отказался от перевода в Орел с значительным продвижением по службе, стал запускать работу, и нервы мои расстроились невероятно, — я, наконец, решился.

В душный июльский вечер, когда даже на бульварах нечем было дышать, он вдруг почувствовал мучительную тоску, такую же безысходную, как в памятную мартовскую ночь, когда с облегчением думал о «кристаллике». Это случилось на бульваре. Он пошел обычной дорогой — к монастырю. Было часов шесть, ворот еще не запирали. Совсем не думая, что из этого может выйти, он спросил сидевшую, как всегда, у столика с оловянной тарелочкой пожилую монахиню, можно ли ему повидать «матушку А-гнию». Старушка приветливой да же с поклоном сказала, что сейчас вызовет привратную белицу, она и проводит к матушке. И позвонила в сторожевой. Этот «зовущий» колокол отозвался в сердце Виктора Алексеевича звоном пугающим и важным: «Н а ч а л о с ь», — так и подумал он. А старушка допрашивала, не родственничек ли будет матушке Агнии: «Она у нас из хорошего звания, дочка 2-й гильдии московского купца была, из Таганки... пряниками торговали». Привратная белица повела его в дальний корпус, мимо густо-пахучих

цветников, полных петуний и резеды; белицы, во всем белом, их поливали молча.

В глубокой, благостной тишине, в запахе цветов, показавшемся ему целомудренным и благодатным, в робких и затаенных взглядах из-под напущенных на глаза белых платков трудившихся над цветами белиц, в шорохе поливавших струек, в верезге ласточек, в дремлющих на скамьях старушках — во всем почувствовался ему «мир иной». Тут впервые он ощутил неуловимо бегло, что «эта жизнь имеет право на бытие», что она «чувствует и поет молчанием».

— Я ощутил вдруг, боясь и стыдясь додумывать, — рассказывал Виктор Алексеевич, — что все эти девушки и старухи в ы ш е меня и чище, глубже... что я забрался сюда, как враг. Я тогда в самом деле почувствовал себя т е м н ы м... нечистым себя почувствовал. Я старался прятать глаза, словно боялся, что эти, ч и с т ы е, все узнают и крестом преградят дорогу. Но при этом было во мне и поджигающее, «бесовское», что вот, мол, я, демон-искуситель, п е р е с т у п л ю! Некое романтическое ухарство. И-присутствие с и л ы, которая ведет меня, и я бессилен сопротивляться ей.

«Переступал», а ноги дрожали и слабели. Он кланялся вежливо особенно почтенным старицам, недвижно сидевшим с клюшками. Властный голос спросил белицу: «Не к матери ли Ираиде?»- и белица ответила, склонившись: «К матушке Агнии, сродственник». Вот уж и ложь: но — «началось», и теперь будет продолжаться, В прохладном каменном коридоре белица тихо постучала, пропела тонехонько «входное», и Виктор Алексеевич получил разрешение войти.

Он увидел высокое окно в сад, наполовину завешенное полотняной шторой, а у окна на стуле сухенькую старушку, торопливо повязывающуюся платочком. Старушка, видимо, только что читала: лежала толстая книга и на ней серебряные очки. Были большие образа, и ширмы, и обвитая комнатным виноградом арка в другой покой. Старушка извинилась, что встать не может, ноги не слушают, предложила сесть и спросила: «От какого же родственника изволите вы пожаловать?» Спросила об имени и отчестве. Он смотрел на нее смущенно: такая она была простая, ясная, ласковая, доверчивая.

— Я растерялся, — рассказывал Виктор Алексеевич, — смотрел на нее, будто просил прощения, и чувствовал, что матушка Агния все простит. И тут же сообразил, что вполне естественно мне спросить: старушка такая и не подумает ничего худого, совсем она простосердая... такую всегда обманешь. «Началось» — надо продолжать.

И он спокойно, даже деловито сказал, в чем дело... что его интересует участь несчастной девушки, и надо бы ему раньше, но по делам был в отлучке и запоздал. Старушка выслушала, ласково поглядела, улыбнулась, и засияло ее лицо. Она обернулась к арке, в другой покойчик, и сказала, как бы показывая туда:

— А как же, батюшка... со мной живет, вон она, сероглазая моя!

Эти простые слова показались ему «громом и молнией»: ослепило его и оглушило. Он даже встал и поклонился матушке Агнии. Но она приняла это совсем спокойно, сказала: «Зачем же благодарите, батюшка... сирота она, и я ее тетку знала, а золотые руки-то какие... такую-то каждый монастырь примет, да еще порадует. И не благодарите, батюшка... и матушка-игуменья рада. Мы бы давно к вам пришли, да ноги не пускают... велела ей, сколько раз говорила — пошли хоть письмецо доброму барину, поблагодари, а она... совестливая такая, стесняющая, боялась все: „Ну-ка они обидятся“. Ну вот, Дашенька, а теперь сам барин пришли справляться... хорошо разве, человека такого беспокоим!» — сказала старушка в другой покой, а Виктор Алексеевич сидел и мучился — теперь уже другим мучился: и таких-то- обманывать!

— Будто случилось чудо, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Простые слова, самые ходячие слова сказала матушка Агния, но эти слова осветили всего меня, всю мерзость мою показали мне. Передо мной была чистота, подлинный человек, по образу Божию, а я — извращенный облик этого «человека», и я с ужасом... с ужасом ощутил бездну падения своего. То, т е м н о е, вырвалось из меня, — будто оно сидело во мне, как ч т о — то отделимое от меня, вошедшее в меня через

наваждение. Оно томило меня, и вот, как «бес от креста», испарилось от этих душевных слов. Ну да, физиологи, психологи... они объясняют, и по-своему они правы... но и я, в своих ощущениях, тоже прав: темная сила меня оставила. А ведь я шел на грех, — ну, «греха» тогда я не признавал, — на низость, если угодно, шел на обман. Обмануть эту Агнию... человеческую овечку эту, выведать про девицу и эту девицу совратить, сманить, обманно вытащить ее из-за этих стен, увлечь, голову ей вскружить и оставить для себя, пока она мне нужна... а там!.. Не задумывался, что будет «там». И — сразу перевернулось на иное...

А вышло так. Старушка не раз выкликнула Дашеньку, но та только робко, чуть слышно, «как ветерок», отвечала; «Я сейчас, матушка». Он ожидал смущенно, раздавленный всей этой чистотой и ясностью, а матушка Агния, благодушно мигая, как делают, когда говорят о детях, поведала шепотком, что это она стыдится такого господина, глаз показать боится... «А уж как она про вас... редкий день не помянет... „Господь мне послал такого святого господина“, — так все и поминает. Она и в обитель-то к нам боялась тогда, как тоже поглядят... ну-ка побрезгуем, не поверим, матушка-то игуменья строгая у нас, ни-ни... ну-ка какое недоумение с кварталным или там девичье обстояние, — вот и боялась. А вы как ангел-хранитель были, наставили ее про обитель, она и укрепилась. Разобрали дело, послали письмо кварталному, а нас он уважает, — с Канителева и истребовали пачпорт. А она — золотые руки, и голосок напевный, скоро и в крылошанки благословится, на послушание певное... стихирки со мной поет, живая канареечка».

Он слушал воркующий шепоток, и тут появилась Дашенька. Она не вошла в покой, а остановилась под виноградом, молвив послушливо: «Что, матушка, угодно?»

— В этот миг все для меня решилось, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Это была не та, какую я, т е м н ы й, вожделением рисовал себе. Передо мной была осветленная, возносящая красота. Не красота... это грубое слово тут, а прелестная девичья чистота... юница, воистину непорочная. Большие, светлые, именно — осветляющие, звездистые, глаза... такие встречаются необычайно редко. В них не было тревожного вопрошания, как тогда; они кротко и ласково светили. Раз всего на меня взглянула, осияла и отвела. И я понял, что отныне жизнь моя — в ней, или все кончится.

Матушка Агния сказала: «Ну, сероглазая моя, подойди поближе, не укусят». Она подошла ближе и сказала, кланяясь чинно, как белица: «Благодарю вас покорно, барин». Он поднялся и поклонился ей молча, как перед тем поклонился матушке Агнии: исходившему от нее с в е т у поклонился.

— Теперь это мне ясно, — вспоминал Виктор Алексеевич, — я поклонился п у т и, по которому она повела меня...

Он сказал, обращаясь к матушке Агнии, что он очень рад, что благой случай устроил все. Старушка поправила: «Не случай, батюшка, а Божие произволение... а случай-то — и слово-то неподходящее нам...» — и улыбнулась ласково.

Он «в последний раз» — казалось ему тогда — оглянул белицу, от повязанного вокруг белого платочка с ясной полоской лба, от сияющих глаз, от детски-пухлого рта, по стройному стану, в белом, все закрывающем одеянии до земли. Поклонился и вышел, провожаемый добрым взглядом и словами матушки Агнии, спохватившейся: «Да проводи ты, чего замаялась... как бы они не заплутали»,

Не было слышно шагов за ним.

IV ГРЕХОПАДЕНИЕ

По рассказам Виктора Алексеевича и по «смертной записке к ближним» Дарьи Ивановны, эта июльская встреча в келье матушки Агнии осталась для них благословеннейшим часом жизни. С этого часа-мига для него началось «высвобождение из потемок», для нее — «греховное счастье,

страданием искупаемое».

Выйдя из монастырских ворот на Тверской бульвар, Виктор Алексеевич даже и не заметил ни многолюдства, ни «черной ночи», вдруг свалившейся на Москву: от Триумфальных ворот, с заката, катилась туча, заваливая все отсветы потухающей зари, все небесные щели, откуда еще, казалось, текла прохлада; сдавила и высосала воздух и затопяющим ливнем погнала пеструю толпу, устрашая огнем и грохотом. Виктор Алексеевич стоял на пустом бульваре, насквозь промокший, смяв свою майскую фуражку и с чего-то размахивая ею, — «приветствовал Божий гром».

— Я тогда все приветствовал, словно впервые видел, — рассказывал он: — монастырь, розовато вспыхивавший из тьмы, бившие в кресты молнии. Я был блаженно счастлив. Все изменилось вдруг, получило чудесный смысл, — какой, я не понимал еще, но... великий и важный смысл. Будто сразу прозрел душевно... не отшибком себя почувствовал, как это было раньше, а связанным с о в с е м... с Божьим громом, с горящими крестами, с лужами даже, с плавающими в них листьями. Озарило всего меня, и сокровенная тайна бытия вдруг открылась на миг какой-то, и в с е о п р е д е л л о с ь, представилось непреложно-нужным, осмысленным и живым, в свято-премудром Платоне, — в «Живой Механике», а не в «игре явлений»... иначе не могу и выразить: и этот страшный гром, и освежающий ливень, и монастырь у веселого бульвара, и кроткая матушка Агния, и — о н а, девичья чистота и прелесть. Смыло, смело грозой всю мою духоту-истому, от которой хотел избавиться, и я почувствовал ликование- все обнять!

Это желание «обнять мир» вышло не от избытка духовности, как у Дамаскина или Франциска Ассизского, а из родственного сему, — из светлого озарения любовью.

— С той встречи, с того в и д е н и я в келье, с той освежительной грозы я полюбил впервые, — рассказывал Виктор Алексеевич, — хотя и любил раньше. Но те любви не озаряли душу. Да что же э т о?! Она, простая девушка, монастырка, не сказала мне и двух слов, ничего я о ней не знал, и вот... только звук ее голоса, грудного, несказанная чистота ее, внятая мною, вдруг, и эти глаза ее, кроткий и лучезарный свет в них... очаровали меня, пленили и повели. И, не рассуждая, я вдруг почувствовал, что именно в этом моем очаровании и есть смысл, какая-то бесконечно-малая того Смысла, который я ощутил в грозу, — в связанности моей с о в с е м.

С того июльского вечера начались для Виктора Алексеевича мучения любовью и в мучениях — «духовное прорастание». А для Дарьи Ивановны было совсем иное. В оставленной ею «смертной» значилось так:

«Сердце во мне сомлело, только его голос услышала. И тут почудилось мне, что что моя судьба, великая радость-счастье, и большое горе, и страшный грех. Я побоялась показаться, а сами руки стали повязывать платочек. А зеркальца не было, и я к ведерку нагнулась, только что воды принесла цветочки полить, жара была. Взглянула на Страстную Матерь Божию и подумала в сердце, будто Пречистая мне велит: „Все прими, испей“. И вот испила, пью до сего дня. Сколько мне счастья было, и сколько же мне страдания. А как вышла и увидела лицо его, и глаза, ласковые ко мне, тут я и отнялась вся и предалась ему. И такая стала бессильная, что вот возьми меня за руку, н я ушла бы с ним и все оставила».

И через страницы дальше:

«Тогда томление во мне стало греховное, и он приходил ко мне в мечтаниях. А молитвы только шептались и не грели сердце».

А для него началось «горение вдохновенное». Его оставили темные помышления, и он одного хотел: видеть ее всегда, только хотя бы видеть. Ему предложили уже не Орел, а Петербург: его начальник, очень его ценивший, был назначен по Главному управлению и тянул с собой. Но он отказался, «сломал карьеру».

С того грозового вечера кончились его встречи на бульварах, прогулки на лихачах, с заездами на

Ямскую и в укромные норки «Эрмитажа». Все это отступило перед прелестной девичьей чистотой, перед осветляющими, лучистыми глазами. Это была самая чистая, благоуханная пора любви, даже и не любви, а — «какого-то восхищения всем меня окружавшим, над которым была она, за монастырской стеной, уже почти отрешенная от мира, как бы уже **н а з н а ч е н н а я**». Он не думал, что она может стать для него доступной. Он перечитал — что-то его толкнуло — «Дворянское гнездо», и вот Лиза Калитина чем-то напомнила ему Дариньку, — в мыслях так называл ее. Он припоминал все, что случилось в келье, даже как прыгали семечки и брызги из клетки с чижиком, и как одно зернышко упало на белый платочек Дариньки, и она повела глазами. И чайную чашку вспомнил, с синью и золотцем, «В день Ангела», и веточку синего изюма. И огромные пальцы у изразцовой печи, с голубым атласным одеялом, «для новобрачающихся», сказала матушка Агния.

Он признал благовест Страстного и таил от себя, что ждет его каждую субботу. Заслышав тягучий зов, он шел на Тверской бульвар, бродил до сумерек и незаметно оказывался в толпе молящихся. Ему уже кланялись монахини и особенно низко — свещница с блюдом, когда он совал смущенно рублевую бумажку. Раз даже увидел сидевшую в уголку, с четками, кроткую матушку Агнию и почтительно поклонился ей, и она тоже поклонилась. Не без волнения слушал напевные голоса милоликих клирошанок, стараясь признать знакомый.

И вот глубокой зимой, когда помело метелью, за всенощной под Николин день, потянулись для величания с клиросов, и в перерывах в дыхании восторге он увидел наконец ее. Шла она от правого клироса за головщицей, высокой, строгой, с каменно-восковым лицом, мантией монахиней Руфиной. Другая была она, не та, какую увидел на рассвете, детски-испуганную... и не та, осветленная, с осиявшими его лучезарными глазами. Траурная была она, в бархатном куколке-колпачке, отороченном бархатной, на мелкой волне, каемкой, выделявшем бледное, восковое, прозрачное лицо, на котором светились звездно, от сотни свечей-налепок, восторженно-праздничные глаза. Лицо ее показалось ему одухотворенным и бесконечно милым, чудесно-детским. Наивно-детски полуоткрытый рот, устремленные ввысь глаза величали Угодника, славили восхищенно — «правило веры и образ кротости». Он слышал эти слова, и «образ кротости» для него был ее образ кротости, чистоты, нежной и светлой ласки.

— Я слушал пение, и эта святая песнь, которую я теперь так люблю, пелась как будто ей, этой юнице чистой. Во мне сливались обожествление, восхищение, молитва... — рассказывал Виктор Алексеевич. — Для меня «смирением высокая, нищетою богатая»... — это были слова о ней. Кошунство. Но тогда я мог упасть перед ней, ставить ей свечи, петь ей молитвы, тропари, как... Пречистой! Да, одержимость и помутнение, кошунство. Но в этом кошунстве не было ничего греховного. Я пел ей взглядом, себя не помня, продвинулся ближе, расталкивая молящихся, и смотрел на нее из-за шлычков-головок левого клироса. На балах даже простенькие девичьи лица кажутся от огней и возбуждения прелестными. Так и тут: в голубых клубах ладана, в свете паникадил, в пыланье сотен свечей-налепок, в сверкающем золоте окладов светлые юные глаза сияли светом неземными, и утончившееся лицо казалось иконным ликом, ожившим, очеловечившимся в восторженном моленьи. Не девушка, не юница, а... иная, преображенная, **н о в а я**.

Он неотрывно смотрел, но она не чувствовала его, вся — в ином. И вот — это бывает между любящими и близкими по духу — он взглядом проник в нее. Молитвословие пресеклось на миг, и в этот миг она встретилась с ним глазами... и сомлела. Показалось ему, будто она хотела вскрикнуть. И она чуть не вскрикнула, — рассказывала потом ему:

«Я всегда следил а за молящимися, ждала. И много раз видела и пряталась за сестер. И тогда я сразу увидела, и, как сходились на величание, молила Владычицу дать мне силы, уберечь от соблазна, — и не смотреть. И когда уже не могла, — взглянула, и у меня помутилось в голове. Я едва полнялась на солею и благословила у матушки Руфины уйти из храма по немощи».

Он видел, как ее повела клирошанка, тут же пошел и сам, но на паперти не было никого, крутило никольской метелью.

А наутро накупил гостинцев: халвы, заливных орехов, яблочной пастилы, икры и балычка для матушки Агнии, не забыл и фиников, и винных ягод, и синего кувшинного изюму, и приказал отнести в Страстной, передать матушке Агнии — «от господина, который заходил летом».

— Они были потрясены богатством, — рассказывал Виктор Алексеевич, — и матушка Агния возвела меня в святые, сказала: «Это Господь послал».

Началось разгорание любви. Они виделись теперь каждую всюнощную и искали друг друга взглядами. Находили и не отпускали. Ему нравилось ее робкое смущение, вспыхивающий румянец, загоравшиеся глаза, не осветляющие, не кроткие, а вдруг опалявшие и прятывшиеся в ресницах. Взгляд ее делался тревожней и горячей. После этих всюнощных встреч она молилась до иступления и томилась «мечтанием».

— Я ее развращал невольно, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Она каялась в помыслах, и старенький иеромонах-духовник наложил на нее послушание — по триста земных поклонов, сорокадневие.

Так, в обуревавшем томлении, подошла весна. Хотелось, но не было предлога, как в июле, зайти к матушке Агнии, справиться о девице Королевой. На Страстной неделе, за глубочайшими службами, распаленный весенним зовом, Виктор Алексеевич соблазнился в храме и соблазнял. Это были томительно-сладостные дни, воистину с т р а с т н ы е. За Светлой заутреней был восторг непередаваемый: «В эту Святую ночь я только ее и видел!» Они целовались взглядами, сухо пылавшими губами. Он едва сдержался, чтобы не пойти в келью матушки Агнии. И опять, как в Николин день, послал с молодцом из магазина заранее заготовленное «подношение», до... цветов. Послал и сластей, и закусок, и даже от Абрикосова шоколадный торт, и высокую «бабу», изукрашенную цукатами и сахарным барашком, и — верх кощунства! — «христовование»: матушке Агнии большое розовое яйцо, фарфоровое, с панорамой «Воскресения», ей — серебряное яичко, от Хлебникова, с крестиком, сердечком и якорьком, на золотой цепочке.

— Представьте тридцатитрехлетнего господина, т а к подбирающегося к юнице чистой, к хранимому святостью ребенку... — рассказывал Виктор Алексеевич. — Без думы о последствиях, да. Да еще пасхальное яичко, с «эмблемами»!

В субботу на Святой, в теплый и ясный день, когда он пришел со службы по-праздничному рано, когда в открытые окна живописного старого особняка, выходявшего в зеленевший сад, доносился веселый трезвон уходящей Пасхи и нежное пение зябликов... — в то время в Москве были еще обширные и заглохшие сады, — подгромыхал извозчик, и у парадного тихо позвонились. Он пошел отпереть — и радостно и смущенно растерялся. Приехали гости совсем неожиданные: матушка Агния, в ватном салопе, укутанная по-зимнему, в семь платков, и тоненькая, простенькая черничка Даша. Тут же они ему и поклонились, низко-низко, подобострастно даже. Он не мог ничего сказать, не понимал и не понимал, зачем же они приехали, и отступал перед ними, приглашая рукой — войти. Матушка Агния, которую молча раскутала черничка, стала искать иконы, посмотрела во все углы, перекрестилась на сад, в окошко, и умиленно пропела:

«А мы к вашей милости, сударь, премного вами благодарны за заботы о нас, сиротах... втайне творите, по слову Божию... спаси вас Господи, Христос Воскресе. Узнали сердцем, Дашенька так учуяла... на Светлый День взысканы от вас гостинчиком вашим и приветом... уж так задарены... глазам не верим, а поглядишь...»

Он растерянно повторял: «что вы, что вы» — и увидал благоговейный взгляд, осиявший его когда-то, милые руки девичьи, вылезавшие сиротливо из коротких рукавчиков черного простого платья совсем монастырского покроя, и ему стало не по себе, — чего-то стыдно. А матушка Агния все тараторила напевно, «человеческая овечка»:

«Примите, милостивец, благословение обители, освященный артос, всю святую неделю во храме

пет-омолен, святой водицей окроплен, в болезнях целения подает... — И она подала с полуземным поклоном что-то завернутое в писчую бумагу и подпечатанное сургучиком. — А это от нее вот... ее трудами, уж так-то для вас старалась, весь пост все трудилась-вышивала...»

И развернула белоснежную салфетку.

«Под образа подзорчик. по голубому полю серебрецом, цветочки, а золотцем — пчелки... как живые! Работа-то какая, загляденье... и колоски золотцем играют... глазок-то какой... прямо золотой, ручки серебряные. А образов-то у вас, как же... не-ту?» — спросила она смущенно, оглядывая углы.

Он смутился и стал говорить невнятное.

— Мне стало стыдно, — рассказывал Виктор Алексеевич, — что я смутил эту добрую старушку и оробевшую вдруг черничку, светлую. Но я нашелся и объяснил, надумал, что образа там... а тут... отдан мастеру «починить»!.. Так и сказал — «починить», как про сапоги, вместо хотя бы «промыть», что ли, — и вот, к Празднику т а к о м у... и не вернул!

Матушка Агния посокрушалась, справилась, какой образ и чье будет «благословение», и сказала, как бы в утешение, что и у них тоже, в приделе Анастасии-Узорешительницы, отдали так вот тоже ковчежец, из-под главки, посеребрить-почистить, а мастеров-то пья-аненький, он и подзадержал... а время-то самое родильное, зимнее... зачинают-то по весне больше, радости да укрепления приезжают к ним получить, а ковчежца нет... печали-то сколько было. И велела «сероглазой моей» достать подарочек — туфельку-подчасник, вишневого бархата, шитую тонко золотцем: два голубка, целуются. Это его растрогало, такая их простота-невинность: невесты такое дарят или супруга любимому супругу. Он развязно раскланялся, даже расшаркался и сказал: «Вот отлично, это мы вот сюда пристроим» — и приколот уже всунутой в петельку булавкой на стенку к письменному столу. А они стеснительно стояли и робко оглядывали длинные полки с книгами и синие «небесные пути», давно забытые. Он предложил им чаю, но матушка Агния скромно отказалась:

«Мы к вам, сударь, уж поимши чайку поехали... а хозяйшкы-то у вас нету, одни живете? Что ж нам беспокоиться. Простите, уж мы пойдем. Так вы нас обласкали, уж так приветили... и сиротка моя первого такого человека увидела, молимся за вас, батюшка. А она теперь уже первый голосок на крылосе, не нахвалится матушка Руфина, всякие ей поблажки. Узнала, благодарить мы едем, двадцать копеечек из своих на извозчика нам дала, как же-с. А уж такая-то бережливая... да и то сказать, какие у нас доходишки, чего сработает одеялами, вот стегаем, а то все добрые люди жалуют. Обитель у нас необщежительная, а все сам себе припасай. А меня ноги поотпустили, фершалиха наша из обеих натеков выпустила-облегчила, а то бы и службы великие не выстояла. Вот мы и добрались до вашей милости...»

Она еще долго тараторила. Он все-таки упросил ее присесть и выкушать хоть полрюмочки мадерцы. Она все отказывалась и благодарила, но все-таки присела и выпила мадерцы, хоть и не надо бы. Пригубила и черничка, опустив долгие темные ресницы, и облизнулась совсем по-детски. Он стал настаивать, чтобы она выпила все, до доньшка. Она, в смущении, покорилась, щеки ее порозовели, на глазах проступили слезы. Сидела молча и робко оглядывала стены и на них синие, непонятные ей листы. Потом стала смотреть в окошко, на еще жиденькую сирень.

«Сине-лькы-то у вас что бу-удет! — радовалась матушка Агния. — Да что же это мы, Дашенька... так и не похристосовались с господином, а он нам... Яичко ваше под образа повесила, под лампадку, молюсь — и вспомню... А сероглазая-то моя сердечко ваше, и крестик, и цепочку — все на себе носит, на шейку себе повесила, покажь-ка милому барину...»

И сама вытянула из-за ворота Дашеньки цепочку и навески, Дашенька сидела как изваяние, опустив глаза, словно и не о ней речь. Не подымая ресниц, заправила цепочку. А старушка все тараторила:

«Как же, как же., писанки с нами, в плечико поцелуем хоть...» И она вынула из глубокого кармана розоватые писанки с выцарапанными добела крестами и буквами «Х. В.».

Он принял писанки, приложился к виску матушки Агнии, а она поцеловала его в плечико. Потом, обняв Дашеньку глазами, он взял сомлевшую ее руку и, заглянув в убегающие глаза, трижды крепко поцеловал ее в податливый детский рот. Она шатнулась, и невидящие глаза ее наполнились вдруг слезами.

«Обычай святой, Господний...» — умилилась матушка Агния, не замечавшая ничего.

Он проводил их, заперев парадное, и высунулся в окно. Дашенька вела матушку Агнию, и он ждал, не оглянется ли она. Она не оглянулась. И когда они доплелись до поворота переулочка, он вспомнил, что не дал им денег на извозчика, а у них, пожалуй, и на извозчика нет.

— Вел я себя, как шелкопер, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Эти поцелуи я и до сего дня помню. И все вранье, и любованье ее смущением и целомудрием. Пришли, чистые обе, принесли святое, а я... смаковал в мечтах... И осталось это во мне, греховное, до конца, до самого страшного...

Это «самое страшное» пришло скоро и неожиданно, — «как вихрем налетело». Виктор Алексеевич крепко помнил тот майский день — «неделю о слепом», — «ибо я именно был слепой!» — неделю шестую по Пасхе, воскресенье.

С «христосования» он так и не заходил в Страстную. Пришлось поехать в командировку, случилось где-то крушение, и надо было принимать разные комиссии. С взбитыми нервами, уставший, вернулся он к себе ранним утром и не узнал квартиры: за недели его отсутствия все распустилось и разрослось в саду, в комнатах потемнело, и сильная, пышная сирень так и ломилась в окна. Он распахнул их с усилием итак и ткнулся в душистые облака цветов. Застоявшийся воздух в комнате сменился горько-душистой свежестью, кружившей голову после вагонной ночи. Он выпил крепкого чаю с ромом, с наслаждением закурил и сел на подоконник. Сирень щекотала ему щеки, и ее горьковатый запах вызвал в его душе нежную грусть о ней, о «милой девочке», которую не видел с самого «поцелуя», его обжегшего. И вот кто-то чуть позвонил в парадное. Он пошел отпереть — и вдруг увидел ее! Он даже отшатнулся, увидав заплаканные, молящие глаза... подумал: «Случилось что-то... убежала из монастыря?..» — и в нем пробежало искрой, «поганенькой надеждой».

— Именно подленькой надеждой на ее беззащитность, беспомощность. Мелькнуло мне: вот, пришла... к «доброму барину»... И добрый барин достойно ее принял.

Что же случилось? Обыкновенное, но великое горе для нее: ночью внезапно скончалась матушка Агния, Обливаясь слезами, как ребенок, она лепетала спутанно, словно прося защиты: «Никого теперь... бабушка тихо отошла... склонилась и отошла...» — она называла теперь не по-уставному- матушка, а по-родному: «Читала Писание... никого теперь... побежала сказать, утра все дожидалась... бабушка раньше наказывала, чуть что... предупредить... похороны послезавтра... парадные похороны...» Она плакала надрывно, всхлипывая, как на ночном бульваре, в мартовскую ночь, потрясшую его «откровением раздавшегося неба». В нем защемило сердце, и он стал утешать ее. А она лепетала, всхлипывая и надрываясь: «Отошла ти-хо... склонилась на бочок...» Он слушал, стоя над ней, обнимая ее за плечи, прижимая к себе, жалея. Он говорил ей совсем невнятное, держал за холодную, трепетную руку и смотрел в залитые слезами блистающие глаза ее, ослепленные ярким солнцем, поднявшимся из-за сиреней.

Он усадил ее на диван, говорил нежно, страстно: «Бедная моя, девочка моя... успокойся...» — не помня себя, стал целовать ей руки, жалкие, мокрые глаза, прижимая ее к груди. Не помня себя, не понимая, может быть, смешивая его с кем-то, ласково утешающим, она трепетала в рыданиях на его груди. Он целовал ей детский, сомлевший рот, выбившиеся из-под платочка темные

кудурьки... Она открыла глаза, по которым застлало тенью, и исступленная его жалость перелилась безвольно в страстное исступление... — в преступление.

Произошло ужасное, чего он хотел и ждал, что связало на счастье и на муки.

Он был на погребении матушки Агнии. В те часы он ничего не помнил, не помнил даже светлого «как бы ангельского лика» рабы Божией новопреставленной инокини Агнии. Но помнил до мелочей, как через день после похорон, когда Дашенька была уже у него, как вошел в пахнущие кипарисом и елеем покои настоятельницы, строгой и властной, — кажется, бывшей баронессы, и объявил, что девица Дарья Королева оставляет обитель и будет жить у него. Настоятельница пожевала презрительно губами, отыскивая слова, и ответствовала холодным тоном:

«Вы, сударь, совратили с пути девчонку... сделали гадость, как делают все у вас. Наша обитель... — и холодные, черные глаза ее вдруг зажглись, — т а к о й в нашей обители места нет! Но паспорта ее я вам не дам, будет переслано в квартал».

Он подчеркнуто-дерзко поклонился и вышел, провожаемый взглядом испуганных келейниц, которые слушали за дверью. Словом, разыграл оскорбленного за сиротку, как он рассказывал.

Все случилось «как бы в стихийном вихре», как в исступлении. Он тут же поехал к полицмейстеру, который был в приятельских отношениях с покойным его отцом, и объяснился, «как на духу». Бывший кавалерист покрутил молодецкий ус, хлопнул нежданно по коленке и сказал ободряюще:

«Молодцом! И никаких недоразумений. Дня девицы опека кончилась, и началось попечительство... девица может, если желает того, избрать себе попечителем кого угодно. А раз избирает вас, могу только приветствовать. А паспорт перешлем вам через квартал».

Так завершилась первая половина жизни Виктора Алексеевича.

V ТЕМНОЕ СЧАСТЬЕ

Сияющее утро мая, когда случилось «непоправимое и роковое», — Виктору Алексеевичу только впоследствии открылось, что это было роковое, — явилось в его жизни переломом: с этой грани пошла другая половина его жизни, — прозрение, исход из мрака. Уже прозревший, много лет спустя, прознал он в этом утре «утро жизни», «недели о слепом», шестой по Пасхе. Так и говорил, прознавши: «Был полуслепым, а в то ослепительное утро ослеп, совсем, чтобы познать Свет Истины». Если бы ему тогда сказали, что через грех прозреет, он бы посмеялся над такой «мистикой»: «Что-то уж очень тонко и... приятно: грешками исцеляться!» Невер, он счел бы это за кощунство: осквернить невинность, юницу, уже назначенную Богу, беспомощную, в тяжком горе, — и через надругательство п р о з р е т ь!.. Много лет спустя старец Амвросий Оптинекий открыл ему глаза на тайну.

Ослепленный, он повторял в то утро: «Как разрешилось... как неожиданно счастливо!» Высунувшись в окно, долго смотрел вослед, как шла она, пригнувшись, будто под тяжкой ношей, и повторял, безумный: «О светлая моя... какое счастье!..» Ни сожаленья, ни угрызений, ничего. Видел сиявшие глаза, в слезах, руки у груди, ладошками, в мольбе, в испуге, слышал лепет побелевших губ: «Господи... как же я пойду... т у д а?...»

Вспоминал бессвязные успокоения: «Ты иди пока... на похороны надо, а потом устроим... будешь всегда со мной, моя... бесценная, девочка моя святая...»

Все ослепительно сияло в это утро. Солнце заливало сад, густозеленый, майский, весь в сверканьях; слепящая синь неба, сирень в росе, в блистанье, заглядывала в окна пышными кистями, буйной силой; радужно сиял хрусталь на люстре, блеск самовара и паркета, не выпитая ею мадера в рюмке, с пунцовым отражением на скатерти... и, светлая, она, с блиставшими от слез

глазами... — так и осталось это ослепление светом.

Виктор Алексеевич помнил, «как свет всей жизни», это ослепление счастьем: как обнимал сирень, в восторге, «в росе купался», прижимал к груди — свою любовь. Пунцовый шелк дивана пылал на солнце, сверкало золотой искрой. Он узнал цепочку, свой подарок — крестик с якорьком и сердцем, прильнул губами и целовал — и шелк, и золото — свою любовь. Помнил, как пели птицы в солнечном саду, и благовест Страстного, — свет и звон.

Подводя итоги жизни, много спустя, Виктор Алексеевич рассказывал:

— Странно: угрызений я никогда не чувствовал. Когда душу свою открыл старцу-духовнику, много спустя... даже и тогда не чувствовал. Я всегда любил пушкинское «Когда для смертного умолкнет шумный день», а теперь читаю как молитву. Так вот всегда «воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток». Но и теперь, перед последними шагами из «плена жизни», не чувствую «змеи сердечной угрызения» за безумный акт, когда любовь и жалость излились в исступление, в преступление. Она простила, искупила все. Мой ангел шепчет мне «о тайне вечности», но- ни «меча», ни «мщения».

Виктор Алексеевич не говорил, как приняла то утро Дарья Ивановна. В «записке к ближним» записано об этом так:

«Господи, прости мне грех мой. Я тогда хотела бежать на колокольню и скинуться. Матушка Вириanea меня остановила, повела, сказала: „Читай псалтырь“. Подошла я к матушке, и сделалось мне страшно, что не допустит ко гробику. Страшась взглянуть на лик усопшей, стала и читать по ней псалтырик и увидела, что она лежит с улыбкой. Я припала к ней, и стало мне легко, будто она простила».

«Было мне указание... — рассказывала она Виктору Алексеевичу. — Матушка Вириanea, вратарница, слыла за прозорливую. Еще в первый день, когда вступила я в обитель, поглядела мне на лицо и говорит: „А ты, ласточка-девонька, не улети от нас, глазки у тебя за стену смотрят“. А я тогда все думала о ком-то, глупая. И вот в то утро, после похорон матушки, когда связала в узелок благословение ее, и яичко розовое с „Воскресением Христовым“, ваше, и троицкнй сундучок мой, и псалтырик отказанный, и платьишко кубовое, в чем ночью тогда была, как вы меня повстречали... и пошла, в страхе, к святым воротам, как с вами уговорено было, и боюсь, ну-ка обманете вы меня, не будете ждать на лихаче. Ударило б, к воротам подхожу, а матушка Вириanea уже столик выставила. Спрашивает- „Куда, ласточка-девонька, крылышки востришь так рано?“ Сказала, как вы велели: „Заказец отнести, матушка, шитьецо мое“. А она, будто ей открылось, и говорит: „А дорогу-то не забудешь к нам?“ А вы и подхватили меня в пролетку, на ее глазах. Как сейчас вижу: крестится она, перепугалась. А ваш лихач сказал: „Эх, старушки, проморгали птичку!“»

Новая жизнь открылась бурным счастьем, «безумством дней»: катаниями, цветами, конфетами, примерками у портних и белошвеек, у шляпниц, у башмачников, завтраками в «Большом Московском», ужинами в «Салон-де-Варьете», поездками на «Воробьевку» — к Крынкину, в ресторан, в пассажи... Голова у Дашеньки кружилась, но осветляющие глаза ее даже в ярчайшие минуты омрачались тоской и страхом. Виктор Алексеевич «купался в счастье», приходил в восторг, даже в священный трепет, от «неземной», от ее детской прелести, от восхищений шляпниц, модисток, от удивления башмачников: «На такую ножку трудно-с и подобрать... подъем, глядите-с!» — от шелковистых кудерьков каштановых, от голоса, грудного с серебрецом, от глаз лучистых. Он сажал «богиню» на бархатное кресло, называл нежно: «Дара», «Даре-нок мой», садился у ее ножек, целовал оборку платья, молил «осиять» его, называть его «ты» и «милый», — но она не смела. Она стыдилась, прятала от него глаза, робела, складывала у груди ладошки. как в ослепительное утро, чуть касалась губами его волос, поглаживала робко, как маленькие дети — «чужого дядю». Ей казалось, что она видит сон и вот — проснется.

Через месяц она устала от новизны и попросила позволить ей работать, привести все в порядок,

ходить ко всенощной, заказать заупокойную по матушке. Он спохватился, что совсем об этом не подумал, упал перед ней на колени и умолял простить его, безумца, ослепленного любовью, уверял, что она несравненная, что он только теперь почувствовал в ней лик бессмертный. Эти приливы нежности и страсти, слова «богиня», «неземная», даже- «пречистая», — бросали ее в ужас. Она закрывала уши, шептала, что это грех, ужасный, неотмолимый, что ей страшно, и принималась плакать. После таких «припадков» она неслышно вставала ночью и в темноте молилась: не было у нее лампадки.

Она не спрашивала его, любит ли он ее, и он удивлялся, что она не спрашивает его, женится ли на ней, и кто же теперь она. Растрогало его, когда она случайно высказала, что самое для нее большое горе, что она не смеет пойти на могилку матушки Агнии, не смеет поднять глаз на матушку Виринею-прозорливую, переступить порог святой обители... что часто видит в снах матушку Агнию, всегда в старенькой кофте, всегда печальную. Он почувствовал ее боль и умолял сейчас же поехать на могилку, украсить могилку розами и отслужить самую торжественную панихиду. Она отказалась, в ужасе: «Матушка вратарница увидит... матушка Виринея-прозорливая!..»

Как-то ночью он услышал, что она горько плачет, детскими всхлипами. Он зажег свечу и увидел ее: она сидела в углу на стуле, закрыв лицо. Он стал утешать ее, спрашивать, что случилось. Прильнув к нему, она поведала, что ей страшно, что господь не простит ее, что она грешница из грешниц, «хуже язычницы», что у них даже и лампадки не горят, а она боится без лампадки, и Матушка-Казанская, матушкино благословение, «во тьме висит». «Детское» ее горе умилило его до жалости, пронзило ему сердце. Он спросил, почему же не заведет лампадку, — она все может, она же здесь полная хозяйка, «истинная его жена», пусть завтра же купит все, — «что там у вас полагается», всякие образа-лампадки, и это ему приятно, он в детстве тоже любил лампадки. Почему же она молчала? Она, детски прильнув к нему, поведала ему шепотом, как тайну, что боялась его спросить, что она не знает, чего ей можно... и все боится, что он отошлет ее. Эта кротость, беспомощность пронзили ему сердце. Он посадил ее к себе на колени, как ребенка, отер ей слезы сбившимися ее кудряшками и спросил, неужели она чувствует себя несчастной. Она, пряча глаза в теплое плечо его, ответила не сразу, что она счастлива и очень его любит, только их счастье — «темное», что она не смеет смотреть на свет Божий, ей очень стыдно, и дворник-старик сегодня назвал ее «мадамой». Он взорвался, пообещал распечь дурака, но она соскользнула с его колен, упала перед ним и стала молить, чтобы не сердился на дворника, она и без того несчастная, и ее не простит Господь... и лучше уж ей уйти, лучше пусть отвезет ее в какую-нибудь дальнюю обитель, и она будет вечной его молитвенницей. Все плача, она рассказала, как недавно, когда ходила на Тверскую за ленточкой, признала ее ихняя монахиня-сборщица, матушка Раиса, обошлась ласково, ничего, поблагодарила за жертвенную копеечку, — она ей целый пятак дала, ничего? — и очень ее жалела, и все ее жалеют, что «живет незаконно, в блюде»... а вчера попался ей на Малой Бронной прежний ее хозяин Канителев и изругал... таким ужасным словом назвал, выговорить нельзя. Виктор Алексеевич гладил ее кудряшки, шелковую густую косу, всегда заплетаемую на ночь, и повторял, вкладывая в слова всю нежность: «Бедная моя... глупенькая моя, Даринька». Называл ее «дареная моя, дар мой», приводил ей все доводы, что нет ничего греховного, и если все разобрать, то тут, может быть, «рука ведущая», — впервые тогда сказал такое слово, таившееся в нем со «встречи», — что, если бы не встретила она, не осияла его душу, он погиб бы. И если вдуматься, — матушка Агния сама привела ее к нему на Пасхе... и даже про их поцелуй сказала — «что она сказала, помнишь?» — что он впервые почувствовал в монастыре святое... что все там выше его и чище... это через нее он делается лучше, самое она святое, и такой он больше и не найдет, и нет такой, такой чистоты, ребенка, такой пречистой!

— Говорил, ей, себя не помня... — рассказывал Виктор Алексеевич, вспоминая «ночь откровения», второго «откровения», — всю жизнь свою рассказал ей с детства, как стал мыслителем и вольнодумцем, как женился, как разбилась, сгорела его жизнь... все рассказал, до встречи на бульваре. Мудрая не нашей мудростью, все поняла она.

Сказал, что это матушка Агния провидела, наказывала ей бежать ко мне, если что с ней случится. И вот, пришла она в то утро... и осталась. Не грех тут, а нужно так, для ч е г о — т о нужно.

Она внимала ему в слезах, но это были радостные слезы, «сияние сквозь слезы». В ее «записке» об этом «откровении» так записано:

«Сразу я успокоилась, и стало мне легко, и я вся предалась ему. Я поняла, что это Господь велит мне не покидать его, больная у него душа, жаждущая Духа. Все я ему тогда сказала, все он хотел дознать, какая я».

Они проговорили до солнца, до первых птичек.

— Странно, в голову мне не приходило раньше узнать, — рассказывал Виктор Алексеевич, — как будто я боялся правды, темного происхождения ее. Я знал о какой-то се тетке, о ее сиротстве, — чего докапываться. Было мне странно, откуда в ней такое проникновенное, стыдливость, кротость, тонкость духовности. Мещанка, цеховая, золотошвейка — по паспорту. Сложнее оказалось. Мать ее, бездетная вдова московского псаломщика, очень красивая и молодая, служила экономкой у графа Д., холостяка... — род старый, вымирающий. Ну, понятно... Граф был игрок — обо всем этом рассказывала ей тетка- и застрелился, когда ей было два-три года. Мать выгнали наследники, с ребенком. Жили в подвале, в прачечной, мать простудилась на реке, на портомойне, и умерла в горячке. Малютку приютила тетка, дьяконица-вдова, воспитала, по монастырям водила, учила грамоте, отдала в золотошвейки, померла недавно. Вот она чья, откуда... перекрест кровей. Говорили, что из предков графа, из бояр, кто-то прославлен Церковью. Об этом она страшилась говорить. Я знал, и она знала. Но мы не говорили о Святителе, — страшились.

Они в то утро «повенчались перед небом». Виктор Алексеевич, с кипящим сердцем, — так и говорил: «С кипящим сердцем», — подошел к открытому окну, откуда было видно, как подымалось солнце, и, обняв ее, сказал растроганно:

«Помни-ты моя жена, до смерти...»

Это был миг светлейший, — их любви начальной.

С этого дня Даринька стала привыкать, ручнеть. С этого дня она называла его- «милый», но «ты» ее пугало. Перед Казанской, в спальне, затеплилась неугасимая лампадка. В комнатах висели образа, разысканные в сундуках, старинные. Она все спрашивалась, можноли повесить, купить лампадку, можно ли пойти ко всеобщей. Он говорил ей, с укоризной: «Да-ра, как же тебе не стыдно! тебе в с е можно, ты — хозяйка, моя жена». Она вздыхала. Целый день сновала она в доме, по хозяйству, ходила за покупками, стряпала, стирала даже. Он предлагал ей нанять прислугу, говорил, что средств у них достаточно, лучше пусть читает, развивается, ручки ее дороже всяких денег. Она сказала, что лучше без прислуги, она к прислуге не привыкнет, и... ей стыдно. Что стыдно? Она сложила у груди ладошки и поглядела осиявшим взглядом. Он подошел к ней и нежно обнял. Она шепнула: «Лучше... быть одним». Он радовался, что она ручнеет: «Ты» еще не говорит, но уже шепчет. Так приучаются петь птицы в клетке, щебечут робко. В квартире все было прибрано, уютно, чисто, завелись цветы. Он удивлялся, как мало она тратит, как хорошо она готовит, лучше ресторана. И вот однажды, возвратясь со службы, дал ей какую-то тетрадку и велел хранить. Она спросила, что это за тетрадка. Это был вклад на ее имя в банке — десять тысяч. Она взглянула на него молящим взглядом, глаза наполнились слезами. Зачем ей деньги? Он сказал — мало ли случиться может... с матушкой Агнией случилось. Она перекрестилась, прошептала: «Господи, спаси...» — и отдала ему тетрадку. Он сунул ей тетрадку за кофточку, где крестик, якорек и сердце. Она заплакала: «Не надо... страшно». Сама вскопала в саду клумбы, купила летников и посадила — георгины, петунии, горошек, резеду и астры — цветы обитателей. Каждый вечер он слышал шорохи поливки, легкие шажки, гремь жести лейки. Курил и думал — благодарил к о г о-т о: «Как хорошо... чудесно... Дара... д а р?..»

Как-то, в конце июля, сидели они в ночном саду, вдыхали сладкий аромат петуний. Звезды бороздили небо. Они сидели — «Вот еще, еще... упала!». Он сказал на звезды: «Когда-то искал я, т а м...» Она спросила: «Что искал, кого?... Бога, да?..» Он не ответил. Она опять спросила, робко: «Что же, нашел?..» Он притянул ее к себе, нашел ее дыхание и поцелуями шептал ей: «Нашел,

тебя, пресветлую... в ту ночь... когда искал я Бога... и — д а р нашел Его».

В эту ночь плакала она во сне: пришла к ней матушка Агния, грустная такая, в затрапезной кофте, долго смотрела на нее болезно... жалела так, глазами... «Положила ручку, вот сюда, на чрево... и ушла». Он разбудил ее и успокоил. Ушел на службу. Весь день проплакала она. О чем — не знала. Когда он воротился и спросил, заметив, что ее глаза напухли: «Ты плакала?» — она сказала: «Да, мне было очень скучно».

— Много раз случалось подобное, и я уверился в ее примете, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Сколько несчастий было, и мы знали, когда несчастье постучится. Так и в этот раз: несчастье постучалось, неожиданное. Даринька его ждала, а я не верил.

В начале сентября Даринька снимала парусину на террасе. Напевала тропарь: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной»... Был чудесный, свежий осенний день. На клумбах почернели георгины, но астры еще сияли. Вдруг осы из потревоженного гнезда, должно быть, — они все лето надоедали нам, — испугали ее зудливым гулом, стул качнулся, и она упала за террасу, слегка живот ушибла лейкой. Вечером она почувствовала боли, но таилась. Виктор Алексеевич спросил, в тревоге: «Что с тобой?» — «Сегодня я упала, что-то мне больно вот тут...» И показала на живот, вздохнула. Лицо ее осунулось, глаза погасли. Виктор Алексеевич взял ее на руки и тут увидел на паркете... — ахнул.

Только к ноябрю она оправилась, опасность миновала. Доктор Хандриков и начинавший в те дни, впоследствии известный Снегирев, сказали, что после такого «казуса» детей — увы! — не будет.

Даринька уже переходила на диван, сидела в креслах. Как-то Виктор Алексеевич взял ее руку, заглянул в глаза. Она шепнула: «Не разлюбишь?..» — и оробела: «Не разлюбите... такую?» Он проглотил ком в горле: «Что ты... Дара!..» Две слезы повисли на ее ресницах — и покатились по щекам, за шею. Прозрачное ее лицо застыло в скорби. Он гладил ее руку и молчал.

— И тут случилось странное. Бывает это, совпадение в мыслях... с ней у нас бывало часто... — рассказывал Виктор Алексеевич. — Я молчал, но где-то, в сокровенной глубине, не мысль... а дуновение мысли: «За что?!» При всем моем душевном оголении, опустошенности душевной, я вопрошал, к о г о-т о: «За что?!» С негодованием, протестуя. Она таила от меня с в о е, беременность... ей было стыдно... И вот скользнуло «дуновенье», передалось, и я услышал глубокий вздох и шелест детских губ, в пленочках, сухих, бескровных. Она ответила на мой вопрос, не сказанный:

«За грех».

Виктор Алексеевич впервые тогда поверил — не поверил, но признал возможным: «За грех».

VI ОЧАРОВАНИЕ

Болезнь Дариньки оставила в душе Виктора Алексеевича глубокий след. Он не считал себя склонным к «мистике», к проникновению в лик вещей, и в роду их не замечалось подобной склонности. Были религиозны в меру и по обычаю, а дед хоть и перешел из лютеран в православие, но сделал это по житейским соображениям, из-за каприза тестя, богатого помещика, не желавшего отдать дочь за «немца чухонской веры». Сам Виктор Алексеевич считал себя неспособным к богомыслию и созерцанию бездн духовных, отмахнулся от Гегеля и Канта и отдался мышлению «здравому» и точному, так сказать — «механическому», что соответствовало как раз его инженерскому призванию.

И вот во время болезни Дариньки произошло такое, чего никак нельзя было объяснить точным и «здравым» мышлением.

Что болезнь Дариньки была как бы предуказана знамением во сне — «видением матушки Агнии», это никак в нем не умещалось, и он объяснял это «знамение» естественными причинами: в организме Дариньки случилось что-то еще до сна, и это что-то, при ее слишком нервной организации, неясными ощущениями уже грозившей боли и могло вызвать видение матушки Агнии, положившей ручку с грустью свою на «чрево», в котором что-то уже случилось. Он сказал докторам про сон, чтобы осветить им картину заболевания, дал объяснение «видению», и они согласились с ним. Узнав, как больная проводила время до своего падения с террасы, и принимая в соображение, что никаких видимых следов ушиба об лейку не обнаружено, они приходили к выводу, что падение могло бы обойтись и без последствий, особенно таких молниеносных, если бы не случилось чего-то раньше; а это что-то — то как раз и было: за два дня перед тем Даринька снимала в саду антоновку, прыгала, как ребенок, карабкалась даже на деревья, — что очень важно! — и не раз тянулась — что чрезвычайно важно! — сбивая яблоки довольно тяжелой палкой, — что также чрезвычайно важно. Доктор Хандриков, уже немолодой, похожий на Достоевского, — его отец знал отца Достоевского по Мариинской больнице, — при сем заметил, что полной истины мы не знаем, а если больная верующая, так это может только помочь в болезни, — вера горами двигает. С этим шутливо согласился и молодой акушер Снегирев и ободряюще сказал Дариньке, лежавшей при них с закрытыми глазами: «А вы, милая сновидица, помогайте нам, старайтесь какой-нибудь поприятнее сон увидеть... например, как ваша милейшая старушка поставила вас скоренько на ножки». На эту шутку Даринька не ответила и прикрыла лицо руками, — ей было стыдно. После утомительной работы акушер с удовольствием выпил водки и объявил, что при таком идеальном сложении и таком сильном сердце можно вполне надеяться, что все благополучно обойдется.

— Я старался себя уверить, — рассказывал Виктор Алексеевич, — что этот сон мог повлиять на Дариньку, ослабить ее борьбу с болезнью, и проклинал эту каркалу, матушку Агнию, с ее затрапезной кофтой и грустным взглядом. От этого ее взгляда Даринька и почувствовала себя как бы обреченной. Убеждал себя, а во мне нарастало что-то пугающее и мрачное. И чем разумней, казались мне, разбивал я родившуюся во мне тревогу, она укоренялась крепче.

И эта тревога оправдалась. Две недели упорно держалась лихорадка, доктора ездили каждый день и становились день ото дня тревожней: температура показывала с упорным постоянством: 37 и 7 — утром, 38 и 2 — вечером. Даринька слабела, отказывалась принимать микстурки и пилюльки: «Тошно!» — перестала пить миндальное молоко и строго предписанное — «через четверть часа по глотку шампанского». И вдруг, вспомнив что-то, радостно попросила дать ей святой водицы. Виктор Алексеевич, чтобы доставить ей удовольствие, погнал дворника Карпа в ближнюю церковь: «Взять на целковый, что ли... святой водицы». Дворнику воды не дали, а пришла курносенькая говорливая старушка, сама просвирня, и благочестиво вручила самому барину запечатанную сургучом бутылочку со святой водой, «с крещенской самой... чи-истая, как слеза». С радости Виктор Алексеевич дал ей еще целковый, отмахнулся на какие-то ее советы — довериться, sprыснуть болящую с уголька и отслужить молебен Гурию, Самону и Авиву, насилиу выпроводил, — старушка все порывалась что-то поговорить больной, и был несказанно счастлив, когда милая Даринька выпила с наслаждением почти чашку и глаза ее засветились счастьем.

В тот же вечер, осмотрев больную, доктора вышли в залу с особенно строгим видом, поговорили между собой по-латыни, — Виктор Алексеевич понял, что положение серьезно, грозит воспаление брюшины, — и сообщили ему уклончиво, что у больной начинает определяться родильная горячка, принявшая «литическую» форму, — он это не понял и попросил разъяснения, — что, конечно, молодой организм может выдержать, если не случится «непредвиденных» осложнений, а пока надо аккуратно держать компрессы, следить за пульсом, и они сейчас же пришлют опытную сиделку-акушерку: больную нельзя оставлять ни на минуту, так как может случиться кризис.

Виктор Алексеевич особенно остро принял из всего одно только слово — кризис, показавшееся ему «мохнато-черным и злым, с лапками, как паук». Взятая из богадельни старушка для ухода самовольно ушла ко всенощной. Виктор Алексеевич, в оцепенении и тоске, сидел у постели Дариньки, прислушивался к ее дыханию, казавшемуся тревожным, и внутренними глазами видел, как этот ужасный кризис, с горбатыми черными лапами, возится где-то тут, в

темном углу, за ширмой, куда не доходит отсвет голубоватого ночника. Даринька начинала бредить, передыхать, хрипло вышептывала слова, что-то невнятное, — может быть, слова молитвы. Просила не открывать ей ноги, не подымать рубашку, вскрикивала: «Не мучайте... закройте одеяло... как не стыдно!..» Говорила про какую-то великомученицу Анастасию-Узорешительницу: «Главка ее у нас, в ковчежце... помолитесь, миленькие...» Виктор Алексеевич испугался, когда Даринька вдруг стала подниматься, что было строго запрещено, хотел уложить ее, но она металась в его руках и повторяла: «Нельзя... надо... скорей вставать, велела с а м а... Пресветлая...» Он уложил ее, поправил на лобике укушенный компрессик и поцеловал в обметанные жаром губы. Она взглянула на него, «разумными глазами», и лихорадочно-быстро стала говорить, вполне сознательно: «Так нельзя, в темноте, без лампадки... затепли, миленький... поставь поближе ко мне на столик, благословенье мое... Казанскую-Матушку». Обрадованный, что она говорит разумно, что, должно быть, ей стало лучше, он перенес и устроил на столике у ее постели образ Богородицы Казанской, благословенье матушки Агнии, долго искал масло и фитильки, оправил, как мог, лампадку, зажег и пристроил ее в коробку с ватой, чтобы она стояла. Даринька следила за ним и говорила: «Как ты хорошо умеешь... только стыдно мне, тревожу тебя». Потом перекрестилась и сказала совсем разумно: «Я завтра встану, мне хорошо, я совсем здорова». И успокоилась, затихла. Он послушал ее дыхание, и ему показалось, что она дышит ровно. И тут что-то о-т о сказало в нем, что кризис не посмеет ее отнять, что тогда... для чего же тогда в с е было?!

Приехала акушерка, развязная, костлявая, стриженная и неприятная — «солдат в юбке», — нестерпимо навоняла пахитоской, напрыскала везде карболкой и велела убрать со столика «все это сооружение»: «Зацепим — и больную еще спалим!» Виктор Алексеевич нерешительно отодвинул столик. Акушерка швырнула пахитоску на пол, придавила ногой, хлопнула себя по бокам, засучила пестрые рукава, откинула одеяло с Дариньки, — Виктор Алексеевич смутился и попросил: «Поосторожней, пожалуйста... можно испугать больную!» — не обратила никакого внимания на его слова, разбинтовала у Дариньки живот и принялась что-то быстро проделывать над ним, приказав Виктору Алексеевичу светить пониже. Даринька, должно быть, испугалась, смотрела безумными глазами и шептала, тоненько, «как комарик»: «Ой, потише...» — но акушерка не обратила внимания, пробасила отрывисто: «Терпите, милая, надо же мне исследовать!..» — и должно быть, сделала очень больно: Даринька охнула, а Виктор Алексеевич, потеряв голову, схватил акушерку и отшвырнул. Она нимало не смутилась и деловито спросила, где у них... вымыть руки? Потом привела все в порядок, пощупала пульс, поставила градусник и пробасила: «Молодцом, непременно шампанского с сахаром!»

Градусник показал невероятное: 40 и 3! Виктор Алексеевич схватился за голову, чувствуя наступающий «кризис». Но акушерка была невозмутима: налила шампанского в бокальчик и бросила кусок сахара: «Пейте, милая». Даринька глядела «совсем безумно», стиснула крепко зубки и, как ни возилась акушерка, не позволила влить шампанского. Виктор Алексеевич нагнулся и ласково пошептал: «Хочешь святой водицы?» Она сказала ему глазами, и он дал ей святой водицы. Она выпила с наслаждением, закрыла глаза и задремала. Акушерка настаивала: «Шампанского, с сахаром!» Но как ни шептал Виктор Алексеевич про водицу, в надежде, что она снова откроет рот и они вольют ей шампанского с сахаром, которое «незаменимо в такие серьезные минуты», она не отзывалась, и акушерка впрыснула камфару, Даринька стала бредить: «Подымают... велят вставать... недостойна я... Господи...» Виктор Алексеевич схватился за голову и помчался за Хандриковым, хотя был уже третий час ночи. Акушерка обидчиво сказала: «Что же вы мне не доверяете, я же тут!» — и когда Виктор Алексеевич уехал, она какой-то пластинкой разжала у больной рот и влила ей бокал шампанского с сахаром. Потом выпила и сама и закурила от лампадки. Обо всем этом она лихо рассказывала после, как она «подняла» больную.

Виктор Алексеевич привез Хандрикова, с постели подняв. Доктор пощупал пульс, смерил температуру, пожал плечами: температура стремительно упала: 38 и 2. Велел сейчас же к ногам горячие бутылки и повторить камфару. Даринька от бутылок вздрогнула, открыла глаза и — улыбнулась. Хандриков щупал пульс. Лицо его стало напряженным, глаза насторожились, и он не сказал, а хрипнул: «Что же это она с нами вы-де-лыва-ет... ничего не понимаю... возьмите-ка?... — торопливо сказал он акушерке, словно поймал что-то необыкновенно интересное, — совершенно нормальный... хорошего наполнения! ну-ка поставьте еще, померяем?...» Акушерка пощупала и

сказала уверенно: «Шампанское с сахаром». Градусник показал 36 и 8. «Кризиса» не случилось: температура дальше не падала и не повышалась. Даринька хорошо уснула. Виктор Алексеевич зашел за ширму, быстро перекрестился и беззвучно затрясся в руки.

Уезжая, уже на рассвете, Хандриков говорил: «Тридцать лет практикую, но т а к о г о у меня еще ни разу не случилось». Уже в шубе, он повернулся к больной, безмятежно спавшей, поглядел на нее внимательно, «восторженно, как мастер любит свое искусство», — рассказывал Виктор Алексеевич, даже нагнулся к ней, словно хотел поцеловать ее в разметающиеся на лбу кудерьки, и тихо, растроганно сказал стоявшему рядом Виктору Алексеевичу: «Удиви-тельная она у вас... какая-то... особенно очаровательная, детская вся... чудесный, святой ребенок!» Виктор Алексеевич не мог ничего ответить, пожал ему крепко руку и проглотил подступившее к горлу — «благодарю». В передней, все еще в возбуждении Хандриков говорил, принимая от акушерки бокал шампанского: «Присутствовали при чуде? определенно начинавшийся перитонит... р а с т а я л! запишем в анналы, но, конечно, не объясним». Акушерка уверенно сказала: «Шампанское с сахаром!» Он отмахнулся и потрепал ее по плечу: «Знаю ваше „шампанское с сахаром“! Сами отлично понимаете, Надежда Владимировна... раз уже начиналось тление, никакие „шампанские“ не спасут... а вы можете констатировать собственным вашим носом, что характерного т л е н и я п о ч е м у-т о не стало слышно... — и я ничего тут не понимаю».

Случилось то, чего страстно хотел, о чем м о л и л с я Виктор Алексеевич и чего «не могло не быть».

— Да, я молился без слов, без мысли, — рассказывал он. — Молился душой моей. Кому? В страшные те часы все обратилось для меня в Единосущее-Все. Когда тот черный, мохнатый «кризис» подкрадывался па горбатых лапах, чтобы отнять у меня ее и с ней отнять все, что внял я через нее, я з н а л, что ему не совладать с... п л а н о м. Веянием каким-то я чувствовал, что я уже нахожусь в определенившемся п л а н е и все совершается по начертанным чертежам, п у т я м. Я знал, что она необычайная, н а з н а ч е н н а я. И ей умереть н е л ь з я. Если бы она покинула меня тогда, когда я еще был т е м н ы м, после всего, что случилось с нами, это было бы таким бессмысленным, таким бездарным, таким абсурдом, что... оставалось бы только- все это ви-димое взорвать и самому стереться. Абсурд, обращающий в пыль даже наши ребяческие представления о «грошовом смысле», о нашей «неизмеряемой закономерности». Я чувствовал, что не случайно явилась она мне «на перепутье», что она в моей жизни — как и д е я в чудесном произведении искусства, что она брошена в мир, в меня и «произведение будет завершено».

Поднялось радостное утро- утро очарования. Было начало октября, но в ночь выпало столько снега, как бывает только глухой зимой. Дариньке было из постели видно, как сирень никла под снегом, как розовые и голубые астры сияли из-под сугроба розовыми и голубыми звездами, снеговыми гирляндами свисали ветви берез над садом, а листья винограда на террасе, пронизанные солнцем, ало сквозили из-под снега. И на этой живой игре — солнца, цветов и снега — нежно дышали розы на столике, привезенные докторами, как победа. И на всю эту прелесть жизни радостно-детски смотрели глаза больной.

— Она положительно всех очаровала, — рассказывал Виктор Алексеевич, — доктора просидели у нас тогда до вечера, празднично-возбужденные, может быть чуть влюбленные, как с шампанского. И надо всем веяло светлым очарованием. Я был душевно пьян, что и говорить. Но она, воскресшая чудесно, была не прежняя, а какая-то... вземная, просветленная, на все взирающая, как на чудо. Бывает это после тяжелой болезни. В ней это было особенно как-то ярко.

В «записке к ближним» Дарья Ивановна записала о «чуде» так:

«Мне страшно вспоминать о благодати Божией. Я готовилась о т о й т и, но страшилась, что он останется и ему будет больно. Неужели Владычица снизошла к недостойной моей молитве! Я видела мохнатую собаку, как лезла лапами на постель, и такой дух от нее тяжелый, и стало душно, и я обмерла. И вот Пресветлая, как Царица, подняла меня на главу, а голоса сказали: „Восстани и ходи“. Я проснулась и увидела свет, много снегу, и по нем цветы, и солнышко так светило, а на

столике палевые розы, чайные, такое очарование. Это доктора мне привезли в знак радости. И все было новое в тот день».

Оба они не смели верить, что было чудо. И оба верили. Даринька долго не говорила о «чуде» Виктору Алексеевичу. Только после переезда в Мценск, после случившегося с ними, когда и он был на краю гибели, открыла она тайну, чтобы укрепить его. А в тот день, снежный, о «чуде» никто не знал, доктора говорили об исключительной натуре, о случае редчайшем, и Даринька не тайной-чудом влекла к себе, а очаровательной детскостью, «небесными» глазами: «светилась тайной очарования». Даже акушерка, самоуверенная и резкая, — много было таких в те дни, под кличками «синий чулок» и «нигилистка», — чувствовала себя, как откровенничала она с шампанского, «немножко щенячьи-нежной» и называла Дариньку «чудесная-милая» и «тихий светик». И правда: Даринька светилась внутренним каким-то светом, лежала «снежно-восковая, как бы из редкостного тончайшего фарфора, словно лампада светилась в ней». Серые с голубинкой глаза ее стали огромными от болезни, не озаряли, а теплились, взирали изумленно и вопрошающе, — радовались ч е м у — т о, что теперь было в ней.

— Она была новая для меня, я в л е н н а я... иконная! — рассказывал восторженно Виктор Алексеевич. — Уже тогда показалось мне, что не от мира сего она. Часто я спрашивал себя — кто она? И не мог ответить. Святая?.. Были и у ней грехи, и один, по ее словам, тягчайший. Она таила его от всех, томилась им до последнего часа жизни. «Удивительная она, — сказал тогда доктор Хандриков, — чудесный, святой ребенок». Нет, она была очень мудра. Только испытав все, я как будто понял, откуда в ней такое «неземное очарование». В ней была чудесная капля Света, зернышко драгоценное, о т т у д а, от Неба, из Лона Господа. Отблеск С е т а, неведомыми нам путями проникающий в прах земной... какой-то прорыв случайный... «случайный» — для нас, конечно... Этот редчайший отсвет бывает в людях: в лицах, в глазах. Бывает чрезвычайно редко. В женских глазах, в улыбке. У мужчин — не знаю. В улыбке матери, когда она бездумно грезит над младенцем. Недаром великие художники Мадонн писали — неуловимое ловили. Вдруг блеснет тот отсвет в искусстве, в музыке. Нездешнее, о т т у д а. В природе, — знаем по житиям, когда благословляет сердце «и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду». В поэзии. У Пушкина... до осязаемости ярко. В русских женских лицах ловил я этот отсвет... Рафаэли творили своих Мадонн, но вспомните... чувствуется плоть, с «любви» писали. В милых русских л и к а х улавливал я эти проблески с в я т о г о, из той Кошницы, из Несказуемого пролились они каким-то чудом в великие просторы наши и вкрапились. Эти золотишки Божества в глаза упали и остались. Кротость, неизъяснимый свет, очарование... святая ласка, чистота и благодать. Через страдание дается?.. Столько страданий было, и вот отлилось в эти золотишки, в Божий Свет. З о в у т, напоминают, манят тайной. Вот это и светилось в ней, — в е ч н о е, из той Кошницы.

К ноябрю Даринька окрепла. Почувствованное всеми в снежный день очарование ее осталось, но в глазах ее простерлось грустью сказанное ею: «Темное наше счастье». Доктора сказали: детей не будет. Виктор Алексеевич видел в ее глазах оставшееся навсегда:

«З а г р е х».

VII ОТПУЩЕНИЕ

К Рождеству Даринька вполне окрепла и очень похорошела, как женщины хорошеют после родов, здоровые молодые женщины. В радости материнства судьба ей отказала, и бурно отказала, с угрозой жизни, и все же — «Даринька расцвела, раскрылась во всей полноте душевной, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Нетронутая почва, вчерашняя монастырка... она вся светилась изяществом природным, легким, — не странно ли?..»

Вскоре после того октябрьского утра, когда цветы под снегом праздновали ее выздоровление, Виктор Алексеевич вошел в спальню радостно возбужденный, как бы желая чем-то ее обрадовать. Она лежала в нарядной, тончайшего батиста кофточке, еще во время ее болезни купленной им в английском магазине на Кузнецком. Тогда она только устало поглядела и сказала: «П о т о м... не

надо», а в этот день сама попросила ходившую за ней старушку дать ей новую кофточку. После она призналась, что думала тогда о «последнем уборе», как она будет лежать нарядной и ему будет легче видеть ее т а к о й. Виктор Алексеевич видел еще от двери, как она, оттянув рукавчик, смотрела через батист на свет, как делают это дети. Он шутливо спросил, что это она закрывается от света. Она сказала, обтягивая батистом губы, сквозившие сквозь батист: «Совсем прозрачный... должно быть, очень дорого стоит... ну, по правде, сколько?..» Раньше он все отшучивался. — «Не все ли равно, двугривенный!» Но теперь сказал правду, желая ее обрадовать любовью: пустяки, полсотни. Она всплеснула ладошками, в испуге: «Господи... грех какой! теперь мне страшно ее надеть».

— И это не притворство было, вся жизнь ее это подтвердила, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Ей было перед жизнью стыдно за довольство, в котором она жила, за «такое ужасное богатство».

Он взял ее руку, пошарил в жилеточном кармашке и, целуя ей безымянный палец, надел на него обручальное кольцо. И тут она увидела, что и у него такое же. Она глядела в радостно-вопрошающей тревоге, а он сказал весело: «Вот мы и повенчались». Она лежала молча, покручивая кольцо на пальце, и он увидел, как глаза ее наполняются слезами. «Нет... — вымолвила она чуть слышно, вздохом, будто сказали это ее слезы, ее ресницы, поднявшиеся к нему от изголовья, дышавшие на груди каштановые косы, — это... нельзя шутить...»- и стала выкручивать кольцо. Он старался ее утешить, что это только пока, домашнее обручение, и что он написал т о й решительное письмо, и теперь все устроится. Она поцеловала его руку, пощекотала ее ресницами, в молчанье, и повторила, будто сама с собой: «Самовольно нельзя... себя обманывать».

— С этого дня она ни разу не надела кольца, ждала. Всю жизнь пролежало кольцо в шкатулке... — рассказывал Виктор Алексеевич. — Э т и м она повенчала меня с собой крепче венцов церковных.

Перед Рождеством произошли события. Из Петербурга пришла бумага — явиться на испытание его проекта, новой модели паровоза. Бывший его начальник часто писал ему, что министерство, несомненно, примет его проект, надо ковать железо и перебираться в Питер. Он поделился радостью с Даринькой, — «Ты принесла мне счастье!» — и они решили, что надо перебраться. Решил, вернее, один Виктор Алексеевич: Дариньке было чего-то страшно, но она об этом промолчала. Другое событие было грустное, но, как многое в жизни, связанное с приятным: далеко в Сибири, на какой-то реке Бии, — письмо шло оттуда два месяца, — застрелился от сердечных неприятностей — писал доверенный — старший брат Виктора Алексеевича, изыскатель-золотопромышленник; там и похоронили, денег наличных не осталось ни копейки, и компаньоны-англичане грозятся забрать все прииски за долги; прииски — золотое дно, «приезжайте сами или пришлите доверенность судиться». Покойный был мот и холостяк, красавец и женолюб, и это вполне возможно, что денег не осталось, но оставался огромный дом на Тверском бульваре, тогда еще не носивший клички «Романовка». Под дом было взято, конечно, в Кредитном обществе, но владение было миллионное, и наследником оказывался Виктор Алексеевич, если не осталось завещания.

Виктор Алексеевич чувствовал раздвоение: он любил очень брата, и — «что-то захватывало дыхание» при мысли, что теперь жизнь устроится, можно т о й выкинуть тысяч пятьдесят и купить развод, зажить — как хочется, заняться наукой, поехать с Даринькой за границу. Он показал Дариньке портрет брата, — «красавец, правда?» — и рассказал кое-что из его «историй». Даринька нашла, что они «ужасно похожи», только у Виктора Алексеевича глаза «тоже горячие и глубокие, но мягче». От «историй» она приходила в трепет, вспыхивала стыдом, и в глазах ее пробегало огоньками. Он заметил, как она слушает, и сказал: «О, и ты, сероглазая, кажется, не такая уж бесстрастная!» После болезни она совсем освоилась — «приручилась». Спросила его: «Неужели и ты такой же, как Алеша?» С полной откровенностью он сказал, что э т о у них — татарское, по материнскому роду, и он женолюб немножко, но она закрыла для него всех женщин: все женщины в ней соединились. Она слушала зачарованно.

На другой день она попросила Виктора Алексеевича пойти с ней в приходскую церковь, недалеко от них, и отслужить панихиду по новопреставленному рабе... — «нет, теперь уже не новопреставленный он, больше сорока дней прошло...» — по рабе Божиим Алексеем: «О нем надо особенно молиться». Виктор Алексеевич охотно согласился и даже опускался на колени, когда опускалась Даринька. Заодно отслужили и по матушке Агнии. Курносенькая просвирня, та самая, что принесла во время Даринькиной болезни святой водицы, Марфа Никитична, — она теперь хаживала к ним, но боялась беспокоить барина и пила чай с Даринькой на кухне, — подкинула и Виктору Алексеевичу под ножки коврик, и он, растроганный печальными песнопениями и мыслями об Алеше, прибавил ей и от себя полтинник. Даринька расплакалась за панихидой, остро почувствовав утрату матушки Агнии, вспомнив тихую жизнь у нее и страшные похороны — безумство; плакала и от счастья, которое в ней томилось сладко. Уже на выходе просвирня просительно помянула: «А не помолобествуете великомученице Узорешительнице, ноне день памяти ее празднуем?» — и Даринька вспомнила в испуге, что сегодня как раз 22 декабря, великомученицы Анастасии-Узорешительницы память. Вспомнила — и с ней случилось необычайное: «Она стала будто совсем другая, забыла страх», — она до сего боялась даже проходить близко от монастыря, — и взволнованно объявила Виктору Алексеевичу, что надо ехать сейчас же в Страстной, отслужить благодарственный молебен перед ковчегцем с главкой великомученицы — она служила молебен с акафистом по выздоровлении и Богородице, и Узорешительнице, но только в своем приходе, — что «Узорешительница предстательствовала за нее перед Пречистой», что «сердце у нее горит, и теперь уж ей все равно, иначе и не найдет покоя». Виктор Алексеевич как-то встревожился, но тут же и согласился, плененный ее молитвенным восторгом, необычайной доселе страстностью, тревожной мольбой ее взгляда, по-новому очарованный. Она была восхитительна, под поникшей от инея березой, у сугробов, на похрустывавшем снежку, в зимне-червонном солнце, ожившая Снегурка: в бархатных меховых сапожках, в котиковой атласной шапочке, повязанной воздушно шалью, в бархатной распушенной шубке, — пышно-воздушно-легкая, бойкая, необычайная. Он на нее залюбовался. И вдруг, — взгляд ли его поняв, — она оглянула себя тревожно и затрясла руками: «Господи, что со мной! на панихиду — и такая!.. это же непристойно так...» Он ее успокаивал, любясь, не понимая, что тут особенного, шубка совсем простая. Она ужасалась на себя, а он любовался ее тревогой, детской растерянностью, голубоватым, со снега, блеском разгоревшихся глаз ее. Она корила себя, какая она стала, ничего не заработает на себя, избаловалась. Все повторяла: «Ах, что бы матушка Агния сказала, если бы видела!» Стала пенять, что он ее так балует — портит, столько роскоши накупил, такие сорочки прорезные... «Кюфточка одна, Господи... пятьдесят рублей!! надо с ума сойти... а самого простого, расхожего, что нужно...» Это было так неожиданно для него, так чудесно. И так было это детски-просто и искренно, что в глазах у нее заблестали слезы. Он сказал ей, что теперь купим все, целую Москву купим... «Вон, видишь... — показал он на что-то вдаль, когда они вышли из переулка на Тверской бульвар, — огромный, с куполом, на углу?.. сколько... четыре, пять, чуть ли не шесть этажей... это брата Алеси домина, и теперь н а ш как будто!» Она взглянула — и ужаснулась: этот огромный дом она хорошо знала, помнила, как он строился... — и теперь этот дом... н а ш?! Нет, это сон какой-то... и все, что было, и все, что сейчас, — все сон. Она заглянула в его глаза, в синюю глубину, в которой утонула, и робко сказала: «Милый...»

Они остановились наискосок от того углового дома: со стороны Страстного, в облаке снежной пыли мутно мчался на них рысак. «Постой, проедет...»- сдержал Виктор Алексеевич Дариньку, которая хотела перебежать. Рысак посбавил, снежное облачко упало, и, бросая клубами пар, отфыркиваясь влажно, выдвинулся на них огромный вороной конь, с оскаленной удилами мордой. Они полюбовались на рысака, на низкие беговые саночки-игрушку, новенькие, в лачку, на завейного снежной пылью статного черномазого гусара, в алой фуражке, в венгерке-доломане, расписанном жгутами-кренделями, с калмыжками на штанах, — подмятая шинель мела рукавом по снегу, — невиданное, праздничное пятно. Это был чудесный «игрушечный гусарчик», какими, бывало, любовалась Даринька в игрушечных лавочках, только живой и самый настоящий. И этот гусарчик крикнул: «Ба, Виктор, ты?!..» Виктор Алексеевич радостно удивился, представил Дариньке; «Князь Вагаев, вместе учились в пансионе...» И гусар отчетливо отдал честь, сняв беговую рукавицу. Они весело поболтали, гусар опять четко приложился, склонившись в сторону Дариньки, окинув черным, как вишня, глазом, и послал рысака к Никитской.

«Совсем игрушечный! — сказала Даринька умиленно. — Никогда еще не видела настоящих».

Виктор Алексеевич объяснил, что это лейб-гусар, питерский, приехал на праздники к дяде, известному богачу-спортсмену, и будет б е ж а т ь на Пресне, у Зоологического сада, на Рождество, на этом вот рысаке Огарке, хочет побить известного Бирюка — орловца. На Бирюке едет тоже владелец, кирасир, — оба под звездочками в афишке, так как офицерам с вольными ездить запрещено. Даринька ничего не поняла. «После поймешь, — сказал, смеясь, Виктор Алексеевич, — ложу нам обещал прислать, непременно едем, пора тебе свет увидеть».

Даринька очень любила лошадей, а этот огромный вороной, которого зовут так смешно — Огарок, особенно ей понравился; все косил на нее плутоватым глазом и выкручивал розовый язык.

День был предпраздничный, сутолочный, яркий, с криками торгашей, с воздушными шарами, с палатками у Страстного, где под елками продавали пряники, крымские яблоки, апель-цы-ны и сыпали приговорками, подплясывая на морозе, сбитенчики с вязками мерзлых калачей. Бешено проносились лихачи, переломившись на передке и гейкая на зевак, как звери; тащили ворохами мороженных поросят, гусей; студенты с долгими волосами, в пледах, шли шумно, в споре; фабричные, уже вполпьяна, мотались под лошадьми с мешками, — все спешили. Даринька небывало оживилась, будто видела все впервые: пьянела с воздуха после болезни. В таком возбуждении, «на нерве», она быстро прошла под святыми воротами, мимо матушки Виринеи, сидевшей копной у столика с иконой, — один только нос был виден. Все было снежно в монастыре, завалено, — не узнать. Они прошли направо, к южным дверям собора, в светлую галерею — придел великомученицы Анастасии-Узорешительницы, и Даринька вдруг упала на колени перед сенью в цветных лампадах, перед маленькой, в серебре, гробницей с главкой великомученицы, склонилась к полу и замерла. Виктор Алексеевич смотрел растерянно, как в молитвенном исступлении, мелко дрожали ее плечи.

— Я понимал, что это нервное с ней и не надо ее тревожить, — рассказывал он про этот сумбурный день, — что она у предела сил, что теперь она вся в и н о м, вырвавшись страшным напряжением из жизни, ее вбиравшей. Я боялся, что с ней сделается дурно, что она не осилит боли, которая в ней таилась и вот обострилась нестерпимо. После она призналась, что был один миг, когда хотела она перед стареньким иеромонахом, который служил молебен, перед какими-то нищими старушками и беременными женщинами, тут бывшими, и монахиней пригробничной, от которой скрыла лицо вуалькой, покаяться во всеуслышание и молить-молить перед великомученицей, всех молить, валяться у всех в ногах, чтобы простили ей ее «мерзкую жизнь», ее «смертный грех блуда и самовольства».

Но она пересилила крик души: молилась в немом оцепенении. Вышли они неузнаваемыми и пошли за иеромонахом на кладбище, к заснеженной могилке матушки Агнии. Виктор Алексеевич поддерживал Дариньку, которая двигалась как во сне. Нет, могилка матушки Агнии была не занесена, — расчищена, и даже было усыпано песочком. Даринька бессильно упала на колени и крестилась мелкими крестиками, как с испуга. На дубовом кресте было начертано: «Блажени чистые сердцем, яко тии Бога узрят». А когда иеромонах с двумя перешептывавшимися послушниками запел «со святыми упокой», Даринька не смогла сдержаться и излилась в рыданиях. Виктор Алексеевич поспешил дать иеромонаху рублевую бумажку, сунул шептавшимся послушникам, что нашлось, и все, наконец, ушли. Даринька терлась лицом об оледеневшую могилку и взывала: «Матушка, прости... ма-тушка!..»

— Матушка Агния, кроткая, «человеческая овечка», ее простила. Сказала ей, через ледяной бугорок сказала, сердцу о т к у д а-т о сказала, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Даринька у с л ы х а л а е е душу, я это видел: она вдруг подняла заплаканное лицо от бугорка, будто ее позвали, сложила, как всегда от большого чувства, руки ладошками у груди и бездумно глядела, вглядываясь в полнеба. Я не видел ее лица, только ресницы видел, с каплями слез на них.

Кладбище было маленькое, уютное, в старых липах. Снег сиял ослепительно на солнце, и усыпанные песком дорожки казались розовыми на нем. Эта снежная белизна и тишина утишали

все думы, усыпляли. Даринька о т о ш л а, стряхнула с шубки, утерла глаза платочком, и примиренным усталым голосом, с хрипотцой, сказала, что здесь ей хорошо покоиться и она очень рада, что н а в е с т и л а. Ее напряженное лицо, скорбно захваченное большой заботой, обмякло в усталую улыбку. Он увидел глаза, те самые, как в июльский вечер, в келье матушки Агнии, освещающие, звездистые, не было в них ни боли, ни испуга, ни тревожного вопрошания, они кротко и ласково светили. И он почувствовал, как тогда, что судьба одарила его счастьем, что отныне жизнь его — только в ней. Он взял ее руку и молча поцеловал. Она прошептала вздохом, как бы ища поддержки; «Ми-лый...» — и сжала его руку.

Перед святыми воротами Даринька сдернула с головы кутавшую ее шальку, словно ей стало жарко, и, обернувшись к Виктору Алексеевичу, сказала н о в ы м каким-то тоном, решительным и легким: «Вот матушка Вриняя удивится!» — и длинные ее серьги-изумруды закачались. Он не успел подумать, как она побежала к милостынному столику, положила серебреца на блюдо, перекрестилась на образок и, как когда-то белицей, поклонилась в пояс матушке вратарщице, закутанной от мороза до самых глаз: «Здравствуйте, матушка... не узнаете?..»

— Я не верил своим глазам, — рассказывал Виктор Алексеевич, — что случилось с Даринькой, откуда эта легкость, даже бойкость? Подумалось — не болезнь ли... После недавнего еще страха перед монастырем! Мимо ведь проходить боялась, а тут...

Матушка Вриняя оттянула свою укутку, пригляделась, и ее мягкий рот искосился в счастливую улыбку; «Ластушка... де-вонька наша... да тебя и не узнать стало, хорошая какая, богатая... к нам была, не забыла Владычицу. Ну как, счастлива ли хоть?.. Ну, и хорошо, дай Господи... не забывай обители. Ну, что тут, всяко бывает... иной и в миру спасается, а то и в монастыре кусается. А это супруг твой, маленько припоминаю, душевный глаз. А вы, батюшка, жалеете ее, сиротку. Господь вас обоих и пожалеет, обоих и привееет, как листочки в уюточку». Они поцеловались, как родные, облапила матушка Вриняя Дариньку.

Блестя оживленными глазами, от слез и солнца, Даринька, — что с ней случилось! — запыхиваясь, как радостные дети, высказывала свое, рвавшееся к нему, ко всем и всему в этом ярком, чудесном дне: «Ты слышал, что она сказала?... матушка Вриняя прозорливая, дознано сколько раз... добрые глаза, милые глаза у тебя, сказала... Господь нас пожалеет, привееет, как листочки в уюточку!..»

Он любовался ею, светился ею, — вдруг ее озарившим счастьем. Он хотел поцеловать ее — и целовал глазами ее глаза, все ее волоски и жилки, ресницы, губы, которые что-то говорили, легкий парок дыхания и все это пестрое мелькание чудесной площади, отражавшееся в ее глазах. Она это знала, чувствовала, что он ее т а к целует, смеялась ему счастливыми глазами и все говорила, лицо в лицо, засматривая снизу, из-под ресниц, из-под заиндевевших густых бровей, которые так влекли из-под ласковой шапочки. Девичьей нежной свежестью веяло от нее, от влажных в блеске ее зубов, — снежным, морозным хрустом. Он видел ее радость, — н о в о е чудо в ней. Или это от крепкого воздуха-мороза, от пламенного солнца, клонившегося за крыши, за деревья... от крымских яблочков на лотках, от звонкого цокания по снегу стальных подков, от визга полозьев мерзлых? Он любовался ею, как новым даром, к е м-т о дарованным. Вся другая являлась она ему на этой чудесной площади, ожившая, полная новых откровений. И как тогда, в душный июльский вечер, под бурным ливнем, почувствовал он восторг и радостное сознание связанности его с о в с е м. А она радостно спешила, сжимая его руку, сбивалась, торопилась сказать ему, как ей сейчас легко, будто после причастия, так легко... — и слова у нее путались, не находились. «Мне теперь так легко... все у меня другое теперь... мне не стыдно... понимаешь, о н а простила, я это с л ы ш у ... ты слышишь?.. Господи, как легко!..» Ее сочный, грудной, какой-то глубинный голос, пробудивший в нем сладкое томление при первой еще встрече на бульваре, — «звонкий, живой хрусталь», — теперь, в ее оживленности-восторге, вызывал в нем томительную нежность, светлое опьянение, желания. Он видел, или ему казалось, что решительно все любят его Даринькой, озаряющими, чудесными глазами, ее бровями, раскинутыми бойко, детскими пухлыми губами, бьющими по щекам сережками. И хотелось, чтобы все эти женщины и девушки, все такие чудесные, с картонками и кульками, остановились и любовались ею, и после, дома, рассказывали,

«какую прелестную видели мы сегодня!» — и помнили бы всю жизнь.

Все манило ее глаза, все радовало восторженно: оторвавшийся красный шар, пропадавший в дымах лиловых, красные сахарные петушки в палатках, осыпанные бертолеткой Ангелы Рождества, мороженые яблоки, маски в намерзших окнах, пузатые хлопучки, елки, раскинутые ситцы, цветы бумажные, к образам, смешной поросенок, — с хвостиком! — выпавший из кулька у дамы, золотые цепочки, брошки, — вся пестрота и бойкость радостной суматохи праздника. Им захотелось есть, и они помчались на лихаче в торговые древние ряды, спустились, скользя по изъерзанным каменным ступенькам — «в низок, в Сундучный», и с наслаждением, смеясь и обжигаясь, ели пухлые пироги с кашей и с грибами, — она была здесь «только один раз в жизни, давно-давно-о!» — и выпили нашего шампанского — «кислых щей». Он купил ей — так, на глаза попало, — бинокль и веер, заграничные, в перламутре, с тончайшей золотой прокладкой, с красавицами на синих медальонах, — «имейте в виду-с... эмаль-с, заграничная-с, первый сорт-с!» — и она не говорила больше: «Зачем такое?!..» — не ужасалась, как это дорого, а была детски рада.

Возвращаясь домой с покупками, они опять увидели огромный дом, темневший куполом в дымном небе. И опять — «вот, случайность!» — на том же месте встретился им «гусарчик» на вороном, в шинели, сразу признал их в сумерках, весело крикнул: «Огарка работаю, с поездки!» — и обещал заехать.

Дома, не снимая шубки, морозная, свежая, как крымское яблочко, она прильнула крепко и прошептала: «Я так счастлива... ми-лый, я так люблю!..» И Виктор Алексеевич в бурном восторге понял, что в ней пробудилась женщина.

VIII СОБЛАЗН

Чудесное о б н о в л е н и е Дариньки — сама называла она это «отпущением» — стало для Виктора Алексеевича утверждением «настоящей жизни». До сего жизнь его с Даринькой была «как бы в воображении», а сама Даринька — будто чудесно-призрачной, как во сне. И вот, после панихиды в монастыре, призрачное пропало, Даринька вдруг открылась живой и прелестной женщиной, и эта женщина спрашивала его: «Что же дальше?» Он слышал это в радости ее, видел в ее порывах, и ему стало ясно, что «началось настоящее, и его надо определить». В тот же вечер, после сумбурного, радостного дня, он решительно объявил, что они скоро обвенчаются. На посланное им еще в ноябре письмо ответа не получалось, и, не откладывая на после праздников, он на другое утро поехал к адвокату по сим делам и поручил ему предложить бывшей госпоже Вейденгаммер... ну, тысяч 15–20, лишь бы она его освободила. В противном случае, обнадеживал адвокат, «можно нажать пружины, и она не получит ни копейки». Виктору Алексеевичу претила вся эта грязь, но адвокат доказал ему, что это не грязь, а борьба за право, ярко изобразил страдания юного существа, отдавшегося под его защиту, и Виктор Алексеевич взволнованно согласился с адвокатом. Заодно поручил другому адвокату выяснение дела о наследстве.

Вернувшись от адвокатов бодрым, словно дело уже устроилось, он застал Дариньку за уборкой к празднику: старушка богаделка гоняла пыль, а Даринька, вся голубенькая, в кокетливой голубой повязке, стояла на стремянке и обметала перовником полки с книгами. Он снял ее с лесенки и сказал, что теперь дело пущено и все закончится месяца через три. Она расцеловала ему глаза и, восторженно запыхавшись, стала рассказывать «что тут у нас случилось!..». Незадолго до его прихода — звонок! она сама побежала отпирать, — не он ли?.. «И вдруг, оказывается, — о н! да вчерашний гусарчик-то, подкатил на паре, такая прелесть, буланые, под сеткой... и сразу поцеловал мне руку!.., я так смутилась...» Гусар зашел только на одну минутку, все извинялся, погремел саблей, позвякал шпорами и оставил билет на ложу, просил непременно приезжать, утешить его, — а то промажет его «Огарок». «Рассказывал, как вы оба влюбились в пансионе в какую-то горничную Нюту, и твой батюшка велел ему за это сто раз как-то перегибаться в гимнастике, для развлечения... И вдруг спросил... прямо меня смутил, давно ли и замужем! Что сказала?.. Я сказала... я прямо растерялась, сказала... мы еще не повенчаны... не посмела я лгать в

т а к о м?..» Виктор Алексеевич поморщился, но она смотрела виновато-детски, и он не рассердился, вздохнул только: «Ах ты, ре-бе-нок милый!»

— Она не умела лгать, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Она пришла из иного мира, не искривленного. Воспитывала ее тетка, дьяконица-вдова, водила ее по богомольям, учила только церковному. Даринька знала все молитвы, псалмы, читала тетке Четьи-Миней, пребывала всегда в надземном. Это сказалось даже на ее облике, — особенной какой-то просветленностью, изящной скромностью. Эта культура, с опытом искушений, и подвигов из житий, с глубинной красотой песнопений... оказалась неизмеримо глубже, чем та, которой я жил тогда. С такой закваской она легко понимала все душевные топкости и «узлы» у Достоевского и Толстого, после проникновенных акафистов и глубочайших молитв, после Четьи-Миней, с взлетами и томлениями ищущих Бога душ. С жизнью она освоилась, но целиком не далась. Добавьте ее «наследство»: старинный род, давший святого и столько грешников.

Поморщился — и сразу пришел в восторг, представив себе, как был ошеломлен Вагаев, тертый калач, этой святой детскостью! Он спросил Дариньку, — что же Вагаев, удивился? Она сказала, что он тоже смутился, как и она, почему-то расшаркался и даже поклонился. Виктору Алексеевичу это напомнило, как он когда-то, в келье матушки Агнии, поклонился тоже — «юнице чистой, исходившему от нее с в е т у поклонился». И тот, «отчаянный», тоже ее с в е т у поклонился?

В восторге от ее «святой детскости», возбужденный новым приливом сил, — в нем всегда закипали силы от восторга, — он не поехал на службу, где уже знали, что его скоро назначат по Главному управлению, и предложил Дариньке проехать «в город» для праздничных покупок. Дариньке хотелось привести все в порядок, и не было силы отказаться. Они наскоро закусили постным-белорыбицей со свежими огурцами и икрой с филипповским калачом, прихваченными им по дороге от адвокатов, — он любил баловать ее, — и они покатали в город.

Предпраздничное кипение было еще бурливей, гуще. В конторе Юнкера, на Кузнецком, где Виктор Алексеевич держал остатки отцовского наследства, в зальце с газовыми молочными шарами стояла у кассы очередь. Они стали за нарядной дамой, сопровождаемой ливрейным лакеем в баках. Дама была в гранатовой ротонде, все на нее глядели, а подскочивший конторщик в бачках, назвав почтительно «ваше сиятельство», почтительно попросил не утруждаться и благоволить пожаловать в кабинет. Дама проследовала за ним, разглядывая в лорнет, в сопровождении лакея-истукана. «Какие на ней серьги, прелесть!» — воскликнула Даринька, и все на нее заулыбались. Виктор Алексеевич не помнил, какие были серьги: помнил, что на даме была ротонда, и ротонда ему понравилась. Артельщики за решеткой ловко считали пачки и пошвыривали к кассиру, Даринька в изумлении смотрела, как шлепались «бешеные деньги», как важные господа, в цилиндрах и шинелях, получали из кассы пачки и, не считая, засовывали в бумажники. Виктор Алексеевич получил три тысячи и, тоже не считая, — «немцы, нечего и считать», — сунул в карман, как спички. «На нас хватит, — сказал он Дариньке, — двадцать две тысячи еще в остатке». Она взглянула на него в испуге: это было «безумное богатство». Она помнила ужас тетки, как вытащили у нее на богомолье восемь рублей и им пришлось из Коренной Пустыни, под Курском, плестись больше месяца и кормиться чуть не Христовым именем. «Такие тысячи... такое несметное богатство!» Он называл ее милой девочкой и обещал ей «игрушку к празднику». Какую?.. А вот... — завернул тут же к Хлебникову, велел показать гранатовые серьги и выбрал тройчатки, грушками. Серьги были «совсем те самые». Даринька задохнулась от восторга, сейчас же приложила и посмотрелась в подставленное кем-то зеркало. «Какая прелесть!..» — шептала она, забывшись, даже строгий хозяин улыбнулся. Серьги стоили пустяки — четыреста. «Что же это... это невозможно, такой соблазн!.. — говорила она с мольбой, восторженно. — Сколько же тут соблазна, Го-споди!..»

Повсюду кричал соблазн: с бархатных горок ювелиров, с раскинутых за стеклом шелков, с румяных, в локонах, кукол у Теодора, с проезжавших в каретах барынь, с бонбоньерок Сиу и Абрикосова, с ворочавшихся на подставке чучел, в ротондах и жакетах, со щеголей и модниц, с накрашенных дам — «прелестниц» — так называла Даринька. У Большого театра барышники воровато совали ложи и «купоны» — на «Дочь фараона», на «Убийство Каверлей», на «Двух

воров»... Даринька еще не была в Большом, но слыхала, что «Конек-Горбунок» самое интересное, вон и на крыше зеленые лошадки. «Конек-Горбунок» шел на четвертый день, билеты еще не продавались. Виктор Алексеевич подзвал посыльного в красной шапке и заказал ложу бенеуара: надо свозить детей и пригласить Вагаева.

В Пассаже текло народом, ливрейные лакеи несли картонки, затерзанные приказчики вертели куски материй, крутя аршином, у Михайлова медведи-исполины, подняв когтистые лапы, как бы благословляли-звали жадных до меха дам. Лукавая лисица манила хвостом, за стекла. «А ведь ты на бегах замерзнешь», — сказал загадочно Виктор Алексеевич и повернул к медведям. Им показали роскошную ротонду, бархатную, темного граната. Степенный приказчик, надев пенсне, заверил, что точно такая куплена вчера княгиней, и крикнул в витую лестницу: «Закройщика!» В большом трюме Даринька увидела прелестную-чужую, утонувшую в черно-буром мехе, Закройщик, прицелившись, заметил: «Как влиты-с, ни морщинки-с... модель живая-с!..» Старший еще набавил: «Безукоризненно благородный стан, залюбованье-с», — и присоветовал бархатную шляпку, легонькую, со страусом: «У мадам Анет, на Кузнецком, с нами в соотношении-с». Даринька очарованно смотрела на милую головку, утонувшую в черно-буром мехе. Виктор Алексеевич торжествовал: и все торжествовали, и даже хищные соболя, белевшие с полок зубками, торжествовали тоже. «Будет доставлено нарочным-с!» У мадам Анет выбрали «парижскую модель», чуть накрывавшую головку, чуть-пирожком, чуть набок, придававшую бойкий тон. «Ленты уже сошли, мадам... вуалетка... правится под шиньон, мадам...»

Кружился Кузнецкий мост, вертели тростями щеголи, подхватывали хвосты прелестницы, ухали на ухабах лихачи, повизгивали кареты, начинали светиться магазины, дымно пылало небо. Виктор Алексеевич вспомнил, что надо бархотку с медальоном, в театре все с медальонами. Опять завернули к Хлебникову и выбрали медальон, в гранатцах. На выходе Даринька увидела кланявшуюся в пояс монашку-сборщицу, с черной книжкой, и смущенно заторопилась, отыскивая деньги. «Дай ей, пожалуйста...» — вырвалось у нее мольбой. Сборщица причитала: «Святозерского, Сенегского... Иверские иконы... на бедную обитель, Гроховецкого уезду... не оставит Владычица...» Виктор Алексеевич дал пятак, увидел глаза Дариньки и что-то еще добавил. Сжимая в муфте гранатовые серьги, Даринька чувствовала укоры и смущенье: что она делает?! за эти одни серьги... сколько!.. а там, в морозе, сестры... собирают копеечки, во имя Господа... что же это?! Стыло в глазах, с мороза. Она сказала, что надо ей зайти к Иверской, и они наняли извозчика.

На чугунной паперти стояли монашки с книжками и кланялись в пояс подаяльцам. Робко заглядывая в лица, она оделила всех: лица были обветренные, в сизых, с мороза, пятнах. Были все больше дальние — с Каргополя, с Онеги, — во имя Божие. С тяжелым сердцем склонилась она перед Иконой, стараясь собрать мысли; но не было сил молиться. Она собирала силы, твердила: «Прости, очисти... в соблазне я... дай мне силы. Пречистая!..» — а рука сжимала гранатовые серьги в муфте, сверкали в мыслях рассыпанные камни-самоцветы. И только когда дошло до ее сознания сжившееся с душой «...призри благосердием, всепетая Богородице... и исцели души моя болезно!..» — душа ее возгорелась и слезы выплакались с печалью. Надо было спешить. Виктор Алексеевич остался курить наружи. Стало опять легко, бойкая жизнь вертелась.

По дороге домой заехали к Фельшу, на Арбате, купить гостинцев детям Виктора Алексеевича — Вите и Аничке — к Рождеству. У Фельша Даринька увидела украшенную елку, в свечках, и пришла в неописанный восторг; надо, надо устроить елку, и чтобы были Витя и Аничка! Она давно этого хотела, но Виктор Алексеевич все почему-то уклонялся. Теперь же он сразу согласился, и они накупили пряников, драже, рождественских карамелек с мясцем, сахарных разноцветных бус, марципанных яблочков и вишен, мармеладу звездочками, пастилок в шашечку, шариков и хлопушек... — чего только хотелось глазу. Даринька увидела пушистую девчурку, «позднюю покупательницу», прыгавшую на мягких ножках, присела перед ней и спрашивала умильно, как ее звать, «пушинку». Девочка лепетала только: «Ма... ма...»

Когда они ехали домой, сияли над ними звезды в седых дымах. Виктор Алексеевич, державший Дариньку, почувствовал вдруг, что она сотрясается от рыданий. «Милая, что с тобой?» — спросил

он ее тревожно. Она склонилась к нему и зашептала; «Я все забыла, обещалась... вышить покров на ковчежец великомученицы... Узорешительницы... забыла... бархатцу не купила, канительки... она, Великомученица, в с е может... понимаешь... в с е может!..»

Он ее крепко прижал к себе. Он понял, о ч е м она. Еще у Фельша понял, по ее умильному лицу, по голоску ее, когда присела она перед «пушинкой» и слушала умильно ее лепет: «Ма... ма...»

IX ПРОЗРЕНИЕ

В сочельник, впервые за много лет, Виктор Алексеевич вспоминал забытое чувство праздника, — радостной новизны, будто вернулось детство. Он был счастлив, жизнь его обернулась праздником, но тот сочельник выделился из ряда дней.

— Остался во мне доньне, — рассказывал он впоследствии, — живой и поющий свет, хрустальный, синий, в морозном гуле колоколов. Я видел ж и в ы е звезды. Хрустальное их мерцание сливалось с гулом, и мне казалось, что звезды пели. Это знают влюбленные, поэты... святые, пожалуй, знают.

Тот день начался неожиданностью.

Даринька вставала ночью: он смутно помнил милую тень ее в сиянии лампадки, потом — пропала, «укрылась в келью», — подумалось ласково впросонках. Была у них дальняя комнатка, с лежанкой, с окошком в сад, в веселеньких обоях, — птички и зайчики, — Даринька называла ее «детской». Эту комнатку попросила она себе молиться; «Можно?» Там стояли большие пяльцы, висели душевные иконы — Рождества Иоанна Крестителя, Рождества Богородицы, Анастасии-Узорешительницы, и лежал коврик перед подставкой с молитвословом. В тяжелые минуты Даринька только у себя молилась. Тогда, впросонках, подумалось: «Что-то у нее тяжелое», — и спуталось с девочкой у Фельша, с бархатом на снегу.

Кукушка прокуковала 9, когда он вышел в столовую. Расписанные морозом окна искрились и сквозили розово-золотистым солнцем. Прижившаяся у них старушка-богаделка доложила, что барыня чем свет вышли и сулились вернуться к чаю. Он подумал: «В церковь пошла, должно быть, милая моя монашка», как Даринька явилась, радостная, румяная с мороза, ахнула, что он уж встал, и смущенно стала показывать покупки. Оказалось, что это не наряды, как он подумал, а лиловый бархат, шелка и канителька, на покров Анастасии-Узорешительнице, по обещанию. Она виновато просила простить ее, что потратила уйму денег, чуть не двенадцать рублей, серебром, но «очень надо, по обещанию». Он вспомнил, как она вчера плакала дорогой, как умильно ласкала у Фельша девочку, называла ее «пушинкой», молилась ночью... — привлек к себе на колени и пошептал. Она застыдилась и вздохнула.

Все было радостное в тот день, как в детстве. Празднично пахло елкой из передней, натертыми полами под мастику — всегда к Рождеству с мастикой! — ручки дверей были начищены и обернуты бумагой, мебель стояла под чехлами, люстра сквозила за кисейкой, окна глазели пустотой и ждали штор, — все обновится в праздник; только иконы сияли ризами, венчиками из розочек, голубыми лампадками Рождества. Эта праздничность вызвала в нем забытые чувства детства. Он сказал ей, что ему радостно, как в детстве, и это она, Даринька, совершила такое чудо преображения. Она так вся и засияла, сложила руки ладошками под шеей, сказала: «Все ведь чудо, святые говорили... а наша встреча?!..» — и осветила лучистыми глазами.

— Этот единственный и е взгляд всегда вызывал во мне неизъяснимое чувство... святости? — рассказывал Виктор Алексеевич. — Я мог на нее молиться.

Она все знала, будто жила с ним в детстве, Сказала, что завтра будут, пожалуй, поздравители и надо накрыть закуску: будут с крестом священники, приедут сослуживцы. Она разыскала по чуланам все нужное, оставшееся ему в наследство, праздничное: с детства забытые тарелки, в

цветных каемках, «рождественские» с желтой каемочкой — для сыра, с розовой — для колбас, с черно-золотенькой — икорная, хрустальные графины, серебряные ножи и вилки, стаканчики и рюмки, камчатные скатерти, граненые пробки на бутылки... — и он неприятно вспомнил, как т а, все еще именуемая г-жей Вейденгаммер, отослала ему «всю вашу рухлядь».

Теперь эта рухлядь пригодилась. За детьми он решил поехать утром, перед визитами. Игрушки уже были куплены: Аничке-кукла-боярышня, а Вите — заводной, на коне, гусарчик, правая ручка в бок. Выбрала сама Даринька: с детства о нем мечтала.

Виктор Алексеевич знал, что придется пойти ко всеобщей: такой праздник, и Дариньке будет грустно, если он не пойдет. Стало темнеть, и Даринька сказала, что хочет поехать в Кремль, в Вознесенский монастырь. Почему непременно в Вознесенский? Она сказала, смутясь, что так надо, там очень уставно служат, поют как ангелы и она «уже обещалась». Он пошутил: не назначено ли у ней свидание? Она сказала, что там придел во имя Рождества Иоанна Крестителя, а он родился по ангельскому вещанию, от неплодной Елисаветы... — там упокоются двенадцать младенчиков- царевен и шестнадцать цариц, даже на кровле башенки в коронах... и младенчикам молятся, когда в т а к о м положении... и еще поясок, если носить с подспудных мощей благоверной княгини Ефросинии, то разрешает... Даринька смутилась и умолкла. Он спросил, что же разрешает поясок. Она пылливо взглянула, не смеется он он над ней. В милых глазах ее робко таились ч т о-т о... — надежда, вера? — и он подавил улыбку. Она шепнула смущенно, в полумраке, — лампу еще не зажигали, светила печка. — доверчивым, детским шепотом, что «разрешает неплодие, и будут родиться детки». Он обнял ее нежно. Она заплакала.

В Вознесенском монастыре служба была уставная, долгая. Даринька стеснялась, что трудно ему стоять от непривычки: может быть, он пойдет, а ей надо, как отойдет всеобщая, поговорить «по делу» с одной старушкой-монахиней, задушевницей покойной матушки Агнии. Виктор Алексеевич вспомнил про «поясок» и улыбнулся, как озабоченно говорит Даринька про э т о. Жалостный ее взгляд сказал: «Ты не веришь, а это так». На величании клирошанки вышли на середину храма, как в Страстном под Николин день. Такие же, бесстрастные, восковые, с поблекшими устами, в бархатных куколях-колпачках, Христовы невесты, девы. Он поглядел на Дариньку. Она повела ресницами, и оба поняли, что спрашивают друг друга; помнишь? Чистые голоса юниц целомудренно славили: «...и звездой учажуся... Тебе кланяться, Солнцу Правды...»

Он пошел из храма, мысленно напевая: «...и звездой учажуся...» — счастливый, влюбленный в Дариньку, прелестно-новую, соединяющую в себе и женщину, и ребенка, очаровательную своей наивной т а й н о й. Походил по пустынному зимнему Кремлю, покурил у чугунной решетки, откуда видно Замоскворечье. Теперь оно было смутно, с редкими огоньками в мгристо-морозном воздухе, в сонном гуле колоколов. Этот сонный, немолчный звон плавал в искристой мути и, казалось, стекал от звезд. Месяц еще не подымался, небо синело глубиью, звезды кипели светом.

— Вот именно — кипели, копошились, цеплялись усиками, сливались, разрывались... — рассказывал Виктор Алексеевич, — и во мне напевалось это «звездой учажуся», открывшаяся вдруг мне «астрономическая» молитва. Никогда до того не постигал я великолепия этих слов. Они явились во мне живыми, во мне поющими, связались с небом, с мерцаньем звезд, и я почувствовал, слышал, как п е л и звезды. Кипящее их мерцанье сливалось с морозным гулом невидных колоколов, с пением в моей душе. Сердце во мне восторженно горело... не передать. Я слышал п о ю щ и й свет. И во всем чудилось мне... — и в звездно-кипящем небе, в звездном дыму его, и в древних соборах наших, где так же поют и славят, только земными голосами... и в сугробах, где каждая снежинка играла светом, и в колком сверканье инея, сеявшего со звезд... и во всей жизни нашей — в верованьях, в молениях, в тайнах, в которые верила Даринька, которых она пугалась... — во всем почувялась мне каким-то новым, прозревшим чувством... непостижимая Божья Тайна. Прозрение любовью? Не знаю. Знаю только, как глубоко почувствовал я неразрывную связанность всех и всего с о в с е м, с о В с е м... будто все перевито этой Тайной... от пояска с гробницы, от каких-то младенчиков-царевен до безграничных далей, до «альфы» в созвездии Геркулеса... той бесконечно недоступной «альфы», куда все мчится, с солнцем, с землей, с Москвой, с этим Кремлем, с сугробами, с Даринькой, с младенчиками-царевнами, через

которых может р а з р е ш и т ь с я... — а почему н е м о ж е т?!.. — с этими кроткими, милыми, молитвенно светящими в темноту окошками в решетках, за которыми Даринька молилась Тайне о «детской милости». Почувствовал вдруг до жгучего, ожога в сердце, в глазах... — ожога счастьем? — что мы у к р ы т ы, всё, всё укрыто, «привеяно в уюточку», как просказала та старушка у столика в морозе, матушка Вириная, прозорливая... все, все усчитано, все — к месту... что моя Дариня — отображение вечной мудрости, звезда поющая, учившая меня молиться. Там, в зимнем, ночном Кремле, в сугробах, внял я предвечное рождение Тайны — Рождество.

С этим прозрением Тайны он воротился в церковь. Всенощная кончалась. Он остановился за Даринькой. Она почувствовала его и оглянулась с лаской. Священник возглашал из алтаря: «Слава Тебе, показавшему нам Свет!..» Где-то запели, будто из мрака сводов, прозрачно, плавно. Пели на правом крылосе крылошанки, но это был глас единый, сильный. Пели Великое Славословие, древнее «Слава в вышних Богу». Даринька опустила на колени. Виктор Алексеевич поколебался — и тоже преклонился. Его увлекало пением, дремотным, плавным, как на волне. Звук вырастал и ширился, опадал, замирал, мерцал. Казался живым и сущим, поющим в самом себе, как поющее звездное мерцанье.

Виктор Алексеевич качнулся, как в дремоте. Даринька шепнула: «Хочешь?» — и подала кусочек благословенного хлеба. Он с удовольствием съел и спросил, нельзя ли купить еще. Она повела строгими глазами, и ему стало еще лучше. Подошла монахиня-старушка и куда-то повела Дариньку. Скоро они вернулись, и старушка что-то ей все шептала и похлопывала по шубке, как будто давала наставление. Он ласково подумал: свои дела.

Когда они выходили, из-за острых верхушек Спасской башни сиял еще неполный месяц. Они пошли Кремлем, пустынной окраиной, у чугунной решетки. За ней, под горкой, светила в деревьях церковка. «А я купила, хочешь?» — вынула Даринька теплую просфору из муфты, пахнущую ее духами, и они с удовольствием поели на морозе. «Тебе не скучно было?» Он ответил: напротив, были чудесные ощущения, он полюбовался ночным Замоскворечьем, послушал звон... Подумал, что она не поймет, пожалуй, и все же сказал, какое удивительное испытал, как звездное мерцанье мешалось с церковным гулом, «и получилась иллюзия, будто это пели звезды». «Понимаешь, будто они ж и в ы е... п е л и!» Она сказала, что с ней это бывает часто, и она «ясно слышит, как поют звездочки». «Ты... слы-шишь?!..» — удивился он. «Ну, конечно, слышу... я это давно знаю. Все может славить Господа! — сказала она просто, как о хлебе. — Всегда поют „на хваление“, как же... „Хвалите Его, солнце, и луна, хвалите Его, небеса небес...“, и во Псалтыри читается... как же! А в житии великомученицы Варвары... ей даже высокую башню родитель велел построить, и она со звездочками даже говорила, славил Господа... как же!..» Виктор Алексеевич восторженно воскликнул: «Да умница ты моя!» — и страстно обнял. Она выскользнула испуганно и зашептала; «Да могут же уви-деть!..» — «Кто, — сказал он, — снег увидит?» Она оглянула вокруг, увидела, как здесь безлюдно, шепнула, играя с ним: «А звездочки увидят?..» — и протянула губы. Вернулись они счастливые.

Х НАВАЖДЕНИЕ

То Рождество осталось для них памятным на всю жизнь: с этого дня начались для них испытания. Правда, были испытания и раньше, — Даринькина болезнь, — но то было «во вразумление». А с этого дня начались испытания «во искушение».

В «посмертной записке к ближним» Дарья Ивановна писала: «С того дня Рождества Христова начались для меня испытания наваждением, горечью и соблазном сладким, дабы ввести меня, и без того грешную и постыдную, в страшный грех любострастия и прелюбодейства».

В тот день Виктор Алексеевич у обедни не был: обедню служили раннюю, — причту надо было ходить по приходу, славить — и Даринька пожалела его будить. Когда он вышел из спальни, одетый для визитов, парадный, свежий, надушенный одеколоном, — в белой зале стояло полное Рождество: от ясного зимнего утра и подкрахмаленных светлых штор было голубовато-

празднично; в переднем углу пушилась в сверканиях елка, сквозь зелень и пестроту которой светил огонек лампадки, по чистому паркету легли бархатные, ковровые дорожки, у зеркально-блестящей печки с начищенными отдушниками была накрыта богатая закуска, граненые пробки радужно отражались в изразцах, на круглом столе посередине все было сервировано для кофе — на Рождество всегда подавался кофе — и собно пахло горячим пирогом с ливером, на него повеяло лаской детства, запахами игрушек, забытыми словами, голосами... вспомнилась матушка, как она в шелковом пышном платье, в локонах по щекам, в кружевах с лентами, мягко идет по коврику, несет, загадочно улыбаясь, заманчивые картонки с таинственными игрушками... — и увидел прелестную голубую Дариньку. Она несла на тарелке с солью тот самый ихний пузатый медный кофейник, похожий на просфору, в каких носят за бабушкой просвирни святую воду. Он обнял ее стремительно, вскрикнув в испуге: «Да уроню же... дай поста!..» — заглушил слова страстным и нежным шепотом. Даринька была голубая, кружевная, воздушная, празднично-ясноглазая, душистая, — пахла весенним цветом, легкими тонкими духами, купленными в английском магазине. На ее шее, в кружевном узком вырезе надета была бархотка. Он отвернул медальон и поцеловал таившуюся под ним «душку». Даринька была сегодня необычайная, волнуемая, и он говорил ей это в запрокинутую головку, в раскрывшиеся губы. Она ответила ему взглядом и долгим поцелуем. Несшая пирог девочка-подросток, взятая из приюта помочь на праздниках, запнулась и спряталась за дверь. Он восторженно говорил: «... ты сегодня особенная... манящая...» Она сказала, что ее очень беспокоит, как-то к ней отнесутся дети. Он ее успокоил, что они маленькие, еще не понимают, полюбят, как я его... — «ну, можно ли не полюбить такую!..».

Он вышел пораньше из дому, чтобы забрать от тещи детей на праздник, а потом ездить по визитам. Надо было к начальнику дороги, потом к синему начальству, к старухе Кундуковой — крестной, богатой и почитаемой, подруге покойной мятушки. Затем надо было завезти карточку Артынову, родственнику по матери, у которого очень большие связи, что теперь было важно для дела о разводе. И еще — к барону Ритлингеру, богачу-спортсмену, другу покойного отца по Дерпту, у которого гащивал на Двине, к тому самому, у кого останавливался в Москве «гусарчик» князь Вагаев, его племянник. Виктор Алексеевич вспомнил потом, что завтра могут встретиться на бегах, на его рысаке Огарке поедет Дима, — и решил заехать непременно. К тому же сын барона делает в Петербурге блестящую карьеру, лично известен государю и может пригодиться для развода.

Даринька беспокойно ждала детей: как она будет с ними? Смотрела в окна, заглядывала в зеркало: щеки ее горели. Старушка-богаделка поминутно тревожила, надоедала: пришли трубочисты, полотеры, бутошники, водовоз, почтальон пришел, ночной сторож... — с праздником поздравляют. Виктор Алексеевич наказал давать всем по двугривенному в зубы, по шкалику водки и колбасы на закуску, но старушка докладывала бестолково о каждом визитере и ахала-ужасалась: «Ну, глядите, какая прорва!» Приходили банщики, «так, какие-то шляющие», и мальчишки — Христа прославить. Даринька растрогалась на мальчишек и от себя дала им по пятак и пряничков. А священники все не приходили, и это ее тревожило: «А вдруг не придут, покажется им ззорным, что?..» И Виктор Алексеевич все не везет детей. Она погляделась в зеркало: щеки ее пылали. Поглядела на девочку, слушавшую в передней, не позвонятся ли: прилично ли одета. Кажется, ничего, синее платье, белая пелеринка, только очень уж напонадилась, даже гребенка в масле. Чисты ли у нее руки? Белобрысая девочка показала руки, какие чистые, и по вытаращенным глазам ее Даринька поняла, что девочка боится, — запугана. Рванулся звонок в парадном. Девочка с ахом кинулась отпирать и доложила — шепнула в ужасе: «Там-с... дяденька чучелку привезли». Закутанный башлыком посыльный — «красная шапка» — раскутывал в передней серую большую «куклу», снимал суконце, бумажные округки, и Даринька увидела красивую корзинку с деревцами, с пышными белыми цветами. «Две камелии и синель, все в порядке. Куда прикажете-с?» сказал посыльный. «Откуда же?» — спросила удивленная Даринька. «С графских аранжереев от барона Рихлингера с Басманной, от главного садовника-с!» — отчетливо доложил посыльный.

Цветы были не от Виктора Алексеевича — о нем подумала Даринька, — а от князя Дмитрия Павловича Вагаева: смутившись, прочла она на изящной карточке, приколотой к корзинке, — и ей стало чего-то стыдно. Сирень была слабенькая, зеленовато-бледная и все же весенне-радостная:

густо-зеленые камелии снежно белели цветом хладных и безуханных роз. Даринька подумала, что Вагаев с визитом не приедет, если прислал карточку с цветами, — не знала она порядков, — а она боялась, что он приедет и опять станет целовать ей руку. Виктор Алексеевич утром ей говорил, что может и приехать: «Эти военные очень предупредительны, но с ними надо быть поосторожней». Но теперь, слава Богу, должно быть, не приедет. Она звала его про себя «гусарчик» и «черномазый», старалась о нем не думать, но думалось. Думала, что он соблазнил какую-то фрейлину во дворце, сам государь сказал про него: «Безумная голова» — и хотел выслать из Петербурга куда-то в Азию, но за него упросил его крестный, сам Владимир Андреевич Долгоруков, генерал-губернатор, «хозяин Москвы», — и ей было чего-то стыдно и остро любопытно. Она думала, какой это должно быть ужасный грешник, и не было неприятно, что такой «отчаянный» прислал ей красивые цветы, каких она еще не видала.

Время шло, а детей все не привозили. Даринька уловила в зеркале, что гранатовые серьги резки при голубом, и сменила на изумрудные. На звонок она подбежала к боковому зеркальцу снаружи, но это позвонился инженер Голиков, молоденький и застенчивый, с голубыми глазами девушки. Он мямлил, потирал руки и смущался, смотрел мимо ее лица, опрокинул на скатерть рюмку, рассказывал что-то про вагоны и, наконец, отклонялся. Проводившая его девочка радостно показала на ладошке; «Дэугри-венный... гляди-те!» — и даже облизнулась. Потом пришли из депо машинисты и главные мастера, в крепких воротничках и жестких сюртуках, краснолицые, с поломанными желтыми ногтями, с осипшими голосами, поздравили хором с высокотожественным праздником Рождества Христова, дружно пили и крякали и оказали высокую честь закускам, Дариньке понравилось, что все крестились на образа, а самый старый, в медалях, возивший в Крым государыню, крестился и перед каждой рюмкой. Был еще лицеист, племянник Виктора Алексеевича, в мундире и при шпаге, сидел, выпятив по-гвардейски грудь, похрупывал портсигаром и все закуривал, смотрел с восхищением на Дариньку и рассказывал о музее Гаснера на Новинском бульваре, где показывают механическую утку, — «натурально переваривает пищу, даже не отличить!» — а в настоящей воде, в аквариуме, лежит роскошнейшая красавица сирена, вся обнаженная, только в блестящем бисере, и томно курит, даже пускает дым, — «все наши лицеисты до безумия влюблены в нее!» — и советовал непременно посмотреть. Выпил три рюмки сряду, развесил губы и все упрасивал «выпить на брудершафт», но Даринька затрясла сережками. После его отшарканья девочка показала на ладошке в веселом ужасе: «Глядите-ка, милые... со-рок копе-ечек!..» И в это время рванул звонок.

Дариньке показалось, что промчался на сером кучер в шапке подушечкой, в галунах, с кем-то в бобрах и золоте, остро мелькнуло — о н?!.. — и она сразу растерялась. Увидела в мигнувшем зеркале, какая она стала, и совсем уже потерялась. В передней слышался мягкий звон и громяющее бряцание. Слыша, как тукается сердце, и чуть дыша, видела она в зеркало, как он сбросил движением плеч на обомлевшую девочку, накрыв ее с головой, свою размашистую шинель с бобрами и стремительно направлялся к ней, блестящий, звонкий, неопиcуемый. Ока непонятно онемела, растерянно на него глядела, исподлобья, ие сознавая, как в наваждении. Но он мигом сорвал оцепенение, быстро поцеловал ей руку, и четко шелкнув, и позвонив. Спросил о Викторе, о здоровье, почему она так бледна, порадовался елке, развел и всплеснул руками, на стол с закусками: «Фу-ты, какая роскошь!» Заявил весело, что голоден чертовски, и попросил разрешения выпить за ее драгоценное здоровье. Даринька обошлась и оживилась, чокнулась даже с ним и даже чуть-чуть пригубила, Вагаев был сегодня блестящ необычайно: в белом ментике в рукава, опущенном бобровой оторочкой, весь снежно-золотистый, яркий, пушистый, гибкий, обворожительный. Его настойчивые черные глаза, похожие на вишни, любовались ею откровенно, и Даринька это понимала. Лицо Вагаева было располагающее, открытое, ничего «страшно-грешного» не чувствовалось в глазах, добродушно усмешливых, блестящих, мягких, вдруг обливавших лаской: было скуласто даже, без всякой писаной красоты, но могло чем-то нравиться, — усмешкой красивых губ, вырезом подбородка или той бойкой чернявостью, от ресниц и глаз, от чего-то неуловимого в их взгляде, от смуглого румянца, что осталось в глазах у Дариньки со встречи у бульвара, когда она вдруг подумала: «Черномазый».

Он красиво тянулся за бутылкой, гремел саблей по ножке стула, пил особенно как-то вкусно, по-особенному даже ставил рюмку, словно завинчивал, комкал цветком салфетку, откидывался к

стулу, ногой подцепляя саблю или отшвыривая ее небрежно и продолжая рассказывать весело и умно и привычно занимая. С забавным ужасом говорил о завтрашнем «провале», об этом плуте Огарке, который — «чую, что подпалит», — о старике-крестном, генерал-губернаторе, — «как бы не подтянул... шпаками, фуксом с корнетом едем, под звездочками!» — который завтра уж обязательно прикатит: приз его имени, почетный, серебряная фамильная братина. И неожиданно спросил Дариньку, неужели она не будет завтра? — и в лице его отразился ужас. Даринька с удивлением сказала, что, напротив... они непременно будут... и она еще ни разу не видела, как бегают на бегах лошадки. Он весело воскликнул: «Браво!», поцеловал ей руку, и глаза его вдруг омрачились грустью. «Все это так... но, если вы не приедете... — все для меня погребло!» — сказал он упавшим голосом. Не подумав, она воскликнула: «Но почему?!» Он вскинул плечи и сказал затаенно-грустно: «Отгадайте». Она задумалась и спросила: «Это у вас, должно быть, какая-то примета?» — «Угадали», — таинственно сказал он и встал.

Она подумала, что он собирается прощаться, и вспомнила- она не раз думала об этом — надо ли поблагодарить его за цветы или это не принято. И, не раздумывая, сказала; «Какие вы славные цветы прислали, такая радость». Он глубоко склонился, раскинув руки. Она увидела обтянутые его ноги в золотых разводах, смутилась и подошла к цветам. Он молча за ней последовал. Наступило молчание, но он тотчас прервал его, воскликнул: «Весна... зимой!» — и, обнимая взглядом, сказал взволнованно: «Вы сегодня особенная... совсем весенняя». Она смутилась, но он быстро спугнул смущение, опять воскликнув: «Вот приятная неожиданность... однополчанин!» Даринька даже вздрогнула, а он, изогнувшись ловко и стукнув саблей, выхватил из-под елки стоявшего там гусарчика. «Это кому же... мне? — спросил он ее лукаво. — Но я предпочел бы эту»... — пошевелил он саблей куклу-боярышню. Даринька улыбнулась и сказала, что этот гусарчик Вите, а кукла Аничке, деткам Виктора Алексеевича, и опять вспомнила в тревоге, что все еще нет детей.

Вагаев разглядывал игрушку: «Недурственно... и конек наш серый... только что же это за коробок под ним?.. а, завод... по-нимаю... а где же ключик... можно пустить погалопировать?» — спросил он совсем приятельски. Даринька улыбнулась, подумала: «Ну, совсем мальчишка» — и достала картонную коробку, в которой стукотливо болтался ключик. Посмеиваясь глазами, Вагаев медленно заводил, прислушиваясь к потрескиванию завода, присел со стуком и отпустил: «Пошел!..» Оба они смотрели, как с рокотом покатила гусарчик, все набирая скорость, ткнулся об ножку стула, свалился набок, зажужжали с шипением колеса, и что-то покатило в угол. «Что я наделал!..» — вскрикнул Вагаев в ужасе, поднял стремительно игрушку, с мольбой посмотрел на Дариньку, на обезглавленного гусарчика и упавшим голосом произнес, медленно перед ней склонившись и подчеркивая слова: «Потерял голову гусарчик... теперь делайте со мной, что хотите». Даринька до слез смутилась: ей жалко было гусарчика, — и Витину игрушку, и живого. Она сказала, как в таких случаях говорят: «Какие пустяки», — и хотела достать из-под дивана отбитую головку, но Вагаев бросился, со звоном, умоляюще повторяя: «Ра-ди Бога, простите!..» — и, не щадя белоснежного ментика своего, взяв рукавом по полу, саблей нашаривал головку. Нашел, выложил на ладони и подкинул. «Ну, ради Бога, простите... ну... так мальчишески поступил... ну, простите!..» — проговорил он в смущении. Но еще в большем смущении была Даринька, не зная, что сказать. И сказала, что ей сказала сердце: «Что вы, Господь с вами, милый... это же можно сургучиком...» — и осветила чудесными глазами. Должно быть, эти слова — «Господь с вами, милый...» — просто-душевно сказанные, глубоко тронули Вагаева: он поклонился почтительно, без шаркания и звона, сказал, что сейчас же «исправит все», скромно поцеловал ей руку и уехал. В передней все-таки сбаловал: взял у тянувшейся и перепуганной девочки размашистую свою шинель, вскинул на одно плечо, протянул палец к ее носу и сказал баловливо-строго: «Эт-та что за пуговка?» Девочка прыснула в ладошки, поняв смешное в его словах, И, проводив, в ужасе показала на ладошке: «Зелененькая.., глядите... с ума-а сойти!..»

Уже в сумерках вернулся Виктор Алексеевич, без детей, расстроенный, возмущенный, взбешенный. Не пустили к нему его детей! не пустили с ним!! Кто не пустил? Все, теща, тесть, брат, тетки, наглецы и развратники! Почему?.. По категорическому запрету высококонраственной госпожи Вейденгаммер... не желающей видеть своих детей в «неподобающей обстановке»!

Помертвевшая Даринька слушала с болью в сердце и только шептала: «Прошу тебя, успокойся...

прошу тебя». Виктор Алексеевич ничего больше ей не сказал.

— Я не мог, не смел ей сказать всего, что мне было насажено, при скандале, хором, в неопишемом гомоне, — рассказывал он впоследствии. — Они кричали о разврате, о притоне, о «монашке-развратнице», о «подлой интриганке», о том, что она со мной путалась и раньше, бегала ко мне из монастыря, выманивала деньги и теперь завладела всем, законными правами детей моих. Им уже все известно, от игуменьи-баронессы, от каких-то салопниц, от... Они знали всех лихачей, которые нас катали, про все наряды, про «яму», в которую я попал и куда хочу затащить детей. Я могу требовать судом, жаловаться куда угодно, но пока они живы, пока у них есть связи, — а связи у них огромные! — дети не переступят моего порога. Даринька все поняла, без слов, ушла в свою «келью» и заперлась. Ужасное это было Рождество. Я слышал, как она плакала, плакала затаенно, в себя плакала, в бельевую плакала. Я умолял отпереть, но она просила дать ей побыть одной, отплакаться. Я тогда, после тещи, боялся ехать домой, проваландался по визитам, ища покоя, накачивался... и не мог отупеть, забыться. Она отплакалась и вышла, чтобы смирить меня. Сказала самое простое, чего я тогда не мог оценить вполне. Сказала: «Бог видит... я сознаю свой грех и должна искупить, терпеть». Я кипел и не мог терпеть и стал бороться. А она н е с л а. Это сказалоь после болезнью сердца. И не поверите... в тот же вечер она была по-прежнему спокойна, ласкова и ясна.

Когда они тихо сидели в полутемной зале у темной елки, полное Рождество ушло, и только светившаяся лампадка, запах хвои смутно о нем напоминали. Но оно воротилось светом, когда запоздавший батюшка запел перед елкой, перед светившимся за ней образом, «Рождество Твое Христе Боже нас... возсия миру свет Разума...» Молитва внесла успокоение. Когда угощали причт, резко рванул звонок, и посыльный «красная шапка» принес коробки. В одной, высокой, был заводной гусарчик, такой, как прежний, но чуть побольше. В другой, пошире, была роскошная голубая бонбоньерка из гофреного шелка, от Абрикосова. После ухода причта Даринька ее открыла и увидела между конфет, в бумажной рубчатой чашечке... — в сердце ее толкнуло, — головку т о г о гусарика. На знакомой карточке четко, карандашом стояло: «Счастлив, что удалось все-таки достать, все заперто. Вспомните иногда о бедном, потерявшем голову гусарчике».

Эта карточка и особенно эта отбитая головка в конфетной чашечке вызвали в Дариньке неприятное ощущение чего-то... — она не могла назвать. Только она сказала: «Как это неприятно...» — показала Виктору Алексеевичу, который уже все знал, и подумала в сердце с горечью, как все это испортило Рождество. Виктор Алексеевич прочел, бросил карточку и сказал: «Обычные его глупости».

У него болела голова. А Даринька угощала еще Марфу Никитишну, просвирню, пришедшую поздравить. Рождество кончилось. Даринька хотела помолиться, уединилась в «келью» — и не могла. Хотела присесть за пяльцы, поглядела на только вчера зачатое — василек синелью на бархате — и отошла. Виктор Алексеевич лежал с полотенцем на голове, спал.

Она прошла в залу, постояла у темной елки, вспомнила, какое было утро. Из кухни слышались голоса старушки и девочки. «Мое... твоё... твоё... мое... спор!» — играли в пьяницы. Увидала белые цветы, и в ней опять поднялось неприятное ощущение. Она перекрестилась на мигавший за елкой образ и с тоской прошептала: «Го-спо-ди!..»

XI ПРЕЛЬЩЕНИЕ

Все радостное, что для них открылось, освященное праздником Рождества, кипевшими в небе звездами, что должно было продолжаться и возрастать, — «вдруг замутилось, спуталось, обратилось в душевную тяготу и смуту», — рассказывал Виктор Алексеевич. И от такого, в сущности, пустяка: не пустили детей на елку. По страстной своей натуре он принял это как наглость и безобразие и решил завтра же ехать к адвокату, к обер-полицмейстеру, к самому генерал-губернатору Долгорукову, — «Дима Вагаев через крестного нее устроит, и барона Ритлингера подымест». Для него было неоспоримо ясно, что решительно все было за него: т а его

подло опозорила, в самой его квартире, с его подлецом-приятелем, напросившимся к ним в нахлебники, и есть свидетельница, горничная Груша, которая может под присягой... и теперь смеет издеваться, не пускает к нему детей.

Виктор Алексеевич в законах не разбирался, с судами не возился, а исходил из чувства: оскорбленное чувство отца и мужа внушало ему бесспорно, что все решительно за него и — «все живо устроится». С этим внушением он проснулся поутру бодрый, как всегда после приступа мигрени, и первое, что подумал: «Немедленно отобрать детей!» Потянулся — и увидел, что Дариньки нет и нет на кресле ее капотика.

Даринька законов совсем не знала, но сердце у ней щемило, и это значило для нее, что доброго тут не будет.

В «посмертной записке к ближним» она писала:

«Грех е е... — она никогда не называла т у Анной Васильевной, — положил начало всякого зла и мук, а мой грех связал нас всех пятерых, неповинных детей считая, путами зла и скорби. По греху и страдание, по страданию и духовное возрастание, если с Господом. Слава Промышлению Твоему».

В то памятное утро, второй день Рождества, Даринька поднялась чем свет: кукушка прокуковала 5. Забрав капотик, она вышла из спальни тенью и ушла в свою «келейку» — молиться. Она знала, как облегчает сердце Пречистая. Помнила и наставку матушки Агнии: «Не забывай, сероглазая моя, акафисточки править... слядкопепное слово всякую горечь покрывает, я светоносное слово всякую темноту осветит».

Окна еще и не синели. Проходя со свечой по залу, Даринька увидела елку, — и остро кольнуло сердце. Елка казалась спящей, тускло светилась позолота. «Для кого?..» — подумала скорбно Даринька. Розово-нежный ангел взирал на небо. Свечки зыбко клонились, белели усиками светилен, ждали. Голубая боярышня томно спала в коробке, а гусарчик без головы мертво стоял над ней. Даринька вспомнила про головку в конфетной чашечке, вспомнила-увидала его глаза, и ей стало тревожно, стыдно. Увидала белевшие цветы, склонилась к ним, позабыв про свечку... С шумом упала свечка, плохо вставленная в подсвечник, и розетка разбилась вдребезги.

В «келейке» было жарко, теплились голубые и синие лампадки, прыгали на обоях зайчики, ловили птичек. Щурясь, Даринька задумалась, устало, нежно прошло улыбкой. Открыла глаза и огляделась: птички и зайчики резвились, — в «детской» всегда такое, птички и зайчики. Приоткрыла сиреневый капотик, поглядела на кружево сорочки, оправила поясок с молитвой, вчера надетый: горько сложила руки и вздохнула. Птички и зайчики... Долго взирала на иконы, молящим взглядом.

...«Радуйся, светило незаходящего Света... Радуйся, Звезда, являющая Солнце... Радуйся... заря таинственного дня... Радуйся... рыбарские мережи исполняющая...»

Слова были сладостные и светлые и шелестели страстно, но сердце не отворялось им.

На полном свете Даринька возвращалась залой. Увидела проснувшуюся елку, всю в серебре и золоте, с наклонившимся друг к дружке свечками, с ангелом в снежном блеске... пышные белые цветы, глазевшие на нее греховно, подошла и склонилась к ним... — и хрупнула под ногой розетка. Даринька подняла сломанную свечку, взяла щетку и подмела. Думала, подметая, стараясь не зацепить гусарчика, что вчера не было у них праздника... — и ей захотелось ласки, до вожделения.

Вспоминая свои грехи, Дарья Ивановна не щадила себя, писала:

«Каюсь, что не только одно желание иметь дитя принуждало меня жить плотски, а и потакание

вожделению. Если я не погибла, это не моя заслуга, а от предстательства за меня светлопоминаемой матушки Агнии. В самый тот день, другой день Рождества Христова, явление было мне знамение сего».

Когда Даринька ощутила «вожделение», вызванное белыми цветами, или, быть может, куклой-боярышней, над которой стоял гусарчик, или мыслью, мелькнувшей ей, — она услышала голос, призывавший ее из спальни, увидела в зеркале тревожное и чудесно-жуткое — не ее! — лицо, с томными-страстными глазами, с обмякшим ртом, — кинула на грудь косы и жадно пошла на зов.

После она заснула. И проспала бы долго, если бы не позвал ее Виктор Алексеевич, несший ей бутерброд с икрой: «Нежная моя... роскошная!» И, склонившись, раскрыл ее, Она жалобно вскрикнула и старалась прикрыться косами, смотря на него с мольбой, а он жадно и весело ласкал, говорил, что она... ну, совсем как эта... в пустыне африканской, которая укрывалась волосами, чтобы не соблазнялись старцы... прелестница, в этих... Четьи-Минейх. Увидел повязанный поясок с молитвой, и ему стало стыдно своей игривости.

— Вот мерило той нравственной грязи, в какой я был, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Я не про ласку, не про вольное обращение... это обычное. Говорю про гадость, про сравнение со святой, с бывшей «прелестницей», убежавшей в пустыню из разврата и впоследствии — преподобной. Я бичую себя за эту наивность, всю жизнь помню, как я, опьяненный прекрасным телом, мог осквернять ее, чистую... мог развращать бездумно. Она по-своему поняла сравнение с «прелестницей» и закрылась руками, беззащитная. Я утешал ее, называл непорочной, чистой, а она продолжала плакать. После, в «записке» ее прочел:

«Да, я была блудница, прелестница. И он сказал мне. Знаю, не обидеть меня — сказал, а да но было ему сказать, так, чтобы я образумилась. А я поплакала и забыла. Прельщение владело душой моей, и я не могла собрать ее под начал. Соблазны сеяли мою душу, как сор, пригоршнями. И тут как бы знамение было мне явлено».

Сладко уснув перед тем, как раскрыл ее Виктор Алексеевич, Даринька увидела, будто сидит в келье матушки Агнии, вышивает бархатную шапочку-куколь самыми яркими шелками и боится, что матушка Агния увидит. И страшно, что войдет Вагаев, и надо его спрятать, а когда уснет матушка, он выйдет. Даринька слышит, как он подходит, бряцает саблей, выбегает к нему, и они идут по высокой лестнице в темноте. И потом будто зал, и входит матушка Агния и говорит строгим голосом, как в первые недели жизни в монастыре, когда Даринька разбила ее чашку, очень ей дорогую, еще из прежней жизни: «Потому и разбила, что грязные у тебя руки, чистая будь, вся чистая, а то с глаз моих уходи, прочь уходи!»

На этом — «прочь уходи!» — разбудил Дариньку Виктор Алексеевич и раскрыл. Даринька плакала и от слов его, и от слов матушки Агнии. Думалось ей: грозитя матушка Агния. И она приняла тот сон как назидание и острастку.

Надо было успеть пообедать и одеться: бега начинались в час, а было уже к одиннадцати. Даринька попросилась, можно ли ей не ехать. Но Виктор Алексеевич заявил, что необходимо освежиться, что такая она прелестная в ротонде — «темненькая, чудесная лисичка», — что все там с ума от нее сойдут... вся Москва съедется. «Генерал-губернатор будет, а у нас лучшая ложа, у беседки... да и обидится Вагаев». Даринька вспомнила: «Если вы не приедете — все погибло!» И важно, чтобы с ней познакомился барон Ритлингер, у него огромные связи в Петербурге. «И чего прятаться от людей... плевать нам на всех людей!»

Виктор Алексеевич был в восторженном настроении. Он отослал игрушки Вите и Аничке, и Карп вернулся с запиской, на которой Витя каракулями нарисовал: «Папочка милый, мы тебя любим».

Принесли депешу. Вагаев напоминал: «Помните, у меня примета: не приедете — пропал!»

Даринька мучилась с косами: и всегда непокладливые, сегодня они никак не убирались, тянули,

рассыпались... — ну, что за мука! Набрав в рот шпилек, морщась и топоча, Даринька старалась причесаться, как причесывал Теодор недавно, но тяжелые косы падали, шпильки и гребни вылезали. Она начинала снова, роняла шпильки, спрашивала глазами, и зеркало отвечало — мука!.. И путалась беспокойно в мыслях: «Чистая будь, вся чистая!..»

XII ВОСХИЩЕНИЕ

Неведомые бега, куда сегодня съедется вся Москва, и будет сам генерал-губернатор Долгоруков, пугали и манили Дариньку и с к у ш е н и е м. Они представлялись ей греховным местом, как языческие «ристалища», где предавались постыдным «игрищам». Об этом она читала в Четьи-Минеех, в житии святой, которая раньше была блудницей, скакала на колесницах, соблазняла юношей и старцев, но, искупив великие прегрешения молитвой и покаянием, получила венец нетленный. Дариньку и манило и пугало, что Вагаев, опасный соблазнитель, хочет прельстить ее, потому и упрашивал приехать, и все там будут смотреть на нее, как на т а к у ю. Видение во сне матушки Агнии казалось предупреждением: не ездить. Смущали и слова Виктора Алексеевича: «Все там с ума от тебя сойдут». Она сказала, что боится ехать, а ей хотелось ехать, — но он посмеялся только: «Вы-думала еще... „ристалища“!..»

Уже на выходе, в новой ротонде с чудесным мехом из черно-бурых лисиц, в шляпке со страусовым пером, придававшей задорный вид, Даринька посмотрелась в зеркало и изумилась, какая она стала. Виктор Алексеевич поймал ее восхищенный взгляд, поцеловал в розовую щечку и сказал, что она прямо неузнаваема, какая-то ужасно вкусная, с задорцем и с огоньком. Она вспыхнула от счастья, что ему нравится, и от стыда за «вызывающий» вид, за что-то особенное в ней, что делало ее похожей на т а к у ю, кого называл и показывал ей Виктор Алексеевич на Кузнецком.

«Да и в самом деле... — подумала она с горечью, — а кто же я?» — и вспомнила про ев, Таисию-блудницу: как одна встреча ее с аввой Пафнутием подняла ее из греховной бездны.

В «посмертной записи к ближним» Дарьи Ивановна писала:

«Я кощунственно оправдывала, похоти свои примерами из житий святых. Обманывала и заглушала совесть, прикрываясь неиссякаемым милосердием Господним».

Они вышли на воздух, на похрустывавший снежок, и ее охватило радостью. В переулке было голубовато-ярко от выпавшего снега, от солнца за снежными садами. Пахло чем-то бодрящим, тонким — сугробами? Дариньке за хотелось санок, сгребать лопаткой, вскочить на сугроб, смеяться. Она схватила снежку с сугроба: «Какой же вкусный!.. яблочками, арбузом пахнет!..»

Виктор Алексеевич помнил до старости: радостные сугробы в переулке, жидкое солнце за садами и покрасневшие пальцы Дариньки, пахнувшие душистым снегом, яблоками, «грэп-эплем» английского Блоссона.

На Тверском бульваре гуляли дети с воздушными шарами, пестрели праздничными платками, шумели юбками отпущенные со двора горничные, наигрывали веселые гармошки. Стегая снегом о передки, весело проносились рысаки с окаменевшими чудо-кучерами. На Страстной площади Даринька увидела монастырь, розовевший сквозь серебристый иней, и ей стало чего-то жаль. Святые ворота совсем потонули за сугробом, не было видно матушки Виринеи у столика, и Даринька сокрушенно вспомнила, что не послала ей гостинчика к Рождеству, забыла. Тяжелые лихачи опраивали на лошадях попоны, возя подолами по снегу. «А вот он, Прохор-то!» — знакомо сказал лихач, степенный, в седеющей бородке, обеими руками снимая шапку. «Сват-то наш! — подмигнул Виктор Алексеевич Дариньке: этот самый умчал ее от святых ворот, — и приятельски приказал: - А ну, на бега, да повострей!» Лихач отмахнул полость на узких, как стульчик, саночках, сипловато сказал: «Крепше только держите барышню», — и они понеслись бульваром. Прихватив крепко Дариньку, Виктор Алексеевич шепнул ей: «Барышня!..» — и они встретились глазами, осыпаемые морозной пылью.

В Кудрине задержались: жандармы в хвостатых касках наскокивали грудью, сиюсь держать порядок: ожидали проезда генерал-губернатора. Спуск к Зоологическому саду кипел санями, тройками, розвальнями, каретами. Лихач сказал: «Вся Москва поднялась... даже вон столоверы едут, как разобрало-то!» Ехали тяжелые купцы, в цилиндрах, в шубах с невиданными воротниками во всю спину, ехали пышные купчихи, в атласных и бархатных салопах, в бордовых и зеленых шубках, в глазастых шалях, в лисьих воротниках, дыбась оглоблями, скалились — ржали жеребцы, визжали колесами кареты с ливрейными на козлах, на высоких «английских» санках восседали лошадиники, с бичами, в оленьих куртках, в волчьих шапках с наушниками, вострым глазом стреляли по лошадям барышники-цыганы в лубяных саночках внавалку, сухие и черномазые, в чекменях-поддевках, в островерхих бараньих шапках... — ехала вся Москва на ледяные горы, в Зоологический, и на бега, на Пресненские пруды, — смотреть, как молодой Расторгов, именитого купеческого рода, лошадиник и беговщик, поедет на своем Прянике за «долгоруковским» призом, покажет Москве отвагу. В «Большом Московском» — купечество, а в Английском клубе — господа дворяне бились об заклад на большие тысячи: одни за Пряника, а другие — за дворянского Бирюка, Елагина, и за Огарка, барона Ритлингера, с Басманной, — об этом поведал Прохор: «Значит, купцы и господа... кто — кого? каждому лестно доказать себя, не простой какой приз, а от самого Владимира Андреича, от князя Долгорукова, все его почитают... потому и не ездки поедут, а сами хозяйева-владельцы, вот всех и разобрало».

«Ну, держись, Вагайчик! — сказал Виктор Алексеевич. — Это не шпоркой позванивать».

Даринька плохо понимала, и он объяснил, почему надо Вагайчику «держаться»: позорно будет, если провалит его Огарок. А потому, что он крестник генерал-губернатора Долгорукова и потому еще, что офицер лейб-гвардии, и вдруг-побьет его на бегу какой-то купец Расторгов. Даринька поняла: потому и беспокоился «гусарчик», упрасивал приехать, что такая у него примета: приедут они смотреть-и тогда будет хорошо. И она пожелала, чтобы победил Огарок, который ей так нравился.

«Наш рогожский, Расторгов-то... горячий! — сказал лихач. — Обидно будет, как не одолеет... потому и столоверы едут».

От Зоологического сада доносило, как рухаются с гор санки и трубят полковая музыка. На горах весело развевались флаги. Виктор Алексеевич обещал Дариньке после бегов покатать ее, — будут кататься с бенгальскими огнями, и все будет иллюминировано. Она зашурилась от восторга и сказала: «Я прямо закружилась». От бегового поля, за забором, донесло гул народа, звякнул тревожно-четко беговой колокол: шли бега.

У входа торопили квартальные: «Отъезжай, ж-живей!..», гикали кучера, напирали оглоблями, наскокивали жандармы. Кричали: «С каланчи знак подали — выехал!» Генерал-губернатор выехал. Побежали квартальные, подтягивая белые перчатки, орали городовым: «С Пресни не пропускать, ворочать кругом!» С рысаков высаживались военные, в бобрах-шинелях, блистая лаком и мишурой, помогали сойти нарядным дамам и вели их за елки входа. Посыльные в красных шапках совали в руки узкие, длинные афишки.

Виктор Алексеевич провел Дариньку за елки, и она увидела широкое снеговое поле — беговой круг. На мостках высокими, длинными рядами чернел и галдел народ. «Вот они и „риста-ли-ща“! — сказал Виктор Алексеевич, показывая в поле. — Вон, бегут!» И Даринька увидела что-то черневшееся кучкой, влево, в облачке снежной пыли. Кучка надвинулась, разбросалась, и машистые рысаки, с низкими саночками за ними, бешено пронеслись направо, под крик и гам. Дариньку закружило криком: «По-шел!.. во когда Огонек пошел-то!..» На мостках дико топотали, махали шапками: «Огоне-ок!.. эн как переключается!.. Огоне-о-ок!..» Видно было, как на той стороне бегов светлая лошадка обгоняет одну, другую. На мостках бешено орали: «Чешет-то как, ма-шина!.. мимо стоячих прямо!.., переключается... накрывает... на-кры-ыл!.. Брраво, Огонек!.. брава-а!» Старый купец, в лисьей шубе нараспашку, стучал кулаком в барьер, топал, озирался на Дариньку и кричал: «Делает-то чего, а?!.. Го-споди, чего делает!..» Дариньку захватило еще

больше, и стало страшно, что Огонька «накроют». Рысаки надвигались уже слева, и впереди, выбрасывая машисто ноги, в снежно дымящем облачке, близился светлый Огонек. Гремели-орали бешено: «Шпарь!.. не удавай!!.. надда-ай!..» Огонек подкатывал уже шагом, вразвалочку, и звякнуло у беседки в колокол. Подкатывали развалочкой другие, конюха набрасывали на них попоны, вели куда-то. За ними тяжело шли с хлыстами завейные снежком наездники, в куртках и валенках, в пестрых лентах через плечо. Виктор Алексеевич спросил Дариньку: «Интересно?» Она сказала рассеянно: «Да-да», — смотря, как ведут лошадок. Они сидели в ложе, у самого круга, у беседки. Рядом были другие ложи, в них сидели военные, дамы и даже дети, — не было ничего «греховного». Где-то играла музыка. В пустую ложу, рядом, вошли богатые господа в цилиндрах, немцы, — сказал Виктор Алексеевич, — и один из них, встретившись с Даринькой глазами, поклонился, почтительно приподняв цилиндр. Она в смущении отвернулась. Проезжали легкой рысцей красивые лошадки, перед бегом. Виктор Алексеевич сказал, посмотрев афишку, что сейчас второй бег, а «долгоруковский»- четвертый, Огарок идет вторым номером, фамилия наездника не указана, стоят две звездочки. «А вон и Дима!»- и Даринька увидела, что с бегового круга кто-то подходит к нему, в верблюжьей куртке, в барашковой серой шапочке, в высоких войлочных сапогах, с хлыстом. Она сразу его узнала и смутилась от его радостного взгляда. Он был другой: пушистый, неслышный, мягкий, но так же ласкающий глазами. Он еще издали отдал честь, сказал: «Извините, я прямо так», — и легко впрыгнул в ложу, будто у себя дома, не обращая внимания, прилично ли это или неприлично. Поздоровался, чуть задержав Даринькину руку, — и она почувствовала это, — присел на свободный стул и сказал Виктору Алексеевичу, что дядя просит передать ему, что жалеет... — «ты вчера его не застал, просит зайти к нему в членскую, что-то нужно». Виктор Алексеевич вышел, и Вагаев, взяв Даринькину руку, сказал проникновенно, душевным голосом: «Вы — здесь... я теперь спокоен... благодарю, благодарю вас!» Она не знала, что отвечать ему, и робко отняла руку. Он видел ее смущение и любовался ею, не скрываясь. Стал занимать ее, называя сидевших неподалеку, которых она не знала. Черные его глаза сегодня особенно блестели, и пахло от него чем-то душисто-крепким — вином, должно быть. Он говорил ей, что она прямо очаровательна сегодня, — «простите, это невольно вырвалось!» — что шляпка удивительно к ней идет. Она не знала, что отвечать ему. «Вы особенная... вы не похожи ни на кого! — говорил он взволнованно. — Сегодня — четвертый раз, как я вас вижу, и всякий раз вы — другая... какая-то для меня загадка. Кто вы?!..» Дариньке было и страшно, и приятно слушать, она на него взглянула, молящим, пугливым взглядом. Он понял, что так говорить не надо. Нет, она необыкновенная! Он не в силах не высказать ей того, чем весь охвачен с самого того дня и часа, как увидел впервые, но подчиняется ее воле... и всегда счастлив подчиняться. Но она необыкновенная, она-святая! Это он чувствует, видит в ее глазах. И верит, что ее присутствие приносит ему счастье... «Нет, одно ваше присутствие- уже счастье, и не надо мне ничего другого... Не буду больше... — шепнул он, как бы испугавшись, — но помните... я только о вас и думаю и буду думать... вы увидите это, я буду проезжать мимо... — показал он на беговую дорожку перед ложей, — и вам... единственно вам, дам знак, что в эту минуту только о вас и думаю!» Она хотела сказать ему, что так говорить не надо, и боялась его обидеть. Он взял ее руки и, спрашивая глазами, — можно? — отвернул лайковую перчатку у запястья и коснулся горячими губами. Случилось быстро и неожиданно, как ожог. «Я очарован твоей женой... — сказал Вагаев входившему Виктору Алексеевичу, — она так снисходительно слушала мою болтовню... Боюсь, что надоел Дарье Ивановне. После бегов — в „Эрмитаж“, и — к „Яру“! Дарья Ивановна, позвольте?.. — сказал он, почтительно склоняясь и делая плаксивую гримасу, — иначе я самый несчастный человек!» Он что-то шепнул Виктору Алексеевичу и отправился тем же ходом, через барьер.

Даринька сидела как оглушенная. Надо ли сказать Виктору Алексеевичу? Но он и сам сказал: «Я очарован твоей женой...» Она натянула перчатку, все еще чувствуя поцелуй-ожог, решила и сказала: «Он мне сказал, что я какая-то особенная... и что-то еще, не помню...» Но не сказала главного — это она считала главным, — как он сам отвернул перчатку и позволил себе... т а к поцеловать. Виктор Алексеевич сказал, что это обычная болтовня и не надо придавать значения и волноваться: возможно, она его заинтересовала... должно быть, слышал, что она оставили монастырь... это известно Ритлингеру, с которым он только что говорил, но это известно многим в кругу знакомых, через друга покойного отца, полицмейстера, — «и, конечно, через н е е», — Даринька поняла, что он говорит о бывшей своей жене. Она подумала: вот почему он сказал — «святая»! «Ничего удивительного, что ты нравишься... ты не можешь не нравиться! —

восторженно сказал он, сжимая ее руку. — Смотри, как краснорожий немец устался. Барон сказал, что сделает все, что в силах, для развода... он от тебя в восторге». Даринька не могла понять, что это за барон и почему он в восторге. Виктор Алексеевич объяснил: барон — дядя Вагаева и видел ее, когда они проходили в ложу.

— Было, конечно, глупо передавать ей пошлости, — рассказывал Виктор Алексеевич, — но я тогда этими пустяками упивался, и восторги других от Дариньки, всех пошляков и солдафонов, были приятны мне. Помню, этот сюсюкающий бароша встретил тогда меня словами: «Она — прелесть, твоя монашка! Она — жемчужина... с чудотворной иконы Страстной Богоматери... я ее сразу выделил». Я тогда купался в грехе, весь был во власти плоти, до угара. В ту пору все мои духовные потенции снижались, но этого я не чувствовал. Нужен был свет, и этот свет осветил потемки...

Дариньку ужаснуло, что неведомый ей барон сказал такое ужасное: «жемчужина...с...» — она не смела и повторить такое богохульство. В мыслях ее мешалось — «вы... святая... необыкновенная... жемчужина...» — белое поле казалось страшным, крики ее пугали.

Звякнуло в колокол, — шли бега, Выезжали гнедые, серые, вороные кони, грызли удила, швыряли пеной, закидывались, бесились, косили кровавыми глазами. Наездники били их хлыстами, сдерживали, натягивали вожжи, отваливаясь совсем за санки, кони били копытами, рыли снег. Военный, с красным флажком, орал: «Не выскакива-ать!.. держать Демона!.. назад... Демона сведу с круга-а!..» Демон, вороной конь, был настоящий демон: закинулся, рванул, вывернул саночки с ездом и галопом понесся в поле, За ним поскакали поддужные, поймали и привели без саночек, с оторванными оглоблями. Даринька теперь чувствовала, что здесь — «греховное» и «соблазн». Были, конечно, и «прелестницы», громко смеявшиеся с военными, смотревшие вызывающе на всех, с накрашенными щеками, с подведенными, «грешными» глазами, с обещающими улыбками, с пышными яркими «хвостами». Немец, пучивший на нее глаза, вдруг повернулся к ней и позволил себе заговорить: «Не желаете ли, сударыня, бинокль?» Она отвернулась от барьера. Ей казалось, что этот немец принимает ее, должно быть, за т а к у ю. И тот барон тоже, конечно, принимает за т а к у ю. И все же было приятно, что все на нее глядели, это она заметила. Проходившие офицеры разглядывали ее, и взгляды их что-то говорили. Из вырезной беседки, где колокол, глядели на нее солидные господа в бобровых шапках, и один, седенький, все смотрел на нее в бинокль. Виктор Алексеевич шепнул: «Этот барон на тебя смотрит, как астроном на звезду». Музыка заиграла встречу: прибыл генерал-губернатор Долгоруков. Военные встали. Жандармы вытянулись и взяли под козырек. Господа в беседке заходили, и Даринька увидела белую фуражку, шинель с бобрами, румяное круглое лицо с седыми усиками. Белая фуражка опустилась: военный сел. Виктор Алексеевич сказал, что генерал-губернатор Долгоруков — единственный здесь, в Москве, кто носит такую фуражку: он особенно важный генерал, генерал-адъютант Государя Императора, конногвардеец. Даринька этого не понимала. Виктор Алексеевич спросил: «Какая ты румяная, тебе жарко?..» Она сказала: «У меня что-то сердце, очень волнуюсь, сама не знаю». Он предложил ей, не хочет ли воды, можно пройти в буфет, лимонаду выпить. Она не захотела. Да и поздно, колокол зазвонил к четвертому, «долгоруковскому» бегу. Лошадей звали на дорожку. Она спросила: «Это сейчас Огарок?» Виктор Алексеевич кивнул и показал афишку. Она прочла: 1. Соловей... 2. Огарок, барона Ритлингера, едет...** 3. Леденец... 4. Бирук, зав. Елегина, едет...** 5. Пряник, едет владелец... Было еще две лошади, Даринька дальше не читала.

Лошадей проминали перед бегом на дальней стороне круга, было неясно видно. С мостков кричали, называли то Пряника, то Бирука «Вон, золото на рукаве, синяя лента, розовый верх... Пряник Расторгова!.. а бурый, здоровенный, одна нога в чулке белая... Бирук самый... чешет-то, силы не бережет!..» Кричали — Даринька ясно слышала — про Огарка: «На проминке закинулся, горячится... понес!» Она спросила, что это такое — «понес»? И узнала рослого вороного и — е г о в палевой куртке, на саночках: через плечо резко белела лента, на рукаве зеленая повязка — «цвета Ритлингера», непонятно сказал Виктор Алексеевич. Огарок что-то «ломался», никак не шел, — говорили военные у барьера. Немцы все повторяли: «Бирук»... «Бирук»... и еще что-то непонятное... Зазвонил колокол — по местам! На дальней стороне круга лошади рысцой потянулись влево, на заворот. Скакали верховые — поддужные, в высоких шапках, в охотничьих поддевах, и поясах с набором... — для горячащихся рысаков: выправить на ходу со «сбоя».

Кричали на помостках: «Пряник без поддужного, сам идет!» Еще кричали: «Огарок от поддужного отказался, на железке объявлено!» Спорили: поддужные только горячат, сами ня «сбой» наводят, рысак принимается скакать.

Военный с флажком стал помахивать: поживей! Подходили вразвалочку, почокивали по мерзлому снегу, фыркали. Сидевшие сзади говорили: «Держу пари, плац-адъютантом кончится!» «Возможно», с сомнением отвечал другой. «В Петербурге бы не отважились, а здесь по-домашнему, Москва». Даринька спросила, о чем это говорят — «отважились», на Виктор Алексеевич и сам не знал. «Ужасно волнуюсь, даже стыдно...» — шепнула она ему. Он взял ее руку и сказал: «Какая же ты азартная, вся дрожишь». Даринька почувствовала какой-то больной восторг, жуткое восхищение. Старалась забыть, не думать, но ласкающий шепот томил соблазном: «Вам... единственной вам дам знак... только о вас и думаю...»

Размашисто подходил к беседке темно-гнедой — говорили, «поджаристый», — гордый Пряник. Рвавшего с места Бирюка держали. Огарок опять ломался: Кричали; «Дайте ему поддужного!» Пускавший с флажком орал: «По номера-ам... станови-ись!..»

Даринька перекрестилась под ротондой.

ХІІІ ЗНАК

Бег все не начинался, не ладилось. На помостках стучали в дощатую обшивку, кричали пускавшему лошадей военному усачу с флажком: «На совесть пускай!.. выравнивай!..» — но пускавшему все не удавалось выровнять лошадей. Их горячили крики, дерганья ездовых, которые тоже горячились, и вся эта горячка сбивала с толку пускавшего. Он зычно орал: «Наза-ад!..» Рысаки, рванувшиеся вразброд, опять заворачивали к месту, и все начиналось снова. Даже самый спокойный из бегунов — Соловей старика-лошадника Морозова, из Таганки, серый, «в яблоках», шея дугой, хвост трубой, как пишут на картинках, — и тот задурил, срывался. Говорили, что князь Долгоруков недоволен — «все вскидывает плечами», что ему стыдно за свою публику, — не умеют себя держать. Лошадей повернули на проездку, поуспокоиться. Вышел на снег внушительный кварталный, потряс перчаткой и зычным голосом объявил, что, если не успокоятся, бег отменяет. Стало тихо. Музыка заиграла вальс.

Даринька волновалась, даже стучала зубками. Виктор Алексеевич спросил ее, не озябла ли, но она шепнула, что «очень интересно». Сказали, что генерал-губернатор подал какой-то знак. Слово «знак» отозвалось в сердце Дариньки мучительно-сладостной тревогой: «Вам, единственной вам дам з н а к, что только о вас и думаю!» Музыка смолкла, не доиграв. Звякнул тревожно колокол: по местам!

Первым подошел Соловей, играя шеей, неся на отлете хвост, за ним, словно по воздуху, скользили низкие саночки-нгрушка, с долгими, выгнутыми фитой оглоблями, и сидел на вожжах маленький старичок Морозов, румянький, в серебряной бородке, с белой лентой на рукаве, Кто-то крикнул: «Вывернет ему руки Соловей!» Вылетел вороной, Огарок, и сразу осел на задние копыта, заскрежетав шипами, — брызнуло мерзлым снегом. Вагаев лихо сдержал его, весь запрокинувшись за санки, и Даринька увидела, как задрожали его губы от звучного на морозе — «Тпрррр!..» Враз подошли, осаживая и порываясь, — чалый Леденец, бурый, нога «в чулочке». Бирюк, гнедой с подпалинами Пряник, еще какие-то. Прошли на рысях поддужные, в заломленных лихо шапках, вертя нагайками, — занимали назначенные места, чтобы не помешать на пуске. Пряник плясал, вырывался на целую запряжку, — «Наза-ад!..» Широкий, как куль, Расторгов, в золотой ленте на рукаве, покрякивал в русую бородку: «Пря-пря-пря...» — приласкивал жеребца милым ему словечком. Военный с флажком присел, словно готовясь прыгнуть, прикинул глазом и дернул флажком — пустил. Звякнул в беседке колокол.

Притихшие помосты загудели. Кричали с разных сторон невнятно, не разобрать. Вправо, на завороте, лошади сбились в кучу, за снежным облаком не видать. Смотревший в бинокль немец, за

Даринькой, повторял одно и одно- «Бирук». Даринька поняла, что Бирук, должно быть, обгоняет, потому что совсюду стали кричать: «Бирук! Бирук!» Виктор Алексеевич тоже сказал «Бирук», и на тревожный вопрос ее: «Какой... я ничего не вижу?» — ответил, что «вон, первый на завороте вымахнул, малиновая лента через плечо». Рядом с Бируком — теперь Даринька видела, — скакал поддужный, как вестовой-пожарный, вертел нагайкой. За Бируком вплотную тянулся Пряник, с наездником в синей ленте, за ним, с просветом, чернел... — Огарок? Зная, что третьим бежит Огарок — белая лента на палевой куртке особенно резко выделялась, — все же она спросила: «А н а ш... третий, да?..» Виктор Алексеевич засмеялся: «Наш?.. пока третий, но... кажется, начинает набирать... да, насадет на Пряника». Помосты загремели: «Сорвался Бирук!.. сбоят!..» Поддужный сразу его «поставил» и отскочил. Пряник наваривал, доставал головой до крупа. Кричали: «Сдваивает, да рано... горяч Расторгов! Выдохнутся, увидите — всех Леденец накроет! четыре еще круга, вот дурака ломают!»

Купец в лисьей шубе, недавно кричавший про Огонька и ласково улыбававшийся Дариньке — он стоял на снегу, под ложей, — сказал, обращаясь к ней, будто давно знакомый: «А вот помяните мое слово, хитрей Акимыча нету тут... вот уж умеет ездить!..» Даринька не знала, кто это такой — Акимыч. А купец стучал кулаком в ладонь, будто что приколачивал, и все повторял кому-то: «А вот увидите, о н себе ковыляет, будто его и нет... а вот попомните мое слово, чего его Соловей стоит!» Серый со старичком отвалился от всей компании- «прогуливался», как говорили. Даринька пожалела серого, сказала Виктору Алексеевичу: «Бедный старичок сзади всех... а н а ш... это он третий?» Она хорошо следила: Пряник захватил Бирука вплотную, а Огарок, палевая куртка, вклинивался меж ними головой. На прямую выкатились тройкой: Огарок выдавил-таки Пряника, стараясь выиграть поворот. На помостках гремели бешено: «Зарежешь Пряника, не гони!.. Миша, не горячись... господа обманут!..» «И вот еще как обманут! — кричал купец в лисьей шубе. — Не хватит у Пряника на трехверстку, вот помяните мое слово... вон чего Леденец выделяет!» А Леденец шел с поддужным и насадал на «тройку». Даринька схватила за руку Виктора Алексеевича, когда «тройка» летела перед ними с вырвавшимся на голову Огарком, «Смотри... первый... Огарок первый!..» Ей отвечали: «Огарок пошел... выходит... нос режет Бируку!..»

Даринька думала: «З н а к... какой же?» Виктор Алексеевич сказал тревожно, как она ужасно побледнела: «У тебя голова не кружится?» Она растерянно и счастливо улыбалась, будто не поняла вопроса.

На той стороне круга «тройка» уже рассыпалась: вороной шел по «ленточке», стлался, вытянувшись по ходу, за ним, с просветом, тянулись вровень Бирук и Пряник, четвертым набирал Леденец и подобранный полем Соловей. Две последних шли безучастной парой — «в прогулочку». Купец в лисьей шубе утирался красным платком, оглядывался на Дариньку и на всех и в разные стороны кричал: «А вот поглядите, попомните мое слово... чего будет!» Дариньке было неприятно, что купец «что-то знает», чего она не знает, казалось ей: что-то должно случиться? Она шепнула Виктору Алексеевичу в тревоге: «А что будет... этот старик все каркает?» Виктор Алексеевич сказал, что, должно быть, навеселе купец. Немцы-соседи горячо спорили о чем-то, и Даринька теперь слышала, что они повюрют- «Огарок», «Огарок», а не «Бирук», как раньше. И на помостах уверенно кричали: «Огарок!.. оторвался Огарок!.. Пряника слопали господа!..» Кричали купцу Расторгову: «Миша, хоть второго места не отдавай, наддай!..»

Немцы в ложе привстали. Виктор Алексеевич сказал Дариньке: «Смотри, князь Долгоруков встал, у самого барьера». Даринька не слыхала, — смотрела влево, откуда бежали рысаки. Невысокий, важный, в размашистой шинели, в резко белеющей фуражке, генерал-губернатор Долгоруков смотрел в бинокль. За ним в почтительном ожидании теснились адъютанты и господа. Огарок, в тугих вожжах, промахнул под рукоплескания и крики: «Полного еще ходу не дает... вот те и „звездочки“! Говорили — сам Долгоруков хлопал, какая честь!» Даринька тоже хлопала в восторге и опрашивала себя тревожно, — какой же з н а к? Кричали: «На унос пошел... на три запряжки отвалились... Пря-ни-чки-и!..» Огарок уверенно уходил, — теперь это было ясно.

«Какой же з н а к?..» Не было никакого знака. Дариньке было стыд-по, что она таит в себе дурное, что она ждет ч е г о-т о, и что это — греховное, и в этом греховном — радость. Она мысленно

повторяла привычное: «Господи, прости мои согрешения», — но сокрушения не было: только какая-то неловкость и легкий стыд, даже «приятный стыд». Так она и записала много спустя в «посмертной записке к ближним»:

«Грех входил в меня сладостной истомой. И даже в стыде моем было что-то приятное, манившее неизведанным грехом. Ослепленная, я не хотела видеть з н а к о в оберегающих. А они посылались мне. Я чувствовала их, но не хотела видеть, мне было неприятно видеть. До сих пор не могу забыть того купца в лисьей шубе, который все повторял: „А вот попомните мое слово... бу-дет!“ Это было предупреждение, но оно мне было неприятно, и я отвернулась от него».

Она чувствовала «приятный стыд», что у нее с н и м — тайна, чувствовала себя счастливой, «почти влюбленной».

Когда все уже кончилось, она призналась мне во всех своих прегрешениях, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Она еще до моего отъезда в Петербург почувствовала себя во власти греховного соблазна, совсем беспомощной... и после, вспоминая, до чего же она была беспомощной, уверилась, что без помощи свыше, при одной своей воле, человек бессилён перед соблазнами. Когда пришла эта «помощь свыше», только тогда поняла она, как дьявольская сила опутывала ее, так оборачивая события, что никакому соблазнителю и в ум не придет. Даже вот с этим «знаком»...

Купец в лисьей шубе — он был неприятен Дариньке — все больше горячился, топал, стучал по барьеру кулаками, насмешливо — так Дариньке казалось — смотрел на нее и повторял: «Попомните мое слово, будет история!.. Бог правду видит-с!.. попомните Соловья!..» И тут Даринька увидела, как на той стороне бегового поля — это был третий круг — Соловей выкинулся стремительно и, перекрыв Леденца, приклеился к сбоившему Прянику. Старичок в серебряной бороде, неведомый Акимыч, сидел по-прежнему совершенно неподвижно, не подавая вида, что он живой, все будто делалось за него само.

Помосты бешено загремели, и все закричали: «Соловей выходит! Соловей!» Соловей обошел легко все еще сбоившего Пряника и приклеился к набиравшему Бирюку. Купец в лисьей шубе перекрестился и насмешливо посмотрел на Дариньку: «Видали Соловья-с? свистит-с... и всем в а ш и м свистунам насвистит!» Он говорил про господ, но Дариньке казалось, что это к ней обращается купец, на что-то намекая: в а ш и м. Ей стало неприятно. Она почувствовала в себе дурное, но отмахнулась от этой мысли: подумала, что купец, пожалуй, и вправду пьяный.

На помостках опять загрохотали: Пряник захватил-таки Соловья, прошел, «как мимо стоячего», обошел заскакавшего Бирюка и стал подпирать Огарка. Совсюду теперь кричали: «Пряник!.. Пряник!..» Даринька увидела, как перед поворотом на прямую «гусарчик» привстал, подался... и ей показалось, что — падает. Она даже зажмурилась от страха и услышала крики: «Не достать Соловью... ушел!»... Она открыла глаза и радостно узнала вороного и белую ленту на светлой куртке: лошади выходили на прямую, Огарок вел.

«Что же было?..» — спросила она Виктора Алексеевича. Он не понял. «Ничего не было! Привстал? А что, это такой прием, довольно дерзкий, падают иногда... полного ходу дал... смотри, как оторвался!..» — «Выиграет, да?» — «Пожалуй... но еще целый круг». Она подумала: не это ли з н а к — привстал и наклонился?.. И вспомнила, что говорил «гусарчик»: «Когда я буду проезжать мимо вас...» Нет, не это.

За вырвавшимся вперед Огарком надвигался напором Пряник: враскачку, на полный мах. Стали кричать и топтать: «Вот покажет сейчас ему Расторгов... пряничком угостит господ!» Неприятный скрипучий голос с дребезгом повторял: «Про угощение неизвестно-с... а вот кто это полем набирает?... не Соловушка ли свистит?.. свистит Соловей, во как!..» И Даринька опять увидела серого: раскачиваясь на полном махе, выкидывая ноги, швыряя снегом, он выбирался «полем» с вынырнувшим откуда-то поддужным. Стали кричать, что Пряник опять сбоит, третий сбой, по четвертому сведут с круга... пропал Пряник! Огарок приближался, странно вытянув голову...

И тут случилось небывалое на бегах, о чем говорила вся Москва, как лихой ротмистр из Петербурга, ехавший в вольном платье, под «звездочками» в афише, «козырнул» крестному своему, князю Долгорукову, генерал-губернатору Москвы, и как ему тоже «козырнул» генерал-губернатор — крестный.

А событие разыгралось так. Так утверждали очевидцы и подтверждал Виктор Алексеевич.

Огарок шел впереди, на три запряжки от Пряника, а голова в голову с Пряником набирал полем Соловей. Огарок шел «в унос» и не вытянув голову, как почему-то казалось Дариньке, а, наоборот, «здравши», потому что как раз в эту последнюю секунду укрывавшийся под звездочками ротмистр «вздернул», и Огарок чуть было не взбрыкнул. Почему ротмистр «вздернул» — и «вздернул» ли, — так и не объяснилось, но все в один голос утверждали, что, поравнявшись с украшенной флагами беседкой, где стоял генерал-губернатор с приветливой улыбкой и собираясь рукоплескать, лихой ротмистр выпрямился, левой рукой перехватил правую вожжу и отчетливо отдал честь, повернув голову направо... и в эту злосчастную секунду Огарок закинулся к беседке. Толковали об озорстве, говорили, что ротмистр и сам «закинулся», — не вожжу неловко перехватил и дернул, а просто — в беговом буфете «перехватил» и «дернул», — были тому свидетели, — и конюха даже опасались, как бы его не растрепал Огарок. И многим это казалось вполне правдоподобным; не мог же лейб-гвардии офицер в здравом уме и памяти не знать, что с санок не козыряют, когда правят, что нельзя так «шутить» в публичном месте, да еще в присутствии генерал-губернатора, да еще и выступая под звездочками, в гражданском платье, что офицеру строго запрещено. Правда, Москва — не Петербург, в Москве многое с рук сходило по доброте начальства и мягким нравам, сошли бы и эти «звездочки», но надо же знать и меру. И потому лейб-гвардии гусарский ротмистр Вагаев «за проявленную им лихость, чтобы не сказать — дерзость» понес известное наказание.

— Так именно все и думали, и я так думал, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Диму я знал прекрасно, и это лихое «козыряние» было в его характере. Истины так и не узнали — к о м у было это «козырянье». Этим обещанным з н а к о м, этим отказом от верно дававшейся победы — и неожиданным для Вагаева отказом! — этой «жертвой» и понесенной карой он лишил Дариньку покоя, взял ее волю, и, прямо надо сказать, в з я л и влюбил в себя. Это был «удар», ловкий, как бы тонко рассчитанный... но не его удар. Для меня теперь ясно, что это было явное и с к у ш е н и е злой силы, а Дима хотел лишь «поиграть немножко» и, неожиданно для себя, явился средством, орудием. Это был знак искусителя, знак Зла. Многие, конечно, улыбнутся, но для меня после всего, что случилось с нами, это так же неопровержимо ясно, как аксиома... после того, как я п е р е р о д и л с я.

А зрители увидали вот что.

Огарок закинулся и рванул к беседке. Оправившийся Пряник вырвался и, заняв «ленточку», повел бег. Соловей, кривший свободно полем, сбился перед Огарком, помешавшим так неожиданно, но в верных руках хозяина нашелся и проскочил. Опомнившийся Огарок выкинулся на «ленточку» и стал набирать за Пряником. А Соловей знал, что делал, Купец в лисьей шубе перекрестился и закричал: «По-пал, голубчик!.. захлопывай его в коробку, сударя... готово дело!..» Соловей знал, что делал; с поля он приклеился к Прянику и стал «прикрывать» Огарка, не позволяя вырваться на обгон. А сзади выдвинулся Бирюк и стал подпирать, захлопнул. Помосты в восторге загремели: «В коробку попал Огарок!.. жми его!.. вот она, чистая работа!.. Bravo, Морозов, бра-ава-а!..»

Даринька увидела з н а к, черные глаза-вишни, смотревшие на нее в упор, — и потерялась от счастья, от страха, от восторга: все помутилось в ней. Она схватила Виктора Алексеевича за руку и говорила что-то невнятное: «О н обгонит... о н о нас думает...» Рвалась из нее бившаяся в ней сладко т а й н а: «Вам, единственной вам дам з н а к... только о вас и думаю». Виктор Алексеевич увидел восторженные ее глаза, о чем-то его молившие, и растерялся. Стал успокаивать, спрашивать, что такое, почему она так дрожит. Она взглянула на него с болью, спряталась в черно-бурый мех, и по движению ее плеч он понял, что она плачет. Он растерянно повторял: «Что с тобой... испугалась?.. — он думал, что ее испугали лошади, сбившиеся нежданно у барьера. —

Тебе дурно... поедem сейчас домой...» Она размазывала перчаткой слезы и глухо повторяла, задыхаясь: «Нет, ничего... сейчас пройдет, зачем так... зачем?..» Он ничего не понял.

Кричали, стучали по обшивке, ревели бешено: «Сбой!.. а, чертов Пряник!.. го-тов!.. Морозов, гони-и!.. вырвался!.. Соловей вырвался! во даст теперь, на прямой!.. Огарок сбился!.. Лупи, Морозов!., крой, старина, лу-пи!..» Помосты выли: «Соловей!.. Соловей!.. всех пересвистал!..» Купец в лисьей шубе сорвал с головы шапку, шлепнул о барьер, заскрипел ужасным, трескучим голосом: «Вот вам и Соловей-с... видали-с?.. — и в упор посмотрел на Дариньку:- Бог правду видит!» Дариньке стало страшно: это слово о Боге она поняла по-своему. Она не смотрела в поле: в сумеречной мути синели снега — и только. Бега окончились.

Валила толпа и снег, суетились квартальные и жандармы. Генерал-губернатор, говорили, остался недоволен: не дождавшись конца, уехал. Виктор Алексеевич сказал, что Огарок пришел вторым. Диме не так обидно: сам сбаловал, не на кого пенять. У выхода была давка. Военные уводили нарядных дам, подсаживали в санки, мчались. Виктор Алексеевич искал глазами Вагаева. Ехать ли в «Эрмитаж», как уговорились? Его окликнули — это был слугитель из беседки, посланный бароном Ритлингером. Сказал, что барон уехал вслед за генерал-губернатором, что очень они обеспокоены и просили их извинить. Знакомый инженер сообщил интересную «новость»: и корнета, и ротмистра генерал-губернатор распорядился арестовать, прямо с бегов отправились на гауптвахту. Виктор Алексеевич сказал Дариньке: «Едем, Вагайчика посадили под арест... за лихость». Она не поняла, думала о своем. Он объяснил ей. Она смотрела растерянно, чему-то улыбалась. Он спросил, не хочет ли прокатиться с гор. Она сказала — нет, холодно ей, домой.

XIV ЗЛОЕ ОБСТОЯНИЕ

Необыкновенное возбуждение Дариньки на бегах и ее «восторженные слезы», как говорил Виктор Алексеевич, он объяснил себе чрезвычайной ее чувствительностью и даже страстностью, и это новое в ней делало ее еще прелестней: Даринька обновлялась, раскрывалась в чудесно-новом и обещала раскрываться дальше. Он называл ее страстно-нежно — «новая моя... прелестно-азартная моя!..» и восторженно повторял, что не мог и вообразить, чтобы такая бесплотная, такая небесная, какую видел совсем недавно в келье матушки Агнии, могла оказаться такой страстуней, такой азарткой-лошадницей! Вспоминал, какие были у нее глаза, — в тревоге и истоме, — и ему было приятно думать, что это в ней наследственная черта одного из славных русских родов, кровь которого в ней текла: страстность до иступления и благочестие до подвижничества. Растроганный этим объяснением, по дороге с бегов домой он восторженно говорил ей, по-новому влюбленный, какое в ней душевное богатство, какие духовные возможности... что он прямо преступник перед ней, все эти месяцы их совместной жизни только «пьет из нее любовь» и ничего для нее не сделал, самого важного не сделал... — не обогащал ее умственно, что отныне он посвятит ей всего себя, что они вместе будут читать и думать... — «и эта прелестная головка столько еще чудесного узнает!». Эти восторженные излияния, вызванные ее очарованием и возбуждением от бегов, перешли в самобичевание за такую пустую жизнь, какой он живет теперь, забыв о своих работах, о «самом важном, что было для него смыслом жизни». Но теперь, когда его жизнь наполнена любовью, ему открывается новый смысл, и он чувствует себя сильным, как никогда, перед ним открываются такие горизонты, такие планы... что вот переедут в Петербург, и он начнет жизнь разумную, полную высших интересов.

В те дни Виктор Алексеевич интересовался Толстым, его народничеством и опрощением, и с увлечением читал «Анну Каренину», печатавшуюся в «Русском вестнике». Левин особенно привлекал его. Конечно, жить надо не только для себя, а для общих целей, и это она, Дариня, какой-то своей тревогой, каким-то духовным устремлением, душевной глубиной своей заставляет его взглянуться, дает толчки. Вот теперь в Петербурге читает публичные лекции талантливый молодой мыслитель Владимир Соловьев, говорит о рождении Бога в человеке, о Богочеловечестве... «в наше время точного знания публично ставить вопрос о Боге!». Они непременно его послушают. «Понимаешь, Дариночка... — растроганно говорил он ей, — этот Соловьев говорит о том же, во что ты, прелестная, скромная моя, веришь сердцем!» Ему было

приятно говорить ей это, отыскивать в ней сокровища.

Эти страстные излияния, которые она понимала смутно, действовали на нее успокоительно. Возбуждение и тревога проходили, и ей казалось, что испытанное ею на бегах волнение — вовсе не от того, что «гусарчик» поцеловал ей руку под перчаткой, — «отвернул и поцеловал насильно!» — и не от того, что отдал ей честь при всех и провалил Огарка, а от непривычки к такому зрелищу, как бега, от общего азарта, от ее нервов и страстности, как объяснил Виктор Алексеевич.

Вернувшись домой, они увидели ожидавшего их посыльного. Посыльный принес ложу бенуара на «Конька-Горбунка», в Большом, на четвертый день. Это напоминало о неприятном: детей с ними, конечно, в театр не пустят, Вагаев под арестом, все так разладилось.

Они решили зажечь елку и разобрать, чтобы не напоминала о неприятности. Зажгли и без радости смотрели, как скучно она горела-догорала, и Дариньке казалось, что взиравший на небо Ангел плакал. Когда догорели свечи, Даринька неожиданно расплакалась. Что такое? Так, ничего, взгрустнулось, сама не знает. Пряча в коробку обезглавленного гусарчика, сиротливо стоившего под елкой, она вспомнила «тошный» сон. Весь день что-то ее томило, до тошноты, и она все старалась вспомнить, что же такое было, что-то противное. И вот когда убирала гусарчика в коробку, Виктор Алексеевич, помогавший ей снимать с елки стеклянные шарики, уронил один на большое блюло, и шарик разбился в блеске. И она вспомнила «тошный» сон. Сон был бессмысленный, но Дариньке показался вещим.

Входит она в богато украшенную комнату, еде на высоких полках стоят открытые пироги с вареньем и разноцветные торты с фруктами. А на голом столе белое блюдо, и на нем красивое яичко, будто фарфоровое, прозрачное, и кто-то велит ей: ешь! Она разбила яичко ложечкой и с удовольствием стала есть: необыкновенно вкусно. И вот что-то в желточке затемнело, она потрогала ложечкой, поддела что-то шершавое... и увидела, что это дохлая крохотная мышь! Она отшвырнула с отвращением яичко, а мышь вывалилась, вся склизкая, и вдруг заюлила по столу. Даринька проснулась от тошноты и страха, подумала, что будет что-то ужасно гадкое, и забыла сон. Но весь день томило ее чувство тошной тоски и страха.

Теперь, к ночи, это чувство тоски усилилось и вылилось слезами. Сердце ей говорило, что неприятное связано с «гусарчиком», и она старалась избыть это «неприятное», успокаивала себя, что оно уже миновало, — Вагаев поцеловал ей руку под перчаткой, — что «неприятное» было в его словах «единственной вам дам знак, что только о вас и думаю», и дал знак, козырнув на глазах у всех, и теперь за нее страдает, и ей это очень неприятно. Успокаивала себя, но знала, что неприятное не это: напротив, в этом было что-то захватывающее, ликующее, сладко-томящий грех. Неприятное еще будет, будет, — томило сердце.

Даринька заставила себя войти в «детскую», помолиться. Затеплила угасшие лампадки, прочла зачинальные молитвы, — и не могла молиться: что-то мешало ей. Спрашивала с мольбой, растерянно: «Господи, что со мной?..» — но мысли бежали от молитвы. Взглянула истомленно на зачатую по бархату работу-вышивание- на неоконченный василек синелью, плат на ковчежец с главкой великомученицы Анастасии-Узорешительницы, подумала — не сесть ли за работу? — и не могла. Томило ее укором: какая стала! И к обедне сегодня не ходила, стала совсем язычница. И мысли были совсем не здесь. Спрашивала с тоской молящей: «Господи, что со мной, дай силы!..» — но слова падали рассеянно и пусто. Как всегда к ночи, топилась лежанка, полыхала. В пламени от нее светился розовым серебром оклада образ Рождества Богородицы. На голубом подзоре розовели серебряно-шитые цветы, золотые пчелы и колосья, в венке из золотой вязи, словами тропаря: «В рождестве девство сохранила еси». Даринька горестно смотрела на святые буквы, на этот подзор-дар-счастье, некогда принесенный ею с матушкой Агнией на Пасхе, когда пышно цвела сирень... — вспомнила, что надо сюда другую святую песнь, а это тропарь Успению... — и почувствовала, как жжет у сердца. Сердце теплело, отходило, в глазах наплывали слезы. Даринька упала на колени и излилась в молитве.

Виктор Алексеевич пришел за ней, — было уже за полночь, — окликнул ее за дверью, но она не

отозвалась. Он вошел в «келью» и нашел Дариньку на полу, в застывших слезах, без чувств.

— Это был обморок от напряжения в молитве, как я тогда подумал, — рассказывал Виктор Алексеевич. — После она призналась, что это было от «злого обстояния», от мыслей страшных, от бессильной борьбы, с собой, с одолевавшим «постыдным искушением».

В эту ночь «злого обстояния», «не находя исхода стыду и мукам», — писала она в «записке к ближним», — Даринька вспомнила глубокое слово великого аскета из Фиваиды: «Томлю томящего мя», — и в иступленной борьбе с собой, выжгла восковой свечкой, от огонька лампадки, у сердца, под грудью, — «охраняющий знак креста».

— Она носила его всю жияпъ. Я его никогда не видел, узнал о нем только после... даже от меня таила... — рассказывал Виктор Алексеевич.

Еще до света Даринька пошла к обедне и воротилась тихая, примиренная. Сказала Виктору Алексеевичу, осветляя лучистыми глазами, т е м и, глазами юницы чистой, какие впервые увидел он в келье матушки Агнии: «Я опять буду умница». И хорошо уснула.

В то утро из Петербурга пришла депеша Главного управления: Виктора Алексеевича вызывали на 30 декабря — срок испытания новой его модели паровоза. Надо было непременно ехать, и самое позднее — послезавтра.

На следующий день в Большом театре давали «Конька-Горбунка», Лалет. О нем очень мечтала Даринька: еще ни разу она не была в театре. Ложа была взята, но Даринька сказала, что ей что-то не хочется, чувствует себя очень слабой. И правда, лицо ее выражало утомление, побледнело, стало прозрачным и восковым, «как бы из тончайшего фарфора», одухотворенно-прекрасным, как в первые дни после чудесного исцеления, когда она вся светилась тайной очарования, будто теплилась в ней лампада. Виктор Алексеевич согласился было, но ее тихость и замкнутость как-то его встревожили, он испугался нового «молитвенного припадка» и подумал, что лучше ее развлечь. Стал уверять ее, что «Конек-Горбунок» — совсем безгрешное развлечение, для детей, что она отдохнет и освежится и ему очень хочется перед отъездом провести с ней вечер в приятной обстановке, отвлечься от житейских мелочишек.

И в самом деле, отвлечься ему хотелось. Он не хотел брать с собой Дариньку в Петербург: поездка была не из веселых, деловая, с длинными заседаниями и хождениями по канцеляриям, с волнением и борьбой. Бывший его начальник честно предупреждал его, что страсти разгорелись, много завистников, обычная волокита, но выгорит. Это было для Виктора Алексеевича не ново: он уже испытывал подобное, когда протаскивал я Главном управлении нашумевшие колосники его системы, стоившие ему немало крови. Теперь эти колосники давали казне огромную экономию на топливе. Он знал, что борьба будет острая, и ему не хотелось волновать Дариньку обычной у него в таких случаях «горячкой».

Даринька почему-то страшилась Петербурга, его «злокозненной канители», как называл Виктор Алексеевич, и не просилась с ним. Он ее успокоил, — задержится самое большое с неделю, «но в театр мы поедем вместе, прошу тебя!» Она уступила, против желания.

— Она собиралась нехотя, — рассказывал Виктор Алексеевич. — только после усиленных просьб моих согласилась надеть парадное свое платье, «голубенькую принцессу», как мы его прозвали. Оно было последней моды, вечернее, с полуоткрытой шеей, с узким глубоким вырезом, в легком рюше, со сборками, со шлейфом, взбитым такими буфами, очень ее смущавшими, и с еще больше смущавшим вырезом внизу спереди, открывавшим атласные ее ножки в туфельках. В нем она была ослепительно прекрасна фарфоровой белизной лица, глаза ее становились голубыми. Эту действительно ослепительную красоту свою она и сама чувствовала, несмотря на всю свою скромность, на свою детскую непосредственность. Я застал ее как раз в ту минуту, когда она отступила от трюмо, словно замороженная, приложив к милой своей голове полуобнаженные руки с совсем еще детскими, не округлившимися локотками. Ее глаза смотрели в восторге страха и

изумления. Она вскрикнула, увидев меня, и я почувствовал, что она и меня стыдится за красоту.

Большой театр поразил Дариньку до восторженного какого-то испуга. Огромные, покрытые инеем колонны въезда, с мерцающими молочными шарами на чугуне, окрики скачущих жандармов, гикание кучеров, пугающие дышла, клубы пара от лошадей, в котором только огни маячат, торопящая кучеров полиция, визжащие и гремящие кареты, откуда выпрыгивают цветами легкие и таинственные красавицы, вея мехами и духами... огромные, как собор, гулкие и сквозные сени, с радостным ароматом газа, как от воздушных шаров, прозрачные двери во всю стену, за которыми возбужденно-торопливо уплывают шали и кисеи, чепцы и шлейфы, взлетают соболюшки шубки, лоском сверкают фраки, бинокли, лысины, капельдинеры, бритые и в баках, с важно-чиновничьей повадкой, красном и золоте, с черненными дворцовыми орлами позументов, куда почтительно уводят по круглящемуся пузато коридору... лепные золотые медальоны, с золотыми лепными литерами в гирляндах, с таинственно-важными словами: «Ложи бенуара, правая сторона», отворяющиеся неслышно дверцы... — и воздушная пустота, провал, море света и золотистой пыли, чего-то густо-пунцового и золотого в блеске, сладкого и душистого тепла, остро волнующего газа и жуткой радости... — все завлекательно кружило.

В салоне бенуара Даринька робко села на бархатный диванчик, увидела себя в огромном золотом зеркале, поправила рассеянно прическу и, слабо, устало улыбаясь, прошептала: «Кружится голова...»

Но это прошло сейчас же. Она поиграла веером, раскрыла и закрыла. Обтянутые бордовым стены веяли на нее покоем. Виктор Алексеевич крепко потер руками, словно приготовлялся к чему-то очень приятному, вынул голландского полотна платок, свежий до ослепительности, и повеял знакомым ароматом флердоранжа, отчего стало еще покойней. Потом, красиво выпрямившись, комкая на ходу платок, вышел на свет к барьеру и поглядел привычно. Стало совсем покойно.

Дариньке из-за портьеры было видно выгнутые пузато ярусы, золотые на них разводы, бархатные закраинки, с биноклями и коробками конфет, с лайковыми руками, с голыми локотками, с головками, с веющими афишками... ряды и ряды портьер, золото и виссон, светящиеся просветы уголками, мундиры и сюртуки в просветах... — огромное и сквозное, пунцовое, черное, золотое, шепчущее чуть слышным гулом. Заливая хрустальным блеском, висела воздушно над провалом невиданная люстра. В оркестре, рядом, чернелись музыканты, сияли ноты, манишки, лысины; путались, копошились и юлили тревожные взвизги скрипок, фиоритуры гобоев, кларнетов, флейт, успокаивающие аккорды арфы.

В зале померкло, на стульчике появился капельмейстер, постучал сухо палочкой в перчатке и по великому, красноватому в мути занавесу, с известной нам всем картиной «Въезд царя в Кремль», с широченной спиной склонившегося татарина внизу направо, дрогнуло-повело волной.

Даринька вошла в ложу и села у барьера. Стало совсем покойно: тонкие звуки скрипок, легкой, приятной музыки, унесли ее в мир нездешний. В это время бесшумно открылась дверь, остро мигнуло за портьерой, мягко-знакомо звякнуло. Дариньку пронзило искрой. Виктор Алексеевич скрипнул ужасно стулом, вытянул через спинку руку и зашептал. Ему тоже ответил шепот. Даринька услышала:

«А очень просто, сверхэкстренно...»

Занавес медленно пополз вверх.

XV ШАМПАНСКОЕ

Открылось веселенькое село, по зелени розовато-золотистым, как, бывало, писали на подносах. Ряженный старик, с бородой из пакли, размахивал под музыку руками, а с ним тоже махали и ломались новенькие, как игрушки, парни. Виктор Алексеевич объяснил Дариньке, что это старик

бранит сыновей и велит поймать вора, который вытаптывает по ночам пшеницу, но Даринька плохо слушала. Приход Вагаева взволновал ее, и она забыла даже про боль ожога под грудью, взятое на себя «томление», в ограждение от страстей. «В тот будоражный вечер и во все остальные дни, до страшного соблазна, — писала она в „записке к ближним“, — я не слыхала боли, страсти владели душой моей».

Занавес опустился, стало опять пыльно-золотисто, и взволнованно ждавшая Даринька услышала сочный, приятный голос, ее назвавший. Свежий, «сияющий»- показалось ей — Вагаев в пылающем доломане со жгутами, в крылатом ментике за плечом, почтительно перед ней склонился, говоря восхищенным взглядом, как он счастлив. Ослепленная театральным блеском, мерцанием лиц, разглядывающими ее биноклями, этим ликующим парадом, напоминавшим будоражную радость пасхальной утрени, она подала ему лайковую руку, немного вверх, — он стоял выше, на ступеньке, — и поглядела из-под ресниц, смущенно. Он взял ее руку особенно свободно, как бы сказав глазами, что хотел бы поцеловать, как — «помните, т о г д а, чуть отвернув перчатку?..» — и неуловимо попридержал, как бы внушая взглядом: «Вы помните». Она несмело отняла руку, но по опустившимся ресницам он увидел, что помнит.

Стало темно. Вагаев нашарил стул и сел за ее спиной.

На сцене было мутновато, будто ночное поле. Музыка усыпляла, потом словно чего-то испугалась, что-то в ней грохнуло и рассыпалось частым стуком. Виктор Алексеевич шепнул, что это Иван схватил белую кобылицу, но она дает ему выкуп, златогривых коней и волшебный хлыстик, вызывать Конька-Горбунка, который все для него добудет. Даринька слушала рассеянно, чувствуя за собой Вагаева.

Занавес опустился, все снова осветилось, в креслах задвигались и замелькали лица, уставились бинокли, дрогнули блеском бриллианты, в соседней ложе оделяли детей конфетами, запахло апельсином. Виктор Алексеевич отвел Вагаева к портьерке поговорить. Даринька, чувствуя смущение, стала проглядывать афишку. Спиной к оркестру, военные рассматривали в бинокли ложи, разглядывали и Дариньку. Она совсем смутилась и перешла в салончик. Вагаев отпахнул перед ней портьерку, сел к ней на бархатный диванчик и стал находчиво занимать.

Первый раз в театре!.. конечно, сильное впечатление?.. кружится даже голова?.. правда, и с ним то же было, когда его в первый раз... Он сразу понял, как она не похожа на обыкновенных женщин... что-то она ему напоминает, утерянное жизнью, оставшееся в легендах только и... в житиях. Это светится у нее в глазах...

Седой капельдинер, в баках, внес на серебряном подносе оршад, груши и виноград. Другой поставил на мраморном золоченом столике роскошную бонбоньерку с шоколадом.

Вагаев внимательно угощал, ало мелькая в зеркале, мягко позванивая шпоркой. При огнях он казался еще красивей. Черные волнистые его височки играли блеском. Он ловил в зеркале Дариньку, и его глаза-вишни ее смущали, Он очистил перламутровым ножичком, стараясь не прикоснуться пальцем, большую грушу и поднес на фарфоровой тарелочке — «листочке». Не правда ли, оригинально? Кажется, из императорского сервиза дворцовые старички таскают «для уважаемых». Есть тут еще удивительные «бискюи», александровские, для шоколада... князь Долгоруков всегда из них угощает, необыкновенно вкусно. Непременно в театре будет, как всегда — в литерной, бельэтаж, налево.

Он рассказал, играя ее «чудесным» веером, что не мог упустить такого редкого удовольствия — увидеть чудесную... — остановился и посмотрел на Дариньку, — несравненную Царь-Деву... прелестную С...ую, для которой мчатся сюда из Петербурга. У генерал-губернатора бал сегодня, но к третьему акту заглянет непременно, похлопать обожаемой С...ой в ее распяляющей страстью «меланхолии», в ее обжигающей мазурке. Этот досадно-смешной арест кончится завтра в полдень, но... — Вагаев заглянул Дариньке в глаза, — «я не мог себе отказать в маленьком баловстве... и махнул с гауптвахты под честное слово, до утра, по традиции нашей — „ночь гусарская — утро

царское!“» — и лихо прищелкнул пальцами.

Виктор Алексеевич выходил в ложу, смотрел в бинокль. Ходил беспокойно по салону, рассеянно слушая болтовню Вагаева, и опять выходил в ложу. Вагаев показал Дариньке на глядевшего в бинокль Виктора Алексеевича, что «астроном наш усиленно что-то астрономит». Хоть и озабоченный чем-то, Виктор Алексеевич был доволен, что Даринька оживилась, держит себя свободно, как привыкшая бывать в обществе, удивлялся ее манере держать веер, просматривать афишку, поправлять перед зеркалом прическу, — ее изяществу.

Вагаев извинился, что не пришлось пообедать в «Эрмитаже», но сегодня ничто не помешает махнуть к «Яру» «поужинать». Виктор Алексеевич согласился: послушать цыган Дариньке будет интересно. А завтра вечером — в Петербург, по делу. Вагаев переспросил — завтра? — и сказал, что отпуск его кончился и завтра вечером тоже едет. Дарья Ивановна не едет... не любит Петербурга? а, скоро совсем переедут в Петербург! Чудесно, он будет ей все показывать и доставит ей приглашение на придворный бал, — «Вас Петербург оценит!» — прибавил он, склонясь. «Дина!.. — сказал Виктор Алексеевич. — Не кружи голову!» И оба рассмеялись. «Значит, завтра курьерским, вместе...» — сказал Вагаев.

Даринька взяла афишку и попросила рассказать, что дальше. Шутя, Вагаев стал объяснять, что сейчас четвертая картина, «Ханская ставка...» «у старичка хана четыре жены!.. но он любитель всего прекрасного, как почтенный крестный, и ему грезится прелестнейшая из женщин... — Вагаев выразительно поглядел на Дариньку, — прекрасная из прекрасных... Царь-Девица... — „под косою луна блестит, а во лбу звезда горит...“ — и хан падает в обморок от одного лицезрения... Приходит Иван жаловаться на братьев, которые украли у него коней, и хан обещает ему расправу, если тот добудет ему прекрасную Царь-Девицу».

В оркестре зудели скрипки, в ложах усаживались. Виктор Алексеевич опять наводил бинокль: в бельэтаже, напротив, сидела его жена, с тещей, Витей и Аничкой. Ему казалось, что она видит их, и это было неприятно. Даринька слушала Вагаева. Он опирался на ее стул, показывал ей мужчин и женщин, и все, кого называл, отличались такими поступками, что было стыдно слушать. Она не выдержала и сказала, что ей это неприятно. Вагаев смешался и покраснел. Виктор Алексеевич пришел в восторг, — он не ожидал «такой храбрости!»-и посмеялся Вагаеву: «Что, осекся!» Вагаев почтительно склонил голову и сказал: «Простите, я получил урок». Спохватился и, извинившись, — «надо распорядиться...» — вышел.

В первом ряду Виктор Алексеевич узнал лысину барона Ритлингера, показал Дариньке и, целуя ей руку под афишкой, стал взволнованно говорить: «Ты сегодня необычайная...» — но в это время поднялся занавес.

Перед дряхлым ханом плясали обнаженные женщины, — Дариньке так казалось, — и совсем непристойно изгибались: особенно самая вертлявая, «любимая». Вернувшийся Вагаев шепнул: «Смотрите, у самой сцены налево в бельэтаже... генерал-губернатор наш уже нацелился на свою Царь-Девицу... Помните, из „Онегина“... „Любви все возрасты покорны... но юным, девственным сердцам...“ — он щекотнул височком ее щеку и видел, как эта щека зарделась, — ее порывы благотворны, как бури вешние полям...» Даринька отстранилась и узнала в бинокль румяного, круглоголового, плотного генерала в орденах, в золоченом кресле. Он неотрывно смотрел в бинокль. Даринька вдруг обернулась к Вагаеву и шепнула: «А если узнают, что вы убежали... что вам за это будет?...»- и даже игриво погрозила. Это Вагаева ошеломило, — он высказал ей потом, — и, приложив руку к сердцу, он прошептал ей мрачно: «Расстрел, понятно».

В пятне голубого света явился «волшебный образ» — дивная Царь-Девица, легкая, стройная, гибкая, с горячей звездой во лбу, с полумесяцем на головке, с тонкой непостижимо талией, затянутой бриллиантовым корсажем, из которого расцветали обнаженно-блистающие руки, из-под корсажа подрагивали блеском воздушные тюники, или, как теперь называют, «пачки», — пена батиста и кисеи, взмывающая пухом, под пухом играли ноги, — что-то чудесно-странное, отдельное от всего, ж и в о е — совсем оголенные, до бедер. Хан задрожал и грохнулся. В музыке

громко стукнуло.

Зал закипел в аплодисментах, у оркестра теснились фраки и мундиры, занавес подняли, и чудесная голоногая плясунья, выпорхнув из кулис, выросла-подрожала на носочках, закинула гордую головку, с горящей звездой во лбу, выкинула блистающие руки, склонилась и обняла театр, выпустила его в пространство и послала воздушные поцелуи вслед.

В салоне бенуара Вагаев стоял с бокалом. Нет, так полагается, «крещение» всегда с шампанским. Когда его повезли в первый раз в театр, на «Аскольдову Могилу»... — всегда с шампанским! В ложах это запрещено, но... «только сегодня для уважаемых». Один глоточек?!.. Невозможно, сегодня первый театр, дивная Царь-Деввица, старый хан в литерной бельэтажа пьет за свою «девицу», а здесь, рискуя честью и карьерой, проваливший вернейшего Огарка и так наказанный... — «ну, выпейте же за его здоровье!».

Шампанское было чудесное, в иголочках и искрах, играло в бокалах с вензелями. Играло огоньками, хрустальными, золотыми гусарскими жгутами, «голубенькой принцессой», золотом и виссоном, радостными глазами, газовым теплым воздухом. Шампанское играло, и Даринька — Виктор Алексеевич восторгался — стала новой, еще новой. Сейчас что?.. Какое-то «Солнечное царство», где Царь-Деввица... — «там, где пряжи лен прядут, прялки на небо кладут...». Иван добывает для хана Царь-Деввицу... для этого рамоли! Уж-жасно!!..

Шампанское играло смехом, блистанием глаз. В золотистой мути играла музыка. Там, высоко, в провале мягко светилось золото, плавала бриллиантовая люстра, — было совсем не страшно. А вот и оно, какое-то Царство nereid, звездных живых видений. А... Кит?.. Это в подводном царстве, куда поскачет Иван добывать ларчик с заветным кольцом для Царь-Деввицы... танцы морских цветов, раковин, рыб, кораллов...

Даринька была в восторге. Нравится? Очень, очень... «Не хотите ли пройтись в фойе?» Дариньке не хотелось. Не хотелось и Виктору Алексеевичу: он опасался встречи. Лучше остаться тут, может нарваться Дима. Пустое, князь Долгоруков всегда тактичен, не любит стеснять публику появлением. Адъютанты — приятели. Единственный лейб-гусар, заметит? И прекрасно. Пройтись положительно необходимо, это единственное фойе, все послы посылали государям восторженные донесения о Большом императорском театре. Какие зеркала, плафоны, у царской ложи парные часовые-гренадеры... женщины всей Москвы, бриллианты «всея России».

Они поднялись в фойе. В проходе Виктор Алексеевич встретил барона Ритлингера. Барон ужаснулся «видению гусара», даже попятился. Ка-ак мо-жно! в Азию порывается — попадет. Безумная голова, сейчас донесут, и опять объяснения, как с «провалом». «Это же неосторожно, милый». Барон растаял, барон восхищался Даринькой. Дариньку уводил Вагаев, безумная голова. Толпа заслонила их.

Под тускло мерцающим плафоном, уходящим куда-то ввысь, под хрустальными люстрами, двигались волны шелка и бархата, мундиров, лысин, кудрей, шиньонов, розовых рук и плеч, личиков, лиц, затылков, осыпанных бриллиантами причесок, изумрудов и жемчугов, ярких и деланных улыбок, взглядов... Даринька отражалась в зеркалах, видела пестрое движение, мерцание далеких люстр, пламенеющее пятно и рядом — голубое и сознавала смутно, что это она с «гусарчиком». Залы, и зеркала, и люстры, бархатные тяжелые портьеры, белые двери в золоте... «Парные часовые-гренадеры...»- сказал Вагаев.

Часовые стояли неподвижно, вытянувшись, подавшись с застывшими строго лицами будто из розового камня, в шапках из черного барашка с медными лентами «отличия». Ружья к ноге, остро они глядели друг на друга, сторожили друг друга взглядом. Мысленно слушая команду, четко перехватили ружья — раз-два! — выкинули штыки, враз повернули головы, — отдали честь гусару.

Даринька восхитилась, и у ней закружилась голова. Расталкивая толпу, Вагаев вывел ее на

лестницу. Снизу тянуло холодом. Мутные фонари висели невидимо в пространстве.

Они сели на бархатный диванчик. «Вам дурно?» — тревожился Вагаев. Она улыбнулась, бледная: «Кружится голова». Виктор Алексеевич, наконец разыскавший их, попросил капельдинера дать воды. Мимо них прошла дама, в темно-зеленом платье, с двумя детьми. Даринька помнила, как гордая дама презрительно на нее взглянула. В эту ужасную минуту к Виктору Алексеевичу подбежали дети и радостно закричали: «Папа!.. папа...» Виктор Алексеевич совершенно растерялся, поцеловал детей, сказал, что пришлет им сейчас конфет. Дама молча взяла их за руки и решительно увела с собой.

Даринька с болью — «именно с болью», — рассказывал Виктор Алексеевич, — «поглядела им вслед, перевела горестно-укоризненный взгляд ко мне...» — и как-то вся собралась, словно ей стало холодно. Фойе пустело, слушалась отдаленно музыка, отблескивали паркеты мерцающими в них люстрами, пустынно темнели в зеркалах. Парные часовые-гренадеры стояли все так же неподвижно, ружье к ноге, мысленно слушая команду, — раз-два! — отдали честь гусару.

Старый хан путался в золотом халате, семеня ножками, — «весь исходил любовью», — шепнул Вагаев. Даринька смотрела перед собой и видела темно-зеленое пятно.

Царь-Девушка с горящей звездой во лбу, сияя жемчужными руками, томилась страстью, манила к себе неудержимо. Музыка замирала негой. Плясунья пела прекрасным телом страстную «Меланхолию». Хан сорвался, затоптал и грохнулся. Его подхватили и держали, вытирали платочком губы. Музыка бурно загрела — перешла на кипучую мазурку.

Вагаев снова приветствовал с бокалом. «Т е п е р ь положительно необходимо, это придаст вам силы...» — упрашивал он, на что-то намекая. Даринька выпила весь бокал. Шампанское весело играло, играла музыка.

В подводном царстве проплывали медленно рыбы, раковины чудесно раскрывались, из них вылетали мотыльками воздушные голоногие плясуньи, выбегали жемчужины, кораллы, кружились в пляске. Вагаев все спрашивал в тревоге: «Не кружится?» — предлагал золотой флакончик с английской солью.

Готовится свадьба хана, Царь-Девушка получила кольцо, добытое со дна морского милым Коньком-Горбунком, но требует, чтобы «рамоли» омолодился. Иван выскочил из кипучего котла принцем, хан благополучно сварился, Царь-Девушка в жемчужном кокошнике и сарафане пляшет лихую «русскую», все пустились на радостях вприсядку; занавес опускается. Генерал-губернатор уехал. У оркестра ловят последние поцелуи несравненной.

Посыльные кричали: «Тройку князя Вагаева-а!..» Мело снежком. Отъезжали последние. Горели костры. За седыми от инея колоннами проплывали тусклые фонари карет. Ожидали застрявшего барона, пожелавшего тоже к «Яру». И тут случилось совсем обычное, но, писала потом Дарья Ивановна в «записке», — очень ее растрогавшее.

Когда они уже собирались спуститься по ступеням к ожидавшей нетерпеливой тройке, из-за колонны портала вышла замотанная в тряпье баба с грудным ребенком. Городовой, козырявший богатому гусару, хотел устранить ее. Даринька ему сказала; «Нет, не гони ее...» — и попросила Виктора Алексеевича: «Дай ей». В эту минуту Вагаев крикнул городовому «Смирр-рно!» — выхватил бумажник и сунул бабе какую-то кредитку. Баба упала в ноги. Сконфуженный Вагаев дал ей еще бумажку, подозвал тянувшегося перед ним городского, дал и ему и строго-настрого приказал: «Не смей никогда гнать, раз просят милостыню!» Городовой тянулся и козырял: «Слушаю, ваше сиятельство!»

Случай совсем обыкновенный. «Но... — вспоминал Виктор Алексеевич, — были последствия». Когда Вагаев подсаживал Дариньку в троечные сани, почувствовал он, как лайковая ручка отозвалась на его пожимающую руку. Он не поверил, взглянул — и понял, что это не случайно:

Даринька подарила его взглядом. И все-таки не поверил счастью, с сомнением подумал: «Шампанское?..» — сказал он после об этом Дариньке.

XVI МЕТЕЛЬ

— Думал ли я тогда, на бешеной этой тройке, мчавшей нас к «Яру» с бубенцами, — рассказывал Виктор Алексеевич, — что судьба наша уже начертывалась «Рукой ведущей»? А мы и не примечали, с п а л и. Хоть бы тот случай, с бабой. Он как бы напоминал нам о скорбном, будил душу. Он же вызвал и жест Вагаева, и этот порыв сердца... — ну, конечно, было немножко и щегольства — пленил и заморозил Дариньку. Это был «знак», некая точка в плане, чертившемся не без нашей воли, но мы с п а л и. Только после того стало мне многое понятно, и я привычно изобразил на жизненном чертеже все знаки — указания о т т у д а — и был потрясен картиной. Нет, неверно, что мы не примечали. Даринька сердцем понимала, что она как бы вынута из Жизни, с большой буквы, и живет в темном сне, в «малой жизни»: она прозревала знаки, доходившие к нам о т т у д а. Потому и ее тревоги, всегдашняя настороженность, предчувствия и как бы утрата воли, когда приближался грех.

Метельную эту ночь Дарья Ивановна отметила в «записке к ближним»:

«Душе моя, душе моя, возстани, что спиши, конец приближается».

«Приближался конец сна моего. Как в страшном сне обмякают ноги, так и тогда со мной. Я вязла, уже не могла бороться, и меня усыпляло сладко, как усыпило в метельную ночь, когда мы мчались от одной ямы на другую».

«Боже мой, к Тебе утренюю: возжажда Тебе душа моя».

Задержавшийся в театре барон Ритлингер, — он провожал несравненную Царь-Деву, которой поднес в орхидеях что-то волшебное, — живчиком вскочил в сани и извинился, что заморозил «жемчужину», но готов искупить вину. Слово «жемчужина» напомнило Дариньке недавнее на бегах, — «жемчужина» с чудотворной иконы Страстной Богоматери, «прелестна твоя монашка», и ей стало не по себе, что этот старик усаживается рядом, трогает талию и хрипит, отдавая сигарным запахом и какими-то душистыми духами: «Да удобно ли деточке? еще вот, под правый бочок, медвежину». Трое укутывали ей ноги медвежьим мехом, стучаясь головами: резвая тройка не стояла.

Это была ечкинская тройка, «хозяйская» с Мишкой-племянником: сам хозяин только что подал под графа Шереметьева, но и Мишка обещал потрафить: «Его сиятельство барона Рихлиндера все знаем». Еще добавил, по глупости, что наемни возил его сиятельство «с танцевальной барышней», катались в парках. Барон послал ему дурака и приказал «мягко, к генерал-губернатору». У князя Долгорукова бал сегодня, и надо показаться, но он нагонит через полчаса у «Яра», Отечески прихватил за талию и спросил: «Жемчужине удобно?» Виктор Алексеевич усмешливо предложил ячменного сахару от кашля. Узнав, что сахар у Дариньки, барон попросил кусочек — «но прямо в рот». Были противны причмокнувшие его губы и серенькие бачки.

Тройка взяла легко и мягко пошла стелить, потряхивая серебряным набором: колокольчики были пока подвязаны. С Тверской стегало в лицо метелью, сухим снежком: Виктор Алексеевич молчал, подавленный неприятной встречей с женой в театре, Вагаев смотрел на Дариньку, но она затаилась в мехе, пряча лицо от снега, — от глаз его. Невидная для него, она смотрела в настороженное его лицо, в темные его губы, поджатые, будто в дрожи, в сияющие сквозь снег глаза. В легком пальто сегодня, он казался совсем мальчишкой, и она думала, что ему очень холодно. Он не мог спокойно сидеть, похлопывал рука об руку, играл саблей, и эти играющие руки ее тревожили. Она думала, зачем так неосторожно пожала ему руку, — чуть пожала, но он почувствовал, и никто этого не видел, это теперь их тайна, и в этом была жутко-волнующая радость, остро-приятный стыд. Было и радостно, и страшно, что он коснется ее руки. И он совсем неожиданно коснулся, хватая

качнувшуюся саблю, — коснулся ее лайкового пальца, выглянувшего случайно из-под меха. Она его быстро спрятала. Волнение от театра и от шампанского еще играло в ней, хотелось ей плакать, и смеяться, но она крепилась, и лишь дрожачие золотые нити сливались влажно в ее глазах.

В потно желтевших окнах генерал-губернаторского дома сновали тени, сияли гнездами огни люстр. В освещенный подъезд сыпало серым снегом, секло косыми полосами. В этой тревожной сетке качались лаковые горбы карет, выплясывали конные жандармы, блестя из метели каской.

Барон вылез и повторил, что догонит через полчаса, чтобы писали за ним и заняли «княжеский кабинет», а главное — Глашу чтобы не заняли купчишки. Виктор Алексеевич пересел к Дариньке, и тройка пошла наваривать. Вагаев показал слева от каланчи полосатую рогатку гауптвахты: «Мы сейчас там с корнетом и князь, конечно, прислал нам на ужин рябчиков с мадерой... как бы не пригласил и на мазурку». Если откроется? Что будет — это т е п е р ь не важно; «Ночь гусарская, утро — царское». Нет, каков дядюшка-барон! прямо неузнаваем, щедр, как февральский снег. А метель-то какая разыгралась. Вид молодых и красивых женщин будоражит и по сей день его, а ему уж за шестьдесят. Действуют гальванически. «Именно гальванически», — повторил Вагаев, стараясь поймать взгляд Дариньки. «Как на труп», — раздраженно сказал Виктор Алексеевич и поднял бровный воротник. Даринька глубже зарылась в меха.

Тройка вылетела к Страстным Воротам. И надо же так случиться. Справа, Страстным проездом, невидная в метели, вымахнула другая, пустая тройка, врезалась в пристяжную — и спуталась. Даринька вскрикнула в испуге, Вагаев ударил по лошадиной морде, тянувшейся с храпом в сани, ямщики яростно орали, лошади грызлись и бесились. Чуть левей — убило бы Дариньку оглоблей! Ничего?.. нигде?.. Совсем ничего, только испугалась, Господь отвел.

Пришлось вылезть: сильно помяло пристяжную. Даринька чувствовала себя разбитой. «Так как же, едем?..» — спрашивал неуверенно Вагаев. Стоило Дариньке сказать — нет — и не поехали бы. Но она сказала, в каком-то оцепенении: «Почему же, поедемте».

Вагаев крикнул черневшему в мути лихачу: «Давай!..» — и тут же передумал: в метель такую для Дариньки в открытых... и ехать придется врозь. Велел лихачу: «Духом! — махнул он к „Трубе“, вправо. — Гони тройку или хоть „голубков“ от „Эрмитажа“!»

Метель крутила. Даринька едва держалась, дрожала. Вагаев давал ей флакончик с солью. «Ишь крутень какая взялась, — сказал дворник в ночном тулупе, топтавшийся около господ, — о Святках навсягда так, зима ломается. А вам бы, господа хорошие, барышню вашу потише куда поставить, вон бы к монастырю, к воротам... там, в заломчике. все потише». Они взглянули к монастырю, темнеющему в метели. «Там потише, — сказал Вагаев, — а ты тройку предупреди!» — крикнул он дворнику. И они повели Дариньку в сугробах. Она шла как в дремоте, плыла над сыпучими горбами, вея шлейфом, — они ее поднимали под руки, — и думала устало, как извозила она «голубенькую принцессу», пожалуй, совсем испортила.

Они вошли в глубокий залом под Святыми Воротами и стали под синим фонариком с лампадой. Снегу намело и под ворота, но здесь было гораздо тише.

— Я так растерялся от этого происшествия, что и не подумал, как это отзовется в Дариньке, что вот укрылись под ее обитель, — рассказывал Виктор Алексеевич. — А ее это очень взволновало. Помню мертвенно-бледное лицо ее. Она стискивала мне пальцы, ловила воздух, как рыбка на берегу. Помню се испуг, и какое-то бледное очарование в глазах, и удивление, и восторг. По дрожи ее руки я чувствовал, чего ей стоит сдерживать себя. Все обошлось, наружно. А я боялся, как бы не случилось припадка, как у гробницы Узорешительницы. Она в н я л а, по-своему приняла таинственный смысл сего «прибегания под стены» и положила в сердце. Помню, как улыбнулась она мучительно, кивала, будто самому дорогому, отходившему навсегда, и прошептала, делая над собой усилие, чтобы не разрыдаться: «А тут, за стенкой, матушка Вириная наша... спят, молятся... и матушка Агния... там...» И отвернулась к продавленному стулу, на котором всегда сидела матушка Вириная. А я подумал, закончил ее мысли: «А мы куда-то в этой метели мчимся». Теперь

я знаю, что и эта сбившая нас с дороги тройка, и это укрытие от метели «под святое», и совсем уже дикая мысль погнать к «Эрмитажу» за «голубками» — все это не случайно вышло. Это тут же и объявилось, но оценили мы это гораздо позже.

Вагаев был возбужден, вздернуто как-то весел. Он попрыгивал по снежку, играл саблей, рубил сугробы. Забежал под ворота закурить, от ветра, но Даринька его сдержала: здесь же святое место. Он извинился — и в свете от фонаря увидел, должно быть, какое у ней лицо. Сразу затих, пошагал молча, вызванивая шпорами, и стал неожиданно рассказывать, как случилось однажды с ним одно веселенькое приключение. Даринька передернула плечами и сказала: «Это вы там расскажете». Она испугалась, что Вагаев начнет говорить неподходяще, как в театре. Но он, сразу поняв, чего испугалась Даринька, сказал, что приключение это особенное и можно о нем рассказывать даже детям. Она, стуча зубками, позволила: «Ну, скажите».

Вагаев начал с метели. Какая это метель, в Москве! А вот были они с приятелем в прошлом году, зимой, под Вологдой, на облаве, с солдатами. От Вологды верст на сорок ушли, медведя не видали, а как-то совершенно непонятно, при трех десятках солдат, отбились от облавы, забрались неведомо куда, в чащу несветимую, на лыжах были, и в ужасной метелице, через овраги и буераки, вышли в поле, в совершеннейшем истощении всех сил, физических и моральных. Давно наступила ночь, метель не утихала, все, что было в походных мешках, было истреблено, коньяк с ромом выпит... ложись и помирай. То было поле, и вдруг — кусты, крутит, метет, швыряет... голоса сорвали — ложись. И они повалились у кустов. Выкопали в снегу норы, и стало их заносить метелью. Приятель все о невесте думал, через неделю свадьба. А Дима... — «немножко о маме своей подумал, не о ком было думать больше». И вот когда они уже приготовились уснуть, может быть, навеки под похоронное завывание ели, пришла Диме грустная думушка, — «так, с чего-то взгрустнулось, давно не был в церкви, не слышал всенощной», и стало вспоминаться, Будто во сне являлось, как, бывало, водили его, маленького, в гвардейские казармы и как там солдаты пели «Слава в вышних Богу». Даже в голове у него отозвалось пение, под метель. Это бывает, когда завывает ветер, или в вагоне едешь, под стук колес, напевается. И вот, в метели, в свистящих воющих кустах, они оба явственно услышали благовест! До того явственно, будто вот за кустами колоколице, и дует им прямо в ухо, в грудь даже отдается. Откуда взялись силы, выскочили оба в кромешной тьме, спрашивают: «Ты слышал?» Да как же не слышать — вот! То унесет — чуть слышно, то — р-раз, как в сердце. Пошли на благовест, сквозь метель, из последних сил — «и через пять минут мы ткнулись в сугроб белой стены, у врат обители святой!». Это было спасение и великое торжество монахов. Как раз кончилась всенощная, их нашел дровосек-монах, проходивший из монастыря в дровяные сараи, тут же... «и целый сонм монахов, славные старички такие... — рассказывал Дима весело, — поволокли нас во храм, поднесли нам по стаканчику красного, церковного, — „с приездом!“-и стали служить торжественное молебнопение Чудотворцу...». Даринька схватила его руку, страшась, что будет что-нибудь непристойное о святом, и почти крикнула, «не своим голосом»: «Зачем вы смеетесь так?! Это же милость Господня была над вами... опомнитесь!..» Вагаев сразу опомнился, взглянул на нее, и на лице его просияла радость... нет: больше, чем радость. Он склонился благоговейно, искренно-благоговейно, как-то даже восторженно-благоговейно, как только самые верующие люди поклоняются святыням, и сказал уже иным тоном, сникшим: «Простите, вы правы... опять это мне урок. Это я разошелся, глупо пощеголял словечком...» — так и сказал в смирении перед ней, такого не ждал от него Виктор Алексеевич. «А там, тогда нам не до шуток было. И что же самое удивительное, — тогда меня это очень поразило, потом забылось...» И он объяснил: этот чудотворец, которому монахи пели торжественный молебен, был преподобный Дмитрий, «как раз мой тезка!». Даринька слушала его в необычайном волнении, с сияющими от слез глазами, «святостью осиянными». Она, забывшись, схватила его руку и вскрикнула: «Ди-ма!.. вы — Дима, Димитрий! Это же был преподобный, Димитрий Прилуцкий, дружок Сергия Преподобного!.. Это было же над вами Господне чудо... чудо!.. Нельзя так смеяться... Господь с вами!..» Вагаев удивился, отступил даже от нее, сказав: «Как могли вы узнать?!.. Да, это был Он, мой Ангел... я именинник одиннадцатого февраля, на преподобного Дмитрия Прилуцкого, я еще не забыл. Но откуда вы з н а е т е?!»

Даринька сказала просто: «Ах, не знаю... так, вспомнилось...» — Так это было проникновенно сказано! — рассказывал Виктор Алексеевич. — Так нежно, что Вагаев еще отступил, взглянул... Я

видел его взгляд, и у меня повернулось в сердце... нет, не ревность, а от щемящей боли, чувство тоски щемящей. Потом она все дознала: Диму действительно спас его святой, мощи его покоятся под спудом в подвологодском Спасо-Прилуцком монастыре, к стенам которого вышли оба офицера, в белые стены ткнулись. XIV век — и... Преподобный был крестным отцом детям князя Дмитрия Донского, преставился в конце XIV века и... спасал петербургского лейб-гусара, повесу-полувера XIX века! Это, и многое, я понял только много спустя. А Даринька всегда была с н и м и, в н и х, во всех веках... невидимые нити сходились в ее сердце.

Метель бесилась, металась в вихрях, вытряхивала кули небесные, швыряла снежные вороха. Из этой беснующейся мути донесся оклик: «Эй!.. э-йй!..» — и в зове бубенчиков и колокольцев, в мути от фонаря вычернились оскаленные морды ринувшихся на них коней. Лихач достал-таки «голубков» от «Эрмитажа», не парой, как обычные «голубки», а те же легкие голубые санки с серебряными витушками в колокольцах, но- праздничные, тройкой. Вагаев крикнул: «Какого че... вы там возились?!» «Да что, ваше здоровье, с землячком полпивка хватили, зави-руха!..» — весело отвечал лихач. И тут же, себе противореча, Вагаев бешено наградил «за расторопность», и лихача, и полупьяного «голубчика», крикнувшего из мути яро: «Ну-ну, барин... теперь держите меня... метель обгоним!»

Кони бесились, мешали сесть. Набежавшие лихачи держали. Дариньку усадили в мягкое, кто-то укутывал ей ноги, кто-то ласкал ей руку, — все пропадало за метелью. В гомоне голосов и ветре до нее долетело смутно, как мерно начали бить часы. В секущей мути пропали крики: «Не пропади, Никашка!» — все закрутилось в вихре, бульканье бубенцов и колокольцев. Мчались — сияли пятна, стегало снегом, душило, секло. Кто-то шептал: «Чудесно!..», кто-то сжимал ей руку, кого-то сшибли... — «держи-иии... и-и-!» — все пролетало мутью. Крикнуло пьяным ревом: «С Питера шпарит, в рыло... авось не сдунет, р-роди-мы-и-и-и!..» У заставы трягнули палисадник, махнули за канаву, через тумбу, вымахнули куда-то — попали враз, куда и следовало попасть... — «и-йех, по-пи-и-тер-скай-ай-д-по-доро...» — ни мысли, ни слова, ни дыхания: бешеный гон, мельканье...

XVII МЕТЕЛЬНЫЙ СОН

Бешеный гон на тройке остался в памяти Дариньки безоглядным мчанием куда-то в прорву, и в прорве этой не было ничего ужасного: захватывающий восторг — и только. Так и остался бешено-дробный говор:

Не шумят, не гремят,
Лишь копытца говорят.

Из налетевшего мутного пятна выключнулся фонарь, прыгнула на свету серебряная дуга с задранной конской мордой, подскочили молодчики в поддевках, бережно подхватили под руки, бережно раздевали, провожали в нагретые покои с остро-икорным духом в букете вин, — в светлую залу с зеркалами, со спущенными шторами в подборах, с кубастыми свечами в хрустальных люстрах, многолюдно-нарядную, с белоснежными столиками в огнях, с эстрадой в елках, заляпаных небывалыми цветами, с «боярским хором» в кокошниках, с Васей Орловым — запевалой:

Как по той ли по метели
Тройкой саночки летели...

Степенный и обходительный хозяин радушно приветствовал: «Давненько, ваше сиятельство, не навещали», мигнул белому строю половых, действуя больше пальцем, — «особенно заняться», и усадил сам «спокойненько и поближе к песням, у камелька». Стол был парадный, под образом в золотом окладе с теплившейся лампадой. С метельной ночи приятно было попасть в уют, слушать с детства знакомое -

Мимо темного бору,
К Акулинину двору...

В глазах Вагаева не было прежней настойчивой и пытливой ласки, так волновавшей Дариньку: он

казался рассеянным. Она подумала, отчего с ним такая перемена... мысленно повторила удивленный вопрос его: «Как вы могли узнать?!» — вспомнила рассказ его о чудесном спасении в метели. «Вы необыкновенная... — сказал неожиданно Вагаев, как бы продолжая тот разговор, под святыми воротами, в метели, будто о нем думал, — провидица вы... и знаете?.. — мне теперь стыдно многого, что во мне, что вы можете как-то знать...» — сказал он просто, без привычного щегольства словами. Она недоверчиво взглянула и поняла, что он говорит искренно. И ей стало легко, приятно, не страшно с ним. «Какая провидица, недостойная я... просто знаю немного о святых и...» — «И можете т а к влиять! ваши у р о к и я запомню, — сказал Вагаев, всматриваясь в нее, — особенная вы...» — «Да, она может влиять...» — мимоходом сказал Виктор Алексеевич. Разговор как-то не клеился. Даринька этого не замечала, глаза ее дремали под улыбкой, как у детей.

— С Димой, кажется, не случилось этого... подобной... как это... ну, вдумчивой, что ли, серьезности с женщинами, — вспоминал Виктор Алексеевич, — и его озабоченность, необычная для него «раздумчивость» в разговоре с Даринькой у «Яра» меня смутила. Не ревность была во мне. а... почувствовал я тогда впервые, что в нем рождается какая-то близость т ней, что он слышит особенное в ней, чарующую «тайну», что выше всех женских прелестей, что покоряет мужчину, держит, влечет и не отпускает, пока эта «тайна» не раскрыта. У редких женщин бывает это... «тайна» Обыкновенно тает, как только женщина «раскрывается» телесно. Но если э т о — душевное, тогда она поведет за собой до конца.

В Викторе Алексеевиче была не ревность, — он был крепко уверен в Дариньке, а «тревожащее томление», неопределенно пояснял он, «или, если хотите, ревность, но ревность знатока, которому досадно, что есть другой, постигающий прелесть „вещи“, ценность которой только ему, знатоку, „понятна“.»

Конечно, надо начать шампанским: это подвигивает, и Дарье Ивановне необходимо, она прозябла. Разнеженная теплом и мыслями, Даринька выпила шампанского. Все было вкусно, как никогда: и свежая икра с теплым калачиком, и крепкий бульон с гренками, и стерлядка на вертеле, и особенно рябчики, сочно-румяные, пахнувшие смолистой горечью; и страстно и грустно вопрошавший «долюшку» запевала-тенор, бледный и испитой красавец, с печальными глазами, в боярском платье, в мягких сафьяновых сапожках:

Али в поле, при долине,
Диким розаном цветешь?
Аль кукушкою кукуешь,
Аль соловушкой поешь?

За окнами шла метель, чувствовалось ее движение. «А вы устали...» — «Да, немножко... столько — ив один вечер!» На столе звякало, менялось, чокались звонкие бокалы, похлопывали пробки. «Княжеский кабинет оставлен-с, барон Рихлингер еще раньше-с прислали лихача с запиской-с!» — «Дядюшка просто трогателен. Дарья Ивановна, позвольте?.. но это же совсем немного, и сразу освежитесь?..» — «Это зачем ведут?..»

Половые вежливо выводили какого-то во фраке, сучившего кулаками на красивую даму в красном, с полными голыми руками. Так, скандальчик, «арфисточку» обидел пьяный. Даринька не понимала: «Арфи-сточ-ку?..» — «Прелестницу», — пояснил Виктор Алексеевич. Даринька смутилась. Вагаев предлагал перейти в «княжеский», там покойнее. Запевала опять выносил, тоскливо-страстно:

Ах, очи, очи голубые,
Вы иссушили молодца!..
Ах, люди. люди... люди злы-е!..

Цыганки? А вон они, по столикам, в ярких шалях. Все тут знакомые, Нет, эти совсем другие, не бродяжки, а чистенькие, с хорошими голосами, все одеты по-модному, только в глазастых шалях, и камни на них самые настоящие. А вот, в позументовых кафтанах, с забросом на спину, — это певцы-чавалы.

Зачем разрознили сердца?!..

Это бедный Вася Орлов, в чахотке. Ему выходило в оперу, князь Долгоруков полюбил и обещал устроить, да вышел такой роман... влюбилась в него одна великосветская барыня, каждый вечер сюда катала... ну, он — ответил взаимностью, а через двадцать четыре часа нашли беднягу в глухом переулке, на Башиловке, с отбитой грудью. Теперь допевает «очи». Даринька встретила взгляд Вагаева и смутилась. Боярский хор уступил цыганам. Боярышни разошлись по столикам. Цыганки сели степенно, на стульях, полукругом, туже стянули шали и стали неподвижны, как изваяния. Чавалы стали за ними. Вышел пожилой жилистый цыган с гитарой, блеснул зубами, ожег глазами, поднял над головой гитару... и вдруг — тряхнул, будто швырнул об землю:

Семиструнная гитара

В сердце стонет и звенит.

Славный хор поет у «Яра»,

Он Любашей знаменит!

Гортанные голоса рванулись в бешеный перебор гитары:

Гей, вы, кони удалые,

В бубенцах и гремь, и звон!

Гей, цыганки молодые,

Выходите на поклон!

Цыганки, смуглые и сухие, с темным огнем в глазах, поднялись и истово поклонились залу. В зале стали кричать: «Зацелуй меня до смерти!» «Снова я слышу голос твой!» — и кто-то, пьяный, требовал настоятельно: «Чем тебя я огор-чи-л-ла!..»

Худенькая, в зеленой шали, тряхнула изумрудными серьгами, взяла гитару. Это была Любаша. Уронив шаль с плеча, черным огнем блеснув, истомно изогнувшись, она щипанула струны замирающим рокотом, еще щипанула и защемила в стоне... — и повела непонятно — низко, глухим рыданием:

Скаж-жи... зачѐм тѐбя я встрѐ-тил,

За-чем... тѐбя я полюбыл?..

Зачѐм твой взор... улыбкой мне ответил?..

Подчиняясь зовущей силе, Даринька подняла ресницы — и встретила взгляд Вагаева. Взгляд вопрошал, как песня: «Скажи, зачем тебя я встретил?» Она не ответила улыбкой: опять смутилась. Вагаев налил себе вина.

И сэрдцу... му-ку... пода-рыл?!..

Цыгане еще пели, когда подошел барон. Он запоздал, после мазурки надо было проводить несравненную. Перешли в кабинет, позвали цыган, и началось светопреставление. Барон всех поразил приступом небывалой щедрости, за «чарочку» награбил по-царски, затребовал две дюжины шампанского, за песню давал по сотне, требуя «самых жгучих». Склонялся к Дариньке, просил ручку, смотрел в глаза, называл «ангел — жемчужина», напевал «зацелуй меня до смерти». Было смешно и глупо. Приметив, как хрупают Даринька жареный миндалики и фисташки с солью, затребовал «целый короб». Объяснил грубую картину- «Леда», не очень-то пристойно, и даже спел из какой-то оперетки: «Вот, например, моя мамаша, как стал к ней лебедь подплывать... тат лебедь был моим папаша...» Вагаев взял его под руку и под каким-то предлогом отвел от Дариньки. Виктор Алексеевич сдерживался.

— Во мне еще оставалось почтение к барону от детских лет, да и безвредно было, к Дариньке ничего не прилипало, — вспоминал он. — Тревожило меня не это, а... что вот Даринька разошлась с шампанского, глаза у нее играли, она даже смеялась истерично... и я боялся, как бы не кончилось слезами, что бывало.

Барон не унимался, схватил гитару и запел «гусарскую... ее мой Димка всем своим женщинам всегда пел, а... теперь почему-то не поет!» Вагаев только плечами вскинул. Сюсюкая и

гримасничая, подгулявший барон тщился изобразить «невинный лепет»:
Холос делевянный гусальчик!
Гусальчика, ма-ма, купи-и!..
Не хочешь ли, душечка, ла-льчик?
Гу-саль-чика... ма-а: а-а-ма-а... купи-ии!..

«Нравится жемчужине?» — спросил он Дариньку. Она не ответила и отодвинулась. Он не унялся и стал пояснять, что это не про гусарчика — он нравится-то, а про «невинный лепет». Пожилая цыганка спросила князя: «Что ты, князинька, золото мое, такой что-то невеселый?» Барон крикнул: «Не в ладах с любовью у Димочки!» — и завертелся волчком, все даже ахнули — до чего живой. Он был круглый и низенький, совсем лысый, только осталось на височках колечками, будто седые рожки, — «как у силена», — так говорил Вагаев. Барон вдруг вспомнил: а где же Глашенька? В Киеве, вышла за богача, выкупил из табора за сто тысяч. Барон сказал: «Дешево за такую птичку, я дал бы двести». Пожилой цыган засверкал зубами, тряхнул гитарой и приказал Любаше: «Любимую!» Любаша встала перед бароном, совсем склонилась смуглым лицом к нему и, изогнувшись в неге, дразня его, пропела:

Па-дари мне, молодец,
Красные сапожки!
Раз-зорю тебя вконец
На одни сэр-режкн!..

Получив сотенный, она небрежно сунула его за корсаж, подошла к Дариньке, заглянула в глаза и сказала раздумчиво, любуясь: «Ах, красавица... где родилась такая! давай, светленькая, выпьем слезы цыганской!»

Красный кабинет с пылающим камином, атласные диваны, картины веселого соблазна... — ходило и качалось. Разгорячившиеся цыгане гейкали, гортанно гремели «крамбамбули». Вагаев поманил Любашу, сунул ей за корсаж бумажку и попросил спеть еще «Скажи, зачем...». Она мотнула сережками: «И что тебе, радость-князинька, сердце томить...» — взяла гитару и спела не так, как всем, а как, бывало тому певала, «кого любила, да в сердце схоронила»:
Скажи, зачэм тэбя я встрэ... тыл?

«Не пора ли, четвертый час?» — спросил Виктор Алексеевич Дариньку. Она томно-устало улыбнулась и поднялась. Барон заполошился: «Нет, в „Молдавию“, там знаменитая гадалка Мироновна, князь Долгоруков ездил!» Ну, в «Молдавию», по дороге. Когда проходили залой, повеселевший «боярский хор» пустил разгонную — «Сарафанчик». Певица, в сбившемся набекрень кокошнике, показывала разорванный сарафан и притворно-растерянно тянула:
Я играла, как дитя,
И в светлицу, до рассвета,
Возвращалась, только где-то...
Разорвала... не шутя...
Сара-фанчик... расстеган-чик...

Метель не утихала, снег продолжал валить. В Грузинах еще светился цыганский трактир «Молдавия». Пахло мясными щами, всем захотелось есть. Выпили водки, послали за гадалкой, Вагаев ходил — насвистывал. Спросил Виктора Алексеевича: «Сегодня, курьерским... так?» Пришла Мироновна, старая безобразная цыганка, раскинула затрепанные карты, особенные, гадальные: за туза был толстый зеленый дьявол, с лиловым язычищем, прыгали чертенята, и бесовки, и всякие странные фигурки. Барону выгадалась «тяжелая дорога», Виктору Алексеевичу — «путаные заботы, тяжелая болезнь...». Вагаев сказал Дариньке, в сторонке: «Бледная вы какая, утомились...» Она вздохнула. «Во мне так и останется, навсегда... — продолжал он взволнованно, — как вы т о г д а, у монастыря, сказали „Дима“... случайно вышло, но... как ласково вы сказали!» Она повторила без выражения, устало: «Случайно вышло». Теперь гусару Вагаеву нагадалась «далекая дорога, а назад... и дороги нет». Даринька гадать не стала, как ни просил барон. Старуха все-таки стала раскладывать. Даринька крикнула: «Не хочу!» Вагаев смахнул карты, бросил цыганке деньги, и пошли, — «чушь какая!». Прощаться еще рано, на Старую Басманную, кофе

пить! Барон упрашивал, даже умолял, просил Дариньку: «Все зависит от вашей воли!» Пришлось исполнить его каприз, захватить «на четверть часика».

Темный дом осветился, забегали лакеи. Барон преобразился, светски-предупредительно водил Дариньку по залам и гостиным с мраморами в углах, показал «венетские зеркала, в которых женщины еще больше хорошеют», картинную галерею, библиотеку и привел в зимний сад, под высокие стекла — «на песочек». Даринька двигалась как во сне. Подали в сад коньяк и кофе.

Посещение это оставило след тяжелый.

— Произошло не «явление дьявола», конечно, — рассказывал Виктор Алексеевич, — а некая «абберация». Гадалкины карты с этими... Даринька говорила, что она вся дрожала у гадалки. Когда мы пили кофе под пальмами — надо сказать, что сквозь листья светила лампа, — Даринька странно вскрикнула, выбросила перед собой руки, словно оборонялась, и вдруг упала. Случился глубокий обморок. Все растерялись. Дома она успокоилась, перестала дрожать, помолилась у себя и рассказала мне, что видела страшное: барон предстал перед ней в виде зеленого дьявола, как на гадалкиных картах, скалился, показывал фиолетовый язык и смотрел на нее такими ужасными глазами, что у нее не хватило сил. Она была твердо уверена, что сам дьявол явился ей, «угрожал». Во всяком случае, это было «знамение». Случившееся с бароном после косвенно это подтвердило.

Даринька спала долго, крепко. Виктор Алексеевич все приготовил для отъезда. Метель не переставала. Снегу навалило столько, что когда воротились они перед рассветом, Карп не скоро мог откопать калитку, а крылечко было завалено сугробом до карниза.

Шел шестой час, и Виктор Алексеевич решился разбудить Дариньку: поезд отходил в половине девятого, Она проснулась разбитая, ужаснулась, что он сейчас уедет, и заявила, что непременно поедет провожать.

Послали за лихачом к Страстному, Карп вернулся с знакомцем Прохором, но тут куда-то за сунулась важная бумага. Все перерыли и, наконец, отыскали в какой-то книге, которую накануне читал Виктор Алексеевич. На Мясницкой часы на телеграфе показали, что до отхода поезда оставалось десять минут всего, — по такому тяжелому снегу опоздаешь. Часы Виктора Алексеевича вчера остановились, он поставил на «приблизительно» — и забыл. Прохор пустил вожью, рысак утопал и засекался. На Николаевском вокзале стрелка на светлом круге показывала 28 минут 9-го, когда они подлетели в вихре. «Третий звонок сейчас, не успеет барин», — сказал носильщик. Виктор Алексеевич наспех поцеловал Дариньку, велел — домой, бросил носильщику чемодан и побежал, крича на ходу: «Не надо билет, бегом!» Перед его фуражкой распахнули стеклянные двери на платформу, и как раз ударил третий звонок. Обер-кондуктор готовился пустить веселую трель свистком, когда Виктор Алексеевич вскочил на подножку вагона: носильщик за ним сунул чемоданчик. Добежавшая Даринька увидела, как стукнулись вагоны, густо засыпанные снегом, как побежали скорее, замелькали, как засветился и потонул в метели красный огонь хвоста.

В переполохе она потеряла голову, не знала, куда идти. Начальник станции услужливо проводил ее. В пустом вокзале она почувствовала себя покинутой. Вспомнила, что ее ждет Прохор: Виктор Алексеевич распорядился отвезти барыню домой. Она перекрестилась и пошла к выходу. На фонарях подъезда косо мело метелью, дальше мутно темнели лошади. Она остановилась на ступеньках, высматривая, где Прохор, хотела позвать носильщика, но в это время послышался мягкий знакомый звон, и знакомый голос — голос Вагаева, сзади нее, сказал растерянно: «Опоздал...» Ее пронзило искрой, как вчера вечером, в театре, когда в ложу вошел Вагаев. Теперь он стоял перед ней, в снегу, почему-то трясся фуражкой, растерянный и бледный, как никогда, смотрел на нее восхищенным и робким взглядом и нерешительно повторял: «Опоздал... простите...» Она смутилась и не находила слова. Он понял ее смущение и, как всегда, когда видел ее такой, сказал легким, непринужденным тоном: «Так случилось, придется завтра... позвольте, я провожу вас домой?...» Она нерешительно сказала: «Нет... со мной наш Прохор... найдите его, пожалуйста». Но Прохор из темноты приметил и подкатил: «А вот он, Прохор!» Вагаев помог ей

сесть, бережно застегнул полость, отступил на шаг и козырнул почтительно, стараясь уловить взгляд. Она кивнула, не посмотрев, досадуя на себя, что так смутилась. Уже из темноты, в метели, обернувшись, увидела она, что он все еще па ступеньках, чего-то ждет. И ей стало легко и радостно.

XVIII ОБОЛЬЩЕНИЕ

— После моего отъезда в Петербург с Даринькой произошло странное... — рассказывал Виктор Алексеевич, — как бы утрата воли. В те дни она жила как во сне — так она называла свое душевное состояние. И раньше с ней бывало, вдруг находило на нее оцепенение, и она часами не произносила слова, пребывала г д е — т о... — раз только она загорелась полной жизнью, на миг какой-то, после памятной панихиды на могилке матушки Агнии, — а тут, оставшись одна, она почувствовала, что... «отдана во власть темных сил». И не только это. Она не скучала по мне, а если вспоминала, то всегда с раздражением, обвиняла меня, что я отнял у нее покой, взял из обители и предал «прелестям», сделал ее своей игрушкой. Отчасти она была права, я не наполнял ее духовно. Помню, во время ее болезни начал я ей читать «Онегина» и не дочитал, хотя ей и нравилось. Словом, в ней совершался какой-то очень сложный душевный перелом, как я определял тогда, а она это называла «попущением» или «искушением». Началось это «попущение» особым з н а к о м — «явлением дьявола под пальмой», у барона. Тогда это мне казалось смешным и детским. Впоследствии понял я это глубже. Духовный опыт отшельников всех веков хорошо знает эти «явления» и «попущения». Все мы знаем классический образ попущения, из книги Иова: «И сказал Господь: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги».

В «записке к ближним» Дарья Ивановна писала: «Темное во мне творилось, воля была вынута из меня, и сердце во мне окаменело. Проводив Виктора Алексеевича, я отвернулась от него с озлоблением. В те дни я не могла молиться, сердце мое смутилось, и страсть обуяла тело мое огнем».

Было же по рассказам вот что.

Когда Вагаев растерянно сказал Дариньке у выхода с вокзала: «Опоздал, простите...» — она сразу подумала, что это была уловка, чтобы остаться одному с ней, что это умышленно им подстроено, один из его приемов «опасного оболъщителя», о чем много рассказывал ей Виктор. Алексеевич и этим очень смущал ее. Сразу она сомлела, испугалась, но как-то собралась с силами и хоть и нерешительно, но отклонила любезное предложение Вагаева проводить ее, и ей стало легко и радостно, словно она избежала большой опасности.

Проход выпил, держал себя развязно, часто к ней оборачивался, подмигивал, пробовал даже утешать, что, мол, мало ли хороших господ... один отъехал — другой подъехал! «Ну, проводили, барыня, хозяина — и ладно, скучать не надо, гуляйте себе на святках... во как вас прокачу — размыкаю!..» И пустил вовсю. Метель утихла, сеяло снежком, теплело. «А вы, барышня, главное дело, с ними строже... — болтал Проход, сдерживая рысак, — капитал требуйте. Энтот вон офицер — богач, князь, деньгами швыряется, строже с ними!..» Слова пьяного лихача кинули Дариньку в жар и стыд и подняли в ней большие мысли. Все ее принимают за т а к у ю... и пусть, не мужняя жена, т а к а я. Она вспомнила ласкающие глаза Вагаева, стройную его фигуру, как он стоял на лестнице вокзала без фуражки, смотрел ей вслед. Ей было его жалко. Думала, что ему, должно быть, очень больно, что она так резко отказала ему, не позволила проводить ее: «Нет... со мной наш Проход, позовите его, пожалуйста...» — будто оборвала знакомство. Он ее несомненно любит... и он свободный, и она свободная, мог бы на ней жениться... он всегда был предупредителен и вежлив, а она даже не поблагодарила за любезность. Даринька вспоминала, какой он был задумчивый у «Яра», как говорил ей: «Вы — необыкновенная... вы — святая...» Святая!.. Вспомнила про чудесное избавление его от смерти... «Он хороший, у него сердце доброе, и преподобный его хранит», — думала она, и ей показалось знаменательным, что «чудо в метели», которое случилось с Димой... — она так и назвала его в мыслях ласково — Дима... — произошло у монастыря и в метель, и он рассказывал ей об этом тоже у монастыря и в метель. Вспоминала о

нем, и сердце ее томилось жалостью. «Почему мне его так жалко, как никого еще? — спрашивала она себя. — Неужели я его... люблю?..» И ей стало и стыдно и хорошо от этой мысли. «Хорошая у него душа, он славный...»

«А барин-то упредили нас, на призовом-то! — крикнул Прохор, тыча куда-то пальцем, — Лошадь какую не жалеют, режут!..» Даринька осмотрелась и удивилась, как скоро они доехали. Дымься выступал тяжело из переулка огромный вороной конь, с кучером в позументовой четырехуголке, Даринька поняла, про кого сказал Прохор, и ею овладела и оторопь и радость Она заторопилась, дернула Прохора за армяк, сказала что-то невнятное: «Погоди, не надо...» — но Прохор не понял или не слышал, что она хочет сойти до переулка, подкатил к самому парадному и крикнул: «Эх, ваше сиятельство, знал бы, что на обгон пойдет... нипочем бы вашему Огарку не удал... разве что за барышню поопасался бы, потеряешь!..» Даринька увидела Вагаева. Светясь пуговицами, он стоял в глубоком снегу под фонарем. Он подбежал, откинул полость, что-то сказал про снег и ловко перенес Дариньку на крыльцо, не успела она опомниться. Сунул бумажку Прохору, и лихач отъехал, пожелав им «счастливо оставаться».

Даринька почувствовала слабость и онемение во всем теле, не могла ни говорить, ни двигаться. Прислонясь к двери парадного, она смотрела на топтавшегося в снегу Вагаева, который снял с себя голубой шарфик — этот шарфик ей нравился, — и обивал им снег с бархатных ее сапожков. Смотрела и боялась, как бы Вагаев не пошел за ней в дом и как бы не увидел их Карп. Вагаев спросил, куда позвонить, в ворота или в парадное. Даринька в испуге прошептала: «Нет, ради Бога... прощайте...» Она хотела сказать, что лучше ему уйти, боялась, что Карп увидит, но Вагаев не понял или не хотел понять. «Почему вы говорите — прощайте? — спрашивал он. — Вы жестоки и несправедливы ко мне, за что?»

Она топотала на крылечке, словно у нее застыли ноги.

«Вы замерзли, я сейчас позвоню и не буду надоедать вам...» — сказал Вагаев и протянул руку — позвонить. «Нет, нет... не надо, я пробегу двором, наша старушка спит...» — остановила она его. Он взял ее руку, придержал и стал торопливо говорить, что просит у нее только одну минутку, и она сейчас все поймет. Она сказала, что она вовсе его не гонит и ей не холодно. Он взял ее руку в свои ладони, гладил и пожимал, словно хотел согреть, и стал путано говорить, — она чувствовала, как он волнуется, — чтобы она не думала, будто он ослушался ее воли, все-таки проводил ее. Это совершенно случайно вышло, и он счастлив, что вышло так! Он никак не предполагал, что приедет раньше и попадет ей на глаза: он нарочно велел ехать кружным путем, Садовыми... хотел лишь удостовериться, что она доехала благополучно, думал только взглянуть на окна, увидеть, может быть, тень ее... «Поверьте же, ради Бога, что это неумышленно!» Она отняла руку, но он поймал другую. Она насторожилась: как будто скрипнуло на дворе, не Карп ли. Забылась — и шепнула совсем по-детски: «Кажется, Карп?..» Вагаев сделал испуганное лицо и спросил: «Это что-нибудь очень страшное?» Она сказала, что это их старый дворник, очень строгий, богобоязненный и хорошей жизни, и всегда читает священное. Вагаев трогательно сказал: «Милая вы какая!» Ей стало совсем легко, когда он сказал так, трогательно и ласково. Она сказала, что верит ему и не сердится на него, и совсем неожиданно спросила, чуть с усмешкой, что его очень удивило, он даже отшатнулся: «Вы хотели ехать вместе — и опоздали... это тоже случайно, да?» «Как?! Разве вы не получили телеграмму?! — спросил он с искренним удивлением... — значит, ее принесли без вас, она, конечно, там...» — показал он к окнам.

И объяснил, что в самую последнюю минуту, когда он уже приготовился ехать на вокзал, барон получил депешу от управляющего, что вчера на Орловском конском заводе произошел пожар, и просил выехать в орловское имение для осмотра и распоряжений, и он завтра же утром едет, дня на два. Он сейчас же послал телеграмму Виктору, ехал на вокзал, чтобы проститься и проводить ее.

«Ну, чем же я провинился перед вами... скажите — чем?!» — спросил Вагаев с такой нежностью и мольбой, что у Дариньки захолонуло сердце. Как бы забывшись, он согревал дыханием ее руку и пожимал в ладонях. Даринька поглядела на него с нежностью, коря себя, что думала о нем так

дурно, а он совсем и не виноват, и прошептала взволнованно: «Нет, я перед вами виновата... я дурно о вас подумала...» «Вы подумали, что я... умышленно опоздал, чтобы?.. — закончил Вагаев взглядом, — Да, я не могу скрыть от вас... каждая минута с вами для меня блаженство... но тут я неповинен. Я провинился в другом... — продолжал он, — опоздал проводить вас, встретил уже на выходе... и еще провинился... перед судьбой...» И он значительно замолчал. «Перед судьбой?..» — переспросила, не понимая, Даринька.

Вагаев старательно растирал снег, позванивая шлоркой. Быстро взглянул на Дариньку и сказал с горечью:

«Вы з н а е т е, что я хочу сказать... Я провинился перед собой... опоздал вас встретить, встретил вас слишком поздно в жизни... — и наказан!..»

Даринька взволнованно смотрела, как Вагаев отстегнул пуговку ее перчатки, не спеша отвернул повыше кисти, как на беггах недавно, и поцеловал под ладонь, нежно и продолжительно. И не отняла руки.

«Одну секунду... — сказал Вагаев, видя, что она заторопилась, — я вернусь через два дня... разрешите перед Петербургом заехать к вам, какие-нибудь поручения... Позволите?..»

Она безвольно сказала «да». Вагаев взял другую ее руку, так же неторопливо отстегнул пуговку и, нежно смотря в глаза, поцеловал под ладонь, и выше.

«Вот и Огарок н а ш... — сказал он на подходившего рысака. — Вы помните?..»

Она кивнула молча. Он повторил, что заедет через два дня, еще поцеловал и ту, и другую руку, шагнул в низкие саночки и послал ей воздушный поцелуй.

Даринька не молилась в эту ночь. Не раздеваясь, она пролежала до рассвета в оцепенении, в видениях сна и яви, сладких и истомляющих.

XIX МЕТАНИЕ

Даринька не могла простить себе, что в те безумные дни она совсем забыла о Викторе Алексеевиче- «словно его и не было». И еще мучило ее: все ли она ему сказала. Она сама не знала, что действительно было с ней и что ей только «привиделось», Как она сама говорила, она «металась» от яви в сны. В «голубых письмах» Вагаева из Петербурга были какие-то намеки, он называл ее «самой близкой ему из женщин, кого он знал», даже «вечной женой, отныне ему данной», и эти намеки мучили Виктора Алексеевича. Даринька не могла объяснить ему и только страдальчески глядела «вовнутрь себя», словно старалась вспомнить.

— Она не умела лгать, — рассказывал Виктор Алексеевич, — Так все переплелось в те дни, столько всего случилось, столько было и лжи, и клеветы, что не только ей, юной, склонной к «мечтаниям», — ей тогда и девятнадцати еще не было! — а и мне, трезвому реалисту, нелегко было разобраться. Осталось во мне, что какие-то с и л ы играли нами, громоздили на нас «случайности» и путали нами нас же. Только много спусти познал я, что по определенному плану и замыслу разыгрывалась с нами как бы... «божественная комедия», дух возвышающая, ведущая нас к духу Истины... творилась муками и страстями, и темные силы были п о п у щ е н ы в игру ту.

В «записке к ближним» Дарьи Ивановны есть такие, наводящие на раздумье, строки:

«Что содеяно было мной, и в чем я духовно согрешила? Когда явлено было знамение и я замкнулась в „детской“, он вынужден был уйти, и мы не встречались больше до последней, „прощальной“ встречи. Почему же он еще в московском письме писал: „Вы знаете, что отныне вы мне жена?!“ Я никогда не была его, это он написал в безумии. Во сне мне... или ему во сне? Не

помню, никогда я ему не обещалась. „Господи, пред Тобой все жаление мое, и воздыхание мое от Тебя не утаится“».

По рассказу Дариньки. по ее покаянию перед Виктором Алексеевичем, можно восстановить довольно точно, что было в эти «дьявольские дни». как называл их тогда Виктор Алексеевич, — «сам весь в грязи».

Расставшись на крыльце с Вагаевым, Даринька дома нашла депешу и убедилась, что он остался в Москве без умысла. Не раздеваясь, она пролежала до рассвета, в видениях сна и яви.

Было еще темно, когда она очнулась.

В захлестанное снегом окошко спальни мутно светил фонарь: окошко не было занавешено. В столовой Карп громыхал дровами, топил печи, и Даринька поняла, что наступает утро. И вспомнила, что она одна, и Вагаев влюблен в нее. У Казанской не теплилась лампадка: забыла ее поправить. Даринька потянулась за чулками- и вспомнила, что не раздевалась: все путалось, будто и ночи не было. Зажгла свечку и стала прибираться в комнате. Измятая депеша, шубка и перчатки на постели, открытый одеколон... — смущали ее и говорили, что Вагаев влюблен в нее. Было и радостно и страшно. За чуть синевшим окном проехал неслышно водовоз, — как высоко сегодня... сколько же снегу навалило! На лице было неприятно, липко, как после слез, хотелось скорей умыться ледяной водой, с льдышками. Убиравшая комнаты старушка спрашивала, что готовить. Дариньке не хотелось думать, — ну, что-нибудь. Утираясь перед окошком в зале, она увидела в боковом зеркальце крылечко в снегу, со следами от каблуков, и что-то голубое... — шарфик?! Она побежала на парадное, с трудом отпихнула дверь, заваленную снегом, и вытащила из-под снега смерзшийся и замятый шарфик Вагаева, которым он обивал с ее сапожков снег вчера. Огляделась — и спрятала на груди. Воздух был острый, тонкий. Она постояла на крылечке, радуясь на зиму, глухую, дыша привольем, и вдруг Карп ласково испугал, из-за сугроба: «Еще простудитесь!» Даринька побежала в спальню и спрятала в надушенный шарфик разгоревшееся лицо.

После чая она заставила себя пойти в «детскую», — совсем о ней забыла! — помолилась глазами на иконы и увидела пальцы с начатой и оставленной работой. Окошко в сад совсем завалило снегом, в комнате было мутновато. Дариньке показалось, что василек синелью выходит бледно, надо распарывать. Взяла моточки голубенькой синели, прикинула у света, — нет, что-то бледновато, надо поехать в город. В саду прыгала в валенках девчонка из приюта, взятая помогать, проваливалась в снег и ухала. Даринька вспомнила про каток под яблоней, — она недавно выучилась кататься, — и крикнула в форточку девчонке, чтобы тащила скорей лопаты и метелки, — каток расчистим. Пошла одеться, а тут позвонили в парадном, и Карп принес записку, — привез незнакомый кучер, от вокзалов. Это прислал Вагаев, писал с вокзала: «Уезжаю дня на два, на три, но сердце у вас оставил». Даринька постояла у окошка, закрыв.

Девчонка звала: «Барыня, да пойдете!» Даринька пошла, посгребала немного снег, повозилась в снегу с девчонкой, снежками покидалась, и вдруг показалось скучно. Надумала — за синелькой в город. Только оделась, покрасовалась в зеркале, как опять позвонили в парадном. Да кто такой? Заглянула в окошко: у подъезда стояли высокие сани, парой, буланые лошадки... на таких приезжал на Рождество гусарчик! Карп сказал, что приехал от барона Ритлиндера человек из конторы, справляется про ее здоровье, и не будет ли каких распоряжений. Даринька растерялась, не знала — какие распоряжения?.. Карп смотрел что-то неодобрительно и дожидался. Даринька метнулась... «Какие, я не знаю... ну, позови...» Человек вертляво поклонился: «Господин барон прислали, не будет ли распоряжений, велено так спросить-с... куда, может, изволите поехать?» Даринька сказала, что благодарит барона, но ей ничего не надо.

Она съездила в город за синелькой, прошлась в Пассаже, но там ее напугали какие-то щеголи в цилиндрах: все преследовали ее и все предлагали «прокатиться». Она в страхе от них метнулась, но заметивший это какой-то совсем незнакомый офицер услужливо предложил проводить ее от этих нахалов до извозчика, вежливо усадил, даже заметил номер и козырнул, сказавши: «Вы прелестны, сударыня!»

Вернувшись домой, она увидела у крыльца ту же пару буланых и вертлявого молодца, который о чем-то болтал с Карпом. Молодец развязно поклонился, чего-то ухмыляясь, и подал в открытом конверте карточку. Даринька прошла в дом, в волнении прочитала: «Барон Александр Адольфович Ритлингер, почетный опекун, — и пониже, чернилами, — кланяется и просит располагать человеком для поручений и экипажем во имя дружбы», — смутилась, вышла на парадное к молодцу и велела сказать барону, что очень благодарна, но, право, ей ничего сейчас не надо. Человек сказал: «Слушаю-с, барышня, как вам угодно-с... а то можем и подождать, чего, может, надумаете-с?... — и все почему-то ухмылялся. Даринька вся смутилась, взглядом спросила Карпа, но тот, показалось ей, смотрел что-то неодобрительно.

Стало смеркаться, Дариньке стало скучно, и она попросила старушку сходить за Марфой Никитишной, просвирней: просвирня умела хорошо рассказывать и знала разные старинные стишки и песни. Сидела и мечтала в сумерках, вспоминала, как ездили в театр, все хотела вспомнить стишки, которые ей шепнул тогда Вагаев, что-то такое про любовь? Помнила начало только; „Любви все возрасты... подвластны...“ А как же дальше? Помнила, что стишки были из „Онегина“, про которого ей читал во время ее болезни Виктор Алексеевич. Она отыскала книжку в знакомом переплете, красное с золотом, с пятном от пролитого лекарства, — это она запомнила, — нашла „Онегина“ и стала искать стишки. Стишков было очень много, одни стишки, но „про любовь“ все не находилось. Встретила „Письмо Татьяны к Онегину“, вспомнила, что было интересно, и зачиталась. Несколько раз взволнованно перечитала:

Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала,
И в мыслях молвила: „Вот он!“
И потом дальше:
Кто ты: мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель?
Мои сомнения разреши.

Пришла просвирня, но теперь было не до нее, Даринька напоила ее чаем с тянучками, — она их и сама любила, — сказала, что... очень устала что-то, — и это была правда, — замкнулась в спальне, прилегла и стала читать дальше. Многого не понимала, но было очень-очень интересно, „сказать нельзя, как интересно!“ Наконец, уже глубокой ночью, ей попало:

Любви все возрасты покорны:
Но юным, девственным сердцам,
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям.

Заложила бумажкой на странице. Дальше ее захватило еще больше:

Сомненья нет: увы! Евгений
В Татьяну как дитя влюблен.
Замирая от счастья, от тоски, читала и читала:
К ее крыльцу, к стеклянным сениям
Он подъезжает каждый день;
За ней он гонится как тень.
И плакала, читая стишки, напоминавшие ей про матушку:
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

Даринька перекрестилась на икону Казанской — благословение матушки Агнии, и с ужасом увидела, что опять не оправила лампадку. Оправляла, а слезы текли, и она утирала их рукавом, не зная, о чем плачет: мешались в ее сердце боли.

Я вас люблю — к чему лукавить?
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Читала долго, пока не погасла лампа.

В те дни чтение стихов стало для нее томительной усладой.

Утро — это был последний день старого года — началось тревожно; позвонились — и подали депешу от н е г о. Никогда столько не звонились. Было всего три слова: „Весь полон вами“. Стало и радостно и страшно. „Го-споди! как же быть?..“ — спрашивала она измятую бумажку, стараясь собрать мысли, а мысли не давались; белели в темноте сугробы, светил фонарь, сияли пуговицы на шинели, и о н в снегу, под окнами... — „чтобы хоть тень ее видеть...“ — как т а м:

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами...

Спрашивала себя с тоской, страшась и думать: „А если скажет — вас люблю“?...» — и знала, что не останется силы. К кому пойти, кого спросить? к матушке Виринее? сказать ей... Нет, стыдно, прозорливица она. Надумала поехать в Вознесенский монастырь, к монахини-старушке, задушевнице матушки Агнии покойной, — уйти от ожидания.

Переделалась, надела шубку и котиковую шапочку, попроще. И в это время позвонили. Даринька метнулась к окнам. Звонилась дама, нарядная, в мехах. Мелькнуло — т а?... И отлегло от сердца: т а была выше ростом и моложе. У крыльца стояла беспокойно пара кургузых вяток, в султанчиках и с бубенцами, кучер был в ливрее и в цилиндре, и с бичом; ноги — в плеле.

Дама заявила от барона. Барон дал слово Виктору навещать бедняжку, но у него дела, он извиняется, просил заехать, — она старинный друг барона, вместе работают в приютах. Заговорила Дариньку. «Ну можно ли так сидеть, скучать! День чудесный, морозец легкий... и такая прелесть вдруг скучает! Милочка, побойтесь Бога... нет, я вас насильно вытащу, и барон совершенно прав, вас надо развлекать... девочка такая, в четырех стенах! Все знаю, все истории ваши, и про вашего Виктора, скоро все устроится. Да прелестная-то какая!.. в вас сразу влюбишься, без шуток. Боже, глаза какие!.. Надо показывать себя Москве, а не дичиться...»

Заговорила. Лошади танцевали, не стояли. И Карп, и все смотрели, — шик какой!

Бульварами, Тверской, к театрам. Проехали Петровкой. Вернулись на Кузнецкий мост... Какие магазины, роскошь, моды! На углу был дом барона. На Лубянку. Никольской и Рядами. Охотным рядом, Остановись! Кажется, 2-го маскарад?... В Благородном собрании, все залы. Ни разу не была?! Непременно надо, непременно, так сидеть, в углу!.. Глупости: все, и дамы, и девицы, девчонки даже, все танцуют, весь свет. Ну, после. В Охотном был тоже дом барона. По Неглинной. На Неглинной был тоже дом барона, главный. На Тверскую. Также и на Тверской был дом барона. Как домой? Два часа гулять необходимо.

От этого кружения голова у Дариньки кружилась, дремали мысли.

Опять попали на Кузнецкий. «Глядите, как все смотрят... замечаете? На вас, конечно. А вы со вкусом, шляпка эта к вам идет, задорная головка. А вы хотели в шапочке. Надо все в pendant[1]. В кондитерскую, где Сиу. Пили шоколад и все смотрели. В заграничном магазине даме занудилось кой-чего купить. Им показали веера материй, горы буфов, зефиры, крепы, шелк и бархат. У императорского ювелира дама спросила „из жемчуга“. Им показали ожерелья, перлы. Дама небрежно отстранила: „После, а пока... жемчужину, одну“. Им показали — „единственное по игре“, розовых тонов, живую, на бриллиантах, брошь. Три тысячи? Чудесно. Взяли. Французский магазин, духи, в серебряной оправе баккара. Еще французский: белье, тончайшее, сквозное — воздух! — валянсьен и брюссель. Еще французский: моды, из Парижа: вот для визитов, вот — в театр, вот — утреннее, легкое, как пробуждение, вот — для приемов, вот — для будуара, вот — пеньюары, здесь прорезы, и тут прорезы, снять удобно... Это вот для прогулки, для манежа... для концерта, вот — бальное... вот — просто для вечеров... А сорти-дэ-баль?...»[2]

Даме надо было что-нибудь для дочки, скоро вернется из деревни, надо бы примерить, поглядеть...

«Голубка, у вас фигурка и рост... совсем как моя дочка! милочка, наденьте, покажитесь...» Даринька примеряла и бальное, и пеньюары, и для концерта, и утреннее, легкое, как пробуждение... и — «так, для случая, в самой интимной обстановке», и... Даринька троилась в зеркалах, кружилась. Смотрели и при огнях, в раструбы, давали света, больше, меньше. «Да, „электрик“, пожалуй, лучше — у моей дочки глаза... совсем как ваши! совсем такие, только меньше, необыкновенно!» Француженки взирали. «Вам дурно? скорей воды!» — «Ничего, немного закружилось...» — «Ну, пока оставим. Милочка: простите, совсем вас закружила». Вышли. А модные прически, последние? а шляпка? а перчатки? туфельки, платочки?... Ну, успеем. Меха... До завтра.

«Устала? бедняжка, не привыкла... Не скучно? В Петербурге тоже не скучают. Мужчины все на одну колодку. Укатил по делу? Ну, конечно, слыхала от барона, деловой... ох, эти деловые!.. Нет, ничего такого. Вы-то удержите, а вот жена не удержала. Да, верьте им. Да ничего особенного, про горничную что-то говорили, у них служила... Ну, была интрижка, пустяки. Вы-то удержите, уж в з я л и...»

Дама отвезла Дариньку домой, болтала про барона. Будет доволен, что «наша милочка» довольна. Необходимо развлекаться, не скучать. «Оценят, думаете, вашу скуку? Вот вы какая, понимаю... все внутри. То ясно, засияли глазки, а то как сеткой! Милочка, да вы меня очаровали, женщину... а что же будет, когда... Так и припадут к коленочкам... будут на задних лапочках ходить». Заговорила Дариньку, «застукала». У Дариньки в ушах стучало: та-та, та-та... «Вот и домик ваш, совсем деревня. И завтра погуляем, да?..»

После прогулки Даринька уснула. Проснулась поздно: кукушка прокуковала 9. Пришла просвирня, посидеть: одной-то скучно, а сегодня Васильев вечер. Даринька смутилась: Василия Великого?! Забыла, проспала. Всенощная отошла. Просвирня утешала: Господь простит. Рассказывала, как хорошо жила, дьякон когда был жив. Новый год встречали с щиколодом, пастилы, орехов всяких... и гадали, воск лили. Так, шутили. А выходило. За год до смерти вылился крестик дьякону, истинный Господь. Даринька достала воск, стали лить. Дариньке — поле вылилось, живая ровень, — ни-чего. Просвирке — будто бугорок... могилка? Девчонке — розги. Просвирня пригубила мадерцы, стала вспоминать стишки, — бабушка еще ее певала:

В час разлуки пастушок,
Слезный взор склоня в поток,
Говорил своей любезной:
«Нет, тому не быть,
Нет, не будешь ты моя,
Ты богата — беден я.
Нет, тому не быть».

Даринька пошла с девчонкой проводить просвирню. Над головой, в радужно-мутном круге, высоко, стоял зеленоватый месяц — как яблочко. Зеленой искрой отблескивали хладные сугробы. Просвирня говорила: «Слушать надо: где собачка взлетает — туда и выдадут, гадали так». Кому же слушать? Послушали: ни одной-то собачки, тихо, глухо. Ни души по переулку, не у кого и спросить про имя. А кому спрашивать?

Вернулись. Заглянули в оконце дворницкой. Сидел при лампочке-коптилке Карп, читал Писание, водил по старой книге пальцем. Висели седыми кольцами густые его лохмы, железных очков не видно. Дариньке вспомнилось-вздохнулось: прошлой зимой сидела она в келье матушки Агнии, читала ей «житие Василия Великого», а матушка дремала. Спокойно было на душе и светло... Ничего-то не знала, не видела, — была укрыта. Щемило сердце: куда пойти, кому сказать? Метнулось в мыслях: Карпу сказать? Праведный он, хороший. И побоялась, устыдилась: строгий, все знает, видит. Да что сказать-то?..

Карп поглядел из-под очков к оконцу, — снег хрустит... Перекрестился, дохнул на лампочку — упала тьма.

XX ДЬЯВОЛЬСКОЕ ПОСПЕШЕНИЕ

Новый год начался для Дариньки душевной смутой: отчаянием и «злыми чувствами». Накануне, ночью, она сладко себя томила, перечитывая из «Онегина» особенно пленившие страницы, которые она заложила бумажками, чтобы не потерять, и это чтение вызывало теперь в и д е н я. Татьяна была она сама, тайно влюбленная, отданная судьбой другому: а он был Дима, «гусарчик» — так называла в мечтах его, — великий грешник и обольститель, но добрый, милый, чудесный Дима, — «благодать Божия на нем. Преподобный укрыл его». И она вновь читала и плакала: То в высшем суждено совете...

То воля неба: я твоя.

Сладкой болью томили его слова: «Мне теперь стыдно многого, что вы можете как-то знать... провидица вы, необыкновенная, святая!»

Третьи петухи запели, когда Даринька отложила книгу, и стала на молитву, но молитва не шла на ум. Читала Иоанна Златоустого, на сон грядущий — «...покрой мя от человек некоторых и бесов и страстей и от всякие иные неподобные вещи...» — и путала из Св. Макария Великого, на утрени: «...и избави мя от всякия мирския злыя вещи и дьявольского поспешения...» — слышала затаенный шепот: «Весь полон вами...»- и отдавалась мечтам о нем.

Мучаясь, что грешит, она положила голубой шарфик под подушку. перекрестила подушку, как всегда делала перед сном, и, страстно прося пугливой мыслью, загадала, веря, — какой она сон увидит под Новый год.

Сон ее был тревожный и путаный: видела дороги, белую церковку в сугробах, будто дожидается у церкви, а о н не приезжает, видела поезд, занесенный снегом, и она бежит по сугробам, догоняет, прыгает на подножку... но кто-то стукнул, и Даринька проснулась. Старушка за дверью говорила, что било десять, и привезли ящик от часовщика с Никольской. Пробуждение ее расстроило: важное что-то было, «самое важное»... и не увиделось. Пропала обедню, как вчера всюнощную. Стало больно, что не начала Новый год молитвой.

— Так все складывалось в те дни, — рассказывал Виктор Алексеевич, — чтобы вырвать Дариньку из привычного, отвлечь от утешающей молитвы. Только бодрствующей душе дается видеть сокровенные «злые вещи» и «дьявольское поспешение». После мне все разобрали, и все уложилось в п л а н.

Даринька встревожилась: могут быть поздравители, а ничего не готово еще. Может и о н приехать. Думала, торопливо одеваясь: какой же это ящик, от часовщика? Вспомнила о цветах, присланных им на Рождество, — цвели еще белые камелии, — может быть, это от н е г о?.. Неодетая, выбежала в залу, — где же ящик? Старушка, должно быть, вышла, ящика нигде не было. Побежала в спальню, раскрыла гардероб, — какое надеть лучше? Песочное, с черным бархатом... — ужасная сорока! шотландское, клетками?.. — ужасно глазастое... почему-то ему нравилось, что толстит, — подумала о Викторе Алексеевиче. Оставалось воздушное-голубое, какое надевала на Рождество, гусарчик сказал о нем: «Вы сегодня особенная, совсем весенняя». Даринька выбрала «весеннее», но оно казалось совсем невидным после вчераншей роскоши, какую примеряла на Кузнецком. Она вспомнила «утреннее, легкое, как пробуждение», прозрачное, в пене кружев... — «только все ноги видно, ужасно тонкое...». Но когда причесалась «а-ля грек», как учил ее парикмахер на Петровке, с гребнем и парчовой повязкой, сквозившей в жгутах каштановых кос ее, «богатые у вас волосы, мадам... редко такие видишь!» — говорил ей не первый парикмахер, — когда надела на нежную, «классическую», — называл Виктор Алексеевич, — в тонком изгибе, шею черную-черную бархотку с медальоном из гранатцев, посмотрелась перед трюмо, — радостно увидела, как глаза ее интересно засинели... — «похожа на... Татьяну?.. — какой-то в них новый отблеск, немножко томный, и стали больше, гораздо глубже».

Ящик от часовщика оказался органчиком. Это была лакированная черная шкатулка, где под стеклом был медный колючий вал и стальная блестящая гребенка. Даринька поняла, что это

«сюрприз» от Виктора Алексеевича. На днях были они у Мозера, покупали дамские часики в эмали, на длинной цепочке с передвижкой, которые прикалывались на грудь, и Дариньке понравился музыкальный ящик, игравший «Лучинушку» и «Коль славен». Виктор Алексеевич пошептался с хозяином, и она поняла, что готовится ей сюрприз. Она подняла крышку, увидела блестящий вал, услышала машинный запах, — не было от сюрприза радости. И вдруг вспыхнуло раздражение, вдруг постигла, что дама от барона что-то ужасное сказала: не та изменила — Даринька разумела жену, — а э т о т . . . — подумала так о Викторе Алексеевиче, — с горничной б ы л о у него, а т а прогнала его! Потому-то и не пускают к нему детей, и все, что он рассказывал ей, — ложь и ложь. Даринька вспомнила, как вчера усмехнулась дама от барона: «И в Петербурге тоже не скучают». Про него это говорила — «не скучают», и — «мужчины все на одну колодку, верьте им!..»

— Это открылось вдруг, — рассказывал Виктор Алексеевич, — хотя она это знала еще вчера, до того она была вся во власти «чудесных чар», сак она после говорила. Это раздражение и даже «озлобление», как гисала она в «записке к ближним», она объясняла — и это несомненно, так и было, — таившимся в ней сознанием, что грешит, и желанием как-нибудь оправдать себя, перед собой же. И все это еще более путало и заплетало все то больное и лживое, что пошло от нашего... нет, не от нашего, а моего греха. Мой грех искупался ею, самые страшные испытания назначены были ей. Во имя чего? Я мучился этим и только впоследствии познал.

Музыкальный ящик с к а з а л Дариньке, что Виктор Алексеевич обманул и продолжает ее обманывать. Он в Петербурге «не скучает», а чтобы жа не думала об этом и тоже не скучала, купил ей «музыку». В ней поднялась обида и «почти ненависть», чувство, раньше ей незнакомое. Виктор Алексеевич представился ей таким же грязным, как бывший хозяин Канителев, от которого она убежала на бульвар в памятную мартовскую ночь.

И вот, э т о т , образованный инженер, пожалевший ее в ту ночь, т а к обманул ее! Воспользовался ее беспамятством, когда, обезумевши от горя, прибежала она к нему на заре, когда матушка Агния лежала еще не остывшая, и, ж а л е я, обманул ее, взял из монастыря. Все представилось как обман, как яма, в которую ее столкнули. Вспомнила про кольцо, когда лежала, слабая от болезни, глядела через кофточку, и как он взял ее руку и надел ей кольцо на палец.

Все ложь и ложь. И все обещания развода — обман и отговорки. Вспомнила веселые его рассказы о покойном Алеше, — «на каждой тумбочке по жене!» — о шутовском признании, что и он «женолюб немножко», вспомнила, как «раскрыл» ее, бесстыдно любовался и называл «африканкой», кощунствовал, сравнивал с преподобной, спасавшейся в Пустыней укрывавшей волосами наготу свою. Она захлопнула музыкальный ящик и увидела в зеркале мертвенно бледное лицо, ч у ж о е, и гневные, незнакомые глаза.

Пошла в спальню, встала перед Казанской, сложила в немой мольбе ладони и с болью вспомнила, как благословляла ее покойная матушка Агния, как тайком пронесла она эту икону из обители, обманула матушку Виринею-прозорливую и как подхватили ее на лихача. Ушла из Святой обители и стала любовницей, содержанкой, «прелестницей»... так все и называют — и надо еще «удерживать», — говорила вчера та дама, от барона, «Вы-то его удержите!» А если не удержит, возьмет другую. Что бы матушка Агния сказала!.. Но стало страшно, и она отошла от образа. Увидала голубой шарфик на постели, припала к нему, но тут позвала старушка: «Барыня, письмо вам».

Письмо было от Виктора Алексеевича. Он поздравлял с Новым годом, целовал миллионы раз, до последнего ноготка на ножке, спрашивал, довольна ли сюрпризом, говорил о тоске «без моей святой девочки» — какой ужас! — что, «как и ожидал», экспертиза его модели отсрочена на после Крещения, хотел уехать, но задержала техническая комиссия... Просил не скучать, больше кушать, не скупиться и покупать «любимые тянучки»... — «хочу, чтобы ты была у меня толстушка»... — Дариньку передернуло, — и ни словом не обмолвился о хлопотах с разводом, как обещал. Спрашивал, не навещает ли ее Вагайчик. Этот его «маневр — Даринька этого слова не поняла — меня смущает, очень меня тревожит, что он обманул меня, остался в Москве, Все шуточки этого

беспутного Дон-Жуана мне известны... — Даринька не знала, кто такой Дон-Жуан, — и боюсь... — тут было зачеркнуто, — не смущает ли он чистое твое сердечко? Я знаю, ты у меня святая, вся чистая... но лучше не принимай его, вели нашей бабке сказать, что ты уехала к тетке, что ли...»

— Письмо было искреннее... — рассказывал Виктор Алексеевич, — я действительно беспокоился, отправил письмо с кондуктором, чтобы тот немедленно по приезде в Москву сам доставил... и в то же время — это я отлично помню, — в самый тот день я познакомился на вечеринке у бывшего начальника с одной дамой, и мы условились встретиться на маскараде. Раздражение Дариньки я объясняю еще ее предчувствием той «грязи», которая меня хлестнула.

Письмо было длинное, с уверениями в вечной любви и с такими словечками, что Даринька краснела. В конце он спрашивал, не хочет ли она приехать, — «но меня так теребят, что тебе пришлось бы скучать».

Письмо еще больше ее расстроило. Ей казалось, что он не хочет, чтобы она приехала. Но ей не пришлось раздумывать: подали депешу от Вагаева. Вагаев желал большого-большого счастья, и сообщал, что пробудет еще три дня: «Дядюшка неожиданно попросил проехать в харьковские имения, и это для меня казнь, не гневайтесь за признание, но без вас я не в силах жить, помолитесь за меня, святая!» Даринька закрыла лицо руками. Душевное напряжение разрешилось слезами. Она плакала в серую бумажку, прижимала ее к губам.

В парадном позвонили. Посыльный принес с Петровки корзину ландышей. Когда откутали, пахло весенним ароматом. Старушка с девочкой наахались и ушли. На карточке от магазина было отменно выписано: «От господина ротмистра, его сиятельства князя Д. П. Вагаева, по срочному заказу из Полтавы». Даринька склонилась к ландышам, стала перед ними на колени, обняла их нежно, гляделась в снежные их сережки, вдыхала их, чуть прикасаясь поцелуем. Они шуршали. Свежий, телесный запах, проникающий холодком до сердца, кружил ей голову. Она прижала к себе корзину и окунула лицо в шуршащие свежестью сережки.

— Она признавалась мне, — рассказывал Виктор Алексеевич, — что никогда она так не чувствовала дурманного аромата ландышей. Она как бы пьянела.

В «записке к ближним» Дарья Ивановна отметила тот случай:

«Какая радость — чистые цветы Божии... и что они со мной сделали! Я безумствовала, забыла все. Без Бога самое невинное грозит нам. Те ландыши я приняла не светлой радостью, а озлоблением телесным и отдалась во власть похоти. В том дурмане я, ничего не сознавая, как бы разъята, и со мной делали, что хотели».

И это так и было.

Томящий аромат ландышей наполнял комнаты, возбуждал. Даринька чувствовала его всюду, он тек за ней. Она оживилась, умыла лицо от слез, порадовалась на снег в окошко, на ясный день. День был на редкость солнечный, с синими тенями. На солнце потаивало даже. Даринька дала девочке на гостинцы, дала и старушке за Новый год, велела позвать Карпа и, почему-то боясь поглядеть в лицо, поздравила его с Новым годом и дала рубль серебром. Карп сказал: «Покорно благодарю, Дарья Ивановна, барина поблагодарите». И не назвал «барыня». Давая на гостинцы, Даринька вспомнила, что так и не послала гостинчика матушке Виринее. Решила прогуляться на Тверскую, купить у Андреева сладостей и самой отнести в Страстной. Она уже надела ротонду, как вдруг глядевшая в окно девочка вскрикнула: «Гости к нам!» Даринька всполошлась и узнала вчерашнюю даму от барона. Дама приехала парадно, на вороных, под сеткой, с великолепным чернобородым кучером. Даринька ей обрадовалась, ей захотелось прокатиться. Дама была сегодня особенно шикарна: в розоватого бархата собольей шубке, по последней моде, — спереди мысом, а сзади поднято, и все опушено соболями. Соболя муфта на розовом, в серебре, шнурочке, розоватые с серебром сапожки, палевое перо на шляпке, маленькие у муфты «норки», и белые перчатки. Дама стала красивей и моложе, черные ее брови резче и губы ярче — совсем красотка. Они

поцеловались, и Даринька сказала: чудные духи какие! «Парижские, „По-дэ-вьерж“. Нравятся?» — «Очень, напоминает ландыш!» — «Изволь, душись, — к дама вынула из маленькой норки в муфте серебряный флакончик. — Без разговоров! „По-дэ-вьерж“ все мужчины любят, это от меня, на счастье. Едем, А плакала почему? Глупо, портишь глаза. Ах, хороши! — вздохнула дама, нюхая ландыши, — право как тельцем пахнут, девичьей „пошкой“. Поклонник, а? Вспыхива-ет, как институтка. На то и цветочки... Вагайчик, а? Ну, конечно. И мне когда-то, еще совсем мальчишкой, смешной такой, ушанчик. Первая любовь мальчишки, а я уже замужняя была... Сколько?.. да лет пятнадцать... двадцать два мне годочка только было, первая моя ошибочка...» Чего же удивляться! Кажется, неплохой дебют: она была первая у него. «Теперь... тысяча первая, а?.. — потрепала дама по разгоревшейся щечке Дариньку. — Не началось еще?.. Да девочка, это же так просто, а она смущаться. Швыряет, правда, но, может, и остепенится... говорят, скоро на кавказской княжне поженится, миллионерке. А она даже побледнела... почему это может помешать? Нисколько. С такими-то глазами, с такими губками... дурочка! Сумеешь... с Виктором же сумела!..»

Даринька сидела на диване и рыдала, склонившись к даме. Дама — она велела называть себя «тетя Паня» — ласкала ее и целовала в ушко, — «сквозная какая кожица, вот порода!». Утешала: «Глупенькая, какая разница — так или повенчавшись! Живешь же со своим так, почему нельзя т а к с дружкой! пустяки какие. Себя не знаешь. Да все миллионы к таким коленочкам, к таким губеночкам!.. И м приказывать надо, отшвыривать... Что-о?! какие ты словечки, милая, знаешь... „блудница“, „прелестница“... откуда это ты?! Это неприлично в обществе, неужели твой не сказал тебе! И м приятно, когда такие невинненькие губки...» «Тетя Паня» ласкалась, нежилась. — «Неужели в монастыре э т о говорят? в духовных книгах?!.. — „Тетя Паня“ смеялась:-Духовные словечки! Нет, серьезно влюбилась в Димку? Ну, пошепчи... да?.. Ну вот... Да откуда ты такая, вся сквозная, как стеклышко? Такое-то о н и и ценят, чистенькое, из монастыря... преподобное тельце, „вьержечек“ им подавай... сразу учуют, бесы, где леденцом пахнет. Душистую-то такую и... — „Тетя Паня“ щекотала губами у шейки Дариньки. — И Викторка твой, и Димка, будущий твой, оба молодчика из одной квашни. Не говорила я, что?! Самкали „вьержечку“, разводиками теперь мажут. Да всем известно, что жена его выгнала... Иди умойся, глаза нареваны. Разво-од?.. Никогда ему не дадут развода, и сам все прекрасно знает. Про Аничку его неизвестно, все шито-крыто, а перед людьми свята... вот и бери пример».

— Словом, Даринька ей открылась со всеми своими «тайнами», — рассказывал Виктор Алексеевич. — Представьте себе опытнейшую сводню, хоть из мещанок, правда, но ставшую как-то генеральшей, с солидными связями в столицах. И не только сводню, а и директрису некоего «Капища» для «сливок общества». Известный процесс в 70-х годах «вскрыл гнойник беспощадно», как, по слухам, положил резолюцию государь, и выплыли «детские души», так тогда называли все. Неудивительно, что Даринька раскрылась, другое удивительно: как кавалер орденов и барон... Но он был уже «тронут», а неземное в Дариньке, ее чистота и девственный свет в глазах разожгли в развратнике похоть и окончательно его свихнули.

«Тетя Паня» взяла Дариньку за руку и повела умыться, как кроткого ребенка. Заботливо вытерла лицо, «детские губки, такие пухленькие... — что за дерюга! — возмутилась она на полотенце. — Ну, можно ли такую драгоценность!.. — Достала из муфты пудру и что-то еще. — Чу-уть подведу, а то нареваны, — пригладила брови, — т а к и е бровки, это же влечет, милочка!.. ну, похмурься... ну, улыбнись, восторг!.. — Спросила, оглядывая платье: — Другого нет? — Слазила в гардероб и поразилась. — Какая бедность! Требовать надо, киска, язычком дразниться... для такой весь Кузнецкий мост!..» «Тетя Паня» обнимала и нежно целовала, говорила, что «все будет, только еще бутончик, и сколько еще Димок ножки целовать будут! и под венец можно, если уж так приспичит, когда угодно... побежит, высуня язык». Даринька чувствовала себя разъятой, — «как в страшном сне».

Покатали бульварами, на «Трубу», поднялись на Рождественку, завернули в безлюдный переулок, к «тете Пане», — «взять носовой платок». Дом «тети Пани» был сумрачный, с чугунными крыльцами по концам, двухэтажный, с мутными окнами понизу. Открыл парадное угрюмый человек в поддевке, оглядел мышьями глазками. Было беззвучно в доме: «Праздник, все со двора ушли». По красно-бархатной лестнице со статуями «богинь» поднялись в длинный коридор,

проходили неслышно, словно по бархату, мимо темных, глухих дверей, мимо зеркал на золоте, в которых путались вместе с ними «амуры и богини», плясавшие с бубнами стенах, и вошли в розовый будуар с зеркальными стенами, с широким ложем под шелковым пышным пологом с серебряными жгутами и махрами. «Пляши — не слышно! — сказала „тетя Паня“, топнув в глухой ковер, и, шутя, привалила Дариньку на ложе. — Нравится? можно и в куколки играть, смотри — сколько». На креслах, на пуфах, на низеньких кушетках, на разбросанных по ковру подушках глазели чудесные большие куклы, совсем живые, в розовых и голубеньких кисейках. Они сидели оторопело-неподвижно, как присмиревшие, наказанные дети. Куклы?.. А это... приезжают племянницы, играют. «Тетя Паня» взяла из розовой шифоньерки крохотный платочек. «Совсем забыла!.. — воскликнула „тетя Паня“, вынимая из маленькой норки в муфте плюшевый серенький футлярчик. — наш барон велел передать тебе — на счастье, с Новым годом...» И она вынула из футлярчика купленную вчера жемчужину. «Нет-нет, это же его обидит... он же почти родной, твой Виктор зовет его дядюшкой, а тебя, милочка, он за родную деточку считает, как эти куколки... и не думай отказываться, разве можно!..» И, открыв на Дариньке ротонду, она приколола брошку под вырезом — «у сердца». Дарипька, как во сне, что-то такое вспомнила... — «жемчужина... с чудотворной иконы...» но «тетя Паня» мешала думать. Она усадила Дариньку на оттоманку, где кругом были зеркала, — «смотри, любуйся», — и Даринька увидела много прекрасных дам, в черно-буром роскошном мехе, со страусом, томных, бледных, голубых, и у всех розовела на груди, «как играющий живой глаз», редкостная жемчужина. «Сколько тут у меня дамочек-то шикарных! — воскликнула „тетя Паня“, целуя Дариньку. — Ну, какая же ты милая, преподобная монашка, дусинька!.. куда зашла... к самой-то „тете Пане“! а вдруг тебя „тетя Паня“ — ам?.. Ну, довольно играть, пора».

Опять пошли мертвым коридором, но почему-то в другой конец. И вдруг Дариньке показалось, что далеко впереди, на завороте, мелькнула босоногая девочка, в розовеньком, как кукла, с голыми ручками, завитая, в розовых бантиках на ушках. «Никакой девочки... что с тобой?!.. — сказала „тетя Паня“. — Это же у тебя от кукол, глупенькая!..» За поворотом не было ничего: двери, глухие двери, тусклые зеркала... и тишина, «до страха». Они спустились мимо других «богинь», и другой человек в поддевке, косой и лысый, молча запер за ними дверь. В памяти Дариньки остался липкий и тошный воздух, с запахом парной бани, крепких духов и сигарной вони. Сядясь в сани, «тетя Паня» шутила: «Девочку увидела! может быть, мальчика, а?..»

Даринька смутно помнила: зачем-то надо было ехать в «Эрмитаж», завтракать. Видела белый зал, колонны, много мужчин и н о в о г о барона. Лысины у барона уже не было, курчавились черные височки. Завтракали в отдельном кабинете, под статуей; она, новый барон и красивая, розовая «тетя Паня». Барон был очень вежлив, даже робок. Извинился, что еще не успел заехать, как давал слово Виктору. Даринька плохо помнила: барон, кажется, очень просил к себе, «запросто как-нибудь», и называл «небесной», На прощание целовал ей руки, «впился губами». Даринька вспомнила про его подарок, но барон перебил ее, что «нет достойных ее жемчужин»... сам закутал ее ротондой, сам застегивал полость.

«Тетя Паня» довезла ее до дому, поцеловала, дыша вином, и пошептала: «Барон без ума... что хочешь, все для тебя, все свои миллионы на тебя, нотариально... хоть завтра же женится! подумай, лучше, чем т а к, „блудницей“!..» Даринька от нее шатнулась. Возивший снег на салазках Карп ткнул лопату в сугроб, сказал строго: «Вот, опять вам депешу подали», и достал из-за груди фартука на полушубке измятую депешу.

Дома Даринька прочитала: «Бросил все, прошу разрешения заехать завтра...»-выронила бумажку и потеряла сознание. Выбежавшая на вскрик старушка нашла ее на полу, ахнула и погнала Карпа — скорей за доктором. Даринька пришла в себя до доктора. «Будто все не в себе была, — рассказывала потом старушка, — все озарилась словно... потом, будто что вспомнила, так вот закрылась ручками и заплакала, горько-горько...»

XXI ПОМРАЧЕНИЕ

Все в эти дни складывалось так, чтобы смутить душу Дариньки, оглушить; события налетали и кружили, не давали одуматься, «сбивали ее с пути». А невидимо для нее складывалось совсем иное, — выполнялось назначенное, «чертился п л а н».

— И она, и я, — оба мы были в помрачении... — рассказывал Виктор Алексеевич. — Помрачение... — это очень верно. Есть в монастырском обиходе так называемое «прощение», когда братия... по окончании великого повечерия, просит у предстоятеля прощения, расходясь по кельям: «Прости мя, отче святой, елика согреших... душою и телом, сном и леностью, помрачением бесовским...» В этом «прощении» нащупана глубочайшими знатоками духовной сущности главная наша слабость — духовная близорукость наша: мы почти всегда пребываем в «помрачении», как бы без компаса, и сбиваемся с верного пути. Прозреваем ли смысл в мутном потоке жизни? Мы чувствуем лишь миги и случаи, разглядываем картину в лупу — и видим одни мазочки. И часто готовы читать отходную, когда надо бы петь «Воскресе», — и обратно. Люди высшей духовности острым зраком глядят на жизнь, провидят, и потому называем иных из них прозорливыми. Они прозревают с м ы с л. Поздно, правда, но и мы с Даринькой научились с м о т р е т ь... страданием нашим научились. А в те дни оба были в помрачении, даже — в «бесовском помрачении».

События налетали и кружили. Не успела Даринька прийти в себя от слов «тети Пани» о бароне и от депеши Вагаева, как закружили ее события.

Она надумала было сходить к вечерне, чтобы спастись от мыслей, а после зайти к Марфе Никитишне, пробыть вечеров у нее, — думала попросить добрую просвирню, не проедет ли с ней к Троице-Сергию поговорить и благословиться у батюшки Варнавы, уже и тогда почитавшегося «старцем» и прозорливцем: она о нем слыхала в монастыре, как устроил он где-то в лесном краю светоносную Иверско-Выксунскую обитель «для сиротливых дочек», — как вдруг позвонили на парадном. Девочка кинулась отпирать, но это были не поздравители, а: «По важному очень делу». Явился неприятный господин, неряшливо одетый, в синих очках, рыжий и с портфелем. Увидав портфель, Даринька испугалась, а девочка шепнула: «Водкой, барыня, от него несет!..» Господин назвался — «поверенный по делам законной супруги господина инженера!» — и попросил выслушать его, «подарить не больше пяти минут-с!». Даринька очень взволновалась, растерялась, даже не предложила сесть. Но господин сам уселся в кресло, порывлся в портфеле, поглядел в какие-то бумаги и раздумчиво помычал. В чем дело! А вот в чем дело. Ну, да... это он отлично знает, что господин инженер сейчас пребывает в Петербурге, но это совсем не важно, а дело в том... — «кстати, может быть, вам будет интересно узнать, что и законная его супруга сейчас тоже в Петербурге?...» — а дело в том, что он, поверенный по делам супруги, желал бы нащупать, так сказать, почву... на тот вероятный случай, ежели состоится примирение супругов для продолжения совместной жизни... — какой бы суммочкой «презренного металла» она, Дарья Ивановна...- господин вытащил из портфеля измятую бумажку и наставительно прочитал: «Дарья Ивановна Королева, девица из цеховых и золотошвейка, бывшая послушница Страстного монастыря...» — почла бы себя удовлетворенной?..

И тут случилось...

— Стучалось, то, чего я никак не мог ожидать от Дариньки! — рассказывал Виктор Алексеевич. — Всегда кроткая, робкая, н е з е м н а я... она крикнула — «вне себя, будто меня пронзили!» — так она мне поведала, — крикнула властно, и даже топнула: «Вон пошли!» — и выбежала в слезах из залы. Старушка рассказывала, что Даринька стукнула по столу кулачком и очень разгневалась: «Стала совсем такая, как строгая барыня бывает». Сказалась-таки в ней бурная, по отцу, кровь предков, горячих, властных. В этом крике и жесте излилось не только ее возмущение «подлостью», — уехал, дескать, обманно в Петербург, обласкал письмом, а сам в то же время снюхивался с прежней своей, «законной», и хочет откупиться! нет, тут и другое было. Даринька почувствовала, как она говорила потом, «в р а ж е с к о е... что-то невыразимо гадкое...» — и ополчилась страстно и бессознательно. И сердце ее не обмануло. Барон? Во все эти грязные мелочишки, он, конечно, не

вмешивался, предоставляя стряпню мастерам сих дел, а ожидал готовенького, как он называл — «десерта». Да и собой уже не владел. В те дни у него определенно проявились «мозговые явления».

Даринька прибежала в спальню и хотела изорвать все, «все поганые эти тряпки, которыми ей платили». Но ее удержало, что это все — чужое. Она упала перед Казанской и исступленно «почтк кричала»: «Пречистая, вразуми!.., спаси!..» Увидала голубой шарфик Вагаева и стала осыпать «безумными поцелуями, как самое дорогое, что осталось», — призналась она Виктору Алексеевичу, повторяя в безумии: «Теперь все равно, пусть... что хочешь со мной, все... пусть, пусть!..» Чувствуя, что спасение только в нем, она побежала в залу, припала к ландышам, с самого утра ее томившим, и стала страстно их целовать, призывая в безумии: «Скорей же!.. скорей!..» — прижимая к груди корзинку. Видевшая это девочка перепугалась и позвала старушку: «бабушка, опять барыня упадет, цветочки головкой мнет!» — но тут позвонили в парадном. Даринька кинулась к окошку. Синие сумерки густились: смутно темнелись лошади, кто-то стучал каблуками на крыльчке. Кинувшаяся отпирать девочка крикнула на ходу: «Никак давешняя опять франтиха!»

«Тетя Паня» принесла с собой морозный воздух и шумную веселость. Ночь какая! в инее все, волшебное, и луна... на тройке теперь чудесно! В цирк сначала, а после к «Яру» — звезды какие на снегу, как бриллианты!.. «Душка моя чудесная!» — напевала она, целуя и кусая Дариньку. Сбросив меха, она оказалась в бархатном черном платье, в кораллах на полной шее, в бархотках выше локтя, с алыми бабочками на них, с шелковой алой розой у височка. Поплясала у зеркала, прищелкнула, — ничего бабенка? — упала в кресла, кинула лихо шлейф, передернула голыми плечами: «Такого чего-нибудь, что-то я прозябла! — и привлекла к себе Дариньку. — Это еще что? глазки опять нареваны?!»

Даринька бурно разрыдалась.

Они удалились в спальню. Все «тетя Паня» понимала, — разобрала все по волосочку.

Только самый последний подлец так может. Обмануть девочку, такую, отнять у Господа, поиграть, развратить и кинуть... так подло откупаться — неслыханно! Что такое?.. Нет выхода!.. Всегда найдется. И нечего реветь, а... смеюсь-веселюсь, никого я не боюсь... окромя Господа! Да как это так, некуда уйти! Первый миллионер жениться хочет, а она — некуда уйти! Да в него все институтки влюбляются, на шею вешаются, за конфетки даже. А присватайся — маменьки передерутся. С подлецом жить можно, а... Игуменья твоя, баронша прогорелая, не сказывала, небось, черничкам, какая была Ева... как яблочка ела. Теперь, губожуйка, молитвами утирается. Глупенькая, слезками изошла. Не Димочку ли жалко? Мальчик славный... а разве помешает? С такими-то миллионами и на Димку хватит! И люби, кто мешает! А сколько добра наделаешь, сколько сироток приголубишь, носики им утрешь. Вместе и будете... а старичок на вас радоваться будет.

«Тети Паня» ласкала, прижимала, одуряла дурманными духами.

Тряпками поманили — и швырнули. А тут не тряпки, а... все подай! Плюнуть в глаза «законным», миллионами помахать, — сами приползут, а тут и плюнуть. А куда пойдешь, в прислуги? с такой-то мордочкой? На то же и выйдет, да за пятак. В монасты-ырь?.. Губожуйка, небось, все монастыри оповестила, какая девочка прыткая, через стенку перемахнула. «Да не убивайся, глупенькая, пригожая моя... любимая моя будешь, маленькая, глазастенькая... Да ты погоди, послушай... Покатим в цирк, ученых слонов посмотрим, как красавчики через голову летают... барон встретит-затрепыхается, а там и ко мне, ужинать...»

«Тетя Паня» все картинки разрисовала Дариньке. До свадьбы пока на шикарнейшей квартире поживет, с коврами, с лестницами, с богинями, шик какой! А там и во дворец переедет, к законному супругу, будет князей-генералов принимать. А скучно станет, прикатит из Питера Димочка, сейчас... — «Тетя Паня», хочу розовый будуарчик Димочке показать! — для красотонок всегда открыто.

Она проболтала больше часу, выпила коньяку, заставила, и Дариньку пригубить и приказала быть готовой к восьми часам. Выбрала из «тряпья» что попримечней; из бельишка — потоньше, с прошивочками, — «и дрянь же!» — из платьишек — «голубенькую принцессу», в которой была Даринька и театре, «сразу барошку одурила». Велела причесаться, перекрестила и простилась до вечера.

Даринька осталась в темной спальне. Шептала бессильно, безнадежно, — «Ма-тушка...». Призывала матушку Агнию. И вдруг до холодного ужаса постигла, что нет ей выхода. Сжалась и затряслась бессильно, как трясутся запуганные дети. Дрожа губами, призывая зажатым плачем: «Ма-а...тушка!..» — втиснулась в уголок дивана... — и вот, вышла из темноты матушка Агния, ж и в а я, — «ликотом одним явилась».

Люди точного знания назовут это галлюцинацией, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Даринька называла это «явлением». Подвижники знают множество таких «явлений», во все времена и у всех народов. Наше подвижничество богато этим даром или б л а г о д а т ь ю. Факт «явлений» бесспорен, объяснения его различны. Но вот что я вам скажу: в нашей жизни «явлений» таких было четыре. И все — перед переломом жизни. Эти «явления» в ы з ы в а л и с ь... страстным душевным криком, высоким душевным напряжением, о т т у д а, из-за нашего предела. У Дариньки приходили на вскрик сердца, когда казалось, что молитва уже бессильна.

Явившийся в темноте лик матушки Агнии «чуть светился», но был совершенно ясен, «до ресничек, до жалеющих глаз, усталых, скорбных, по словам Дариньки, до дыхания на лице моем, легкого веяния, с запахом розового мыла, которым умывалась матушка». Даринька видела, как шевелились добрые губы, блеклые. Такой, жалеющей, грустно-ласковой, хранилась матушка Агния в ее сердце. Бывало, в тяжелые минуты, сердцем она угадывала, что трудно Дариньке, и ласково окликала: «А ты, сероглазая моя, встала бы да помолилась... и пройдет». И тут, с глазу на глаз, скорбно и ласково смотрела и жалела. Осиянная святым светом, исходившим от явленного лика, вознесенная радостью несказанно играющего сердца, Даринька услышала: «А ты, сероглазая моя... в церковь пошла бы, помолилась... воскресенья завтра!» И стала гаснуть.

В этот миг Даринька услышала благовест: в открытую форточку — открыла «тетя Паня», очень ей было жарко, — по зимнему воздуху ясно доносило, как ударяли ко всенощной в приходе, за поворотом переулка. Воскресенья завтра! А она думала, — пятница сегодня, и хотела еще пойти к вечерне.

Оба они помнили хорошо, что это в т о р о е явление матушки случилось в субботу, 1 января 1877 года, в том году началась война с Турцией. Первое же было в начале сентября 76-го года, когда матушка Агния, в затрапезной кофте, явилась Дариньке в полусне, положила ручку ей на чрево и посмотрела скорбно. Потом заболела Даринька.

Не было ни страха, ни удивления: только радость несказанно играющего сердца. И было — «будто в той жизни, в обители... а э т о г о, страшного, совсем не было». Так объясняла Даринька: «Будто время перемешалось, ушло назад». Она почувствовала себя такой, как когда жила в матушкиной келье, — чистой, легкой, совсем без думок. Вся осиянная изнутри, как бы неся в себе великое торжество праздника, «как после принятия Святых Тайн», — так писала она в «записке к ближним», — она перекрестилась и пошла умываться. Вымыла и лицо, и шею, где целовала т а, вымыла до плеч руки, все казалось, что на ней остается в р а ж е с к о е, неизъяснимое гадкое. Затеплила лампадку у Казанской и долго смотрела в чудесный лик. Совсем не думала, что куда-то ехать, «будто ничего не было». Сказала мысленно Лику: пойду к всенощной.

Так кончилось «помрачение бесовское».

Даринька надела будничное платье, «чистое». Надела шубку и сказала девочке: «Анюта, пойдем ко всенощной». Девочка была рада, прыгала: «А после с горки кататься будем?» Даринька позвала старушку: «Прасковеюшка, слушай... т а придет, скажешь-Богу ушла молиться. И чтобы больше

ко мне не приезжала! Не отпирать, не пускать!..»

Чувствуя свет в себе, Даринька теперь знала, куда уйти. Знала выход верный и радостный: где-то в лесном краю устроена батюшкой Варнавой светоносная Иверско-Выксунская обитель для сиротливых дочек. Она пойдет к батюшке Варнаве, откроет ему душу, в ноги ему падет, и он не откажет ей, своей сиротливой дочке.

Когда говорила она Прасковеюшке, старушка хотела что-то сказать и не сказала. Даринька повторила: «Так и скажи... и Карпу, чтобы не пускал во двор».

За всенощной Дариньке легко молилось. Когда пели «Хвалите Имя Господне» — она сладостно плакала, как когда-то в монастыре. После всенощной зашла посидеть к просвирне. Покойно, благолепно было в уютной горнице, при лампадках, при белых половицах, с дорожками из холстов, как в келье. Пахло священо просфорами. Даринька попросила, не проедет ли с ней просвирня к Сергию-Троипе, благословиться у батюшки Варнавы, а расходы она оплатит. Завтра? Никак нельзя отлучиться, по храму нужно. И они решили поехать в понедельник. В десятом часу Даринька попросила проводить ее до дому, и они пошли, трое, похрупывая снежком морозным. Высоко в небе, в кольце, жемчужным яблочком сиял месяц, — чувствовались «святые дни». Сугробы играли голубоватой искрой.

У ворот повстречали Карпа: стоял — поглядывал. Сказал ласково: «Помолемшись», — открыл калитку и проводил.

Прасковеюшка доложила, как было дело. Франтиха приезжала на таких лошадях, что диво; все со звоночками, для гуляния. Как сказали, в комнаты е е не допустила, хоть и рвалась. Карп, спасибо, стоял, помог. Ругаться стала, никогда и не слыхано. Все кричала: «Не может быть!» Карп, спасибо, помог, сказал: «Вы лучше не шумите, не безобразьте, тут вам не проходной двор, и двугривенных ваших мне не надо». Все кричала: «Сама хочу видеть, не может быть!» Прямо не справишься, как хозяйка, шумела-топотала, допытывалась, куда пошли, да в какую-такую церковь. Карп, спасибо, сказал: «В Кремль поехали, много там церквей, а в какую — не сказали». Часа не прошло — опять звонится, не воротились ли. Ходил Карп на угол, к Тверскому, видал: ездил все бульваром, сторожила. Он и сказал, осмелился: «Лучше не беспокойте нашу барыню, отъезжайте!» Поехала — зазвонила.

Даринька хотела идти в спальню, помолиться, все еще чувствуя в себе свет. Старушка ее остановили: «Хотела давеча вам сказать... простите уж меня, барыня, а скажу...»

— И она ей сказала все, о чем и не помышляла Даринька, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Вот и золотошвейка... кажется, уличную жизнь уже знала. Не знала только укрытой грязи, украшенной: не знала, что т а возила ее в омут, играла с ней, готовила для себя. Простые люди узнали и помогли. Кучер спросил Карпа про Дариньку: «Давно ваши барышня гуляет?» И начался у них разговор. Карп и узнал, кто она такая, «тетя Паня», так и ахнул. И не решился сказать все Дариньке, было стыдно. Только наказал старушке, чтобы непременно Дарье Ивановне сказала, пока не поздно. Даринька, с а м а, сорвала всю эту паутину — сердцем, внушением о т т у д а...

В эту ночь Даринька хорошо молилась.

XXII ЗНАМЕНИЕ

Явление матушки Агнии, вызванное страстным душевным напряжением — «вскриком сердца», как называла Даринька, — осияло радостным светом ее душу. В эту ночь темное и тревожное отмелось, и неразрешимое — что же будет? — стало совсем не страшно. Этому помогла молитва.

В «записке к ближним» Дарья Ивановна записала об этом так: «Я не молилась тогда словами, а стенала мои душа, взывала. И я получила облегчение. Я еще не знала тогда, как научили

подвижники молиться: забыть про себя, как бы муравейчиком стать пред Господом, как бы детей лепечущим. Матушка Агния говорила верно. Помню, в тот снежный вечер, когда я была еще чистая, за всюнощной под Николу-Угодника, Виктор Алексеевич смутил меня, и я вся сомлела, чуть не упала на солее. Матушка мудро меня наставила. В ту ночь сколько я становилась на молитву, но не могла побороть мечтания. Матушка сердцем прознала тайное, что во мне, и окликнула ласково: „Что это ты, сероглазая, не спишь, никак не угомонишься? с метели, что ли? А ты повздыхай покорно, доверься Господу, даже и не молись словами... о н о и отмоется“. И я получила облегчение».

— Всю жизнь Даринька соблюдала ее завет, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Тут глубокий психологический закон, древний, как откровение: зывай, от себя уйди, — «и умирится с тобой небо и земля», как говорит Исаак Сирии. Странно это звучит, но тут как бы некий «закон механики», механики человеческого духа: переход звука в душевное движение. Зывание молитвой как бы сталкивается с душой, и получается, как в механике, т е п л о т а — успокоение. Этот закон материи применим и к духовной сфере, подвижники разработали его до чуда. Вспомните «Иисусову молитву». Конечно, этому есть пределы. Старец Амвросий Оптинский, помню, в шуточку мне сказал: «Бывает, и заборматывают себя дьячки вот так-то: „Помелось-помелось-помелось...“ — пыль-то пометешь, а грязь-то лопатой надо, она тяжелая».

«Пыль» отмелась молитвой. А что потяжелее-запряталось, осталось. Это скоро узнала Даринька.

Она мало спала в ту ночь. Проснулась — еще не рассветало, кукушка пробила 5. Проснулась и легкостью на душе узнала, что поет еще в ней — она, «радость играющего сердца», сошедшая на нее от светлого лика матушки Агнии. Чувствовала себя покойной, как в тихой келье у матушки. Все мучительное закрылось непобеждаемым — «да будет воля Твоя». А впереди светилось: «Батюшка Варнава не оставит, укажет путь». Но оставалось ч т о-т о, чего она избегала мыслью, словно его и не было: «Сегодня приедет о н...» Она старалась не в и д е т ь его лица, не помнить имени, которое в ней звучало, запрятать в мысли о матушке. И вспоминала, и видела, и слышала запах ландышей.

Даринька не видала снов. Помнилась боль под сердцем, «как раскаленным углем»; но во сне ли приснилась боль или вправду болело сердце, она не знала. И еще помнилось: перед тем как проснуться, смутно прошло в душе, что виденное во сне яичко с противной мышью было ей вразумлением: «гадость» и увидала — э т у, ужасную... розовые подушки с куклами... «эту грязь». Смутную эту мысль о «гадости», об «ужасной яме», куда ее т а возила, закрыла нежная музыка. Сначала она не понимала, что такое?.. За дверью, в зале наигрывалось такое возносящее, духовное, как пение клирошанок в монастыре, — и Дариньке вспомнилось, что это «Коль славен наш Господь в Сионе», из нецерковного обихода, что певала она у матушки Руфины-головщицы, в певчей.

Давно повелось в Страстном, еще по благословию митрополита Платона, благолепное пение стиховное, «ради душевныя услады», и в певчем покое сохранялись, рядом с цветной триодью, особые «голубые нотки», с которых белицы-клирошанки пели. С этих ноток полумирского пения белицы списывали на память «духовные новые стихи». Списывала и Даринька. Когда вынесла из обители благословение матушки и узелок с лоскутками, вынесла и ту тетрадку с духовными стишками. Хорошо помнила и «первого Ангела, с душой», как называли клирошанки, начинавшегося словами: «По небу полуночи Ангел летел», и другого, «райского Ангела», игуменьей запрещенного, но любимого клирошанками, начинавшегося так сладостно: «В дверях Эдема Ангел нежный главой поникшею сиял», называвшегося в великой тайне — «Влюбленный демон». Даринька напевала его чуть слышно, когда сидела за пядцами. Были еще: «Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест» и «Девы мудрые светильники возжжеиы несут пылаючи во встречу Жениха», и откуда-то взявшееся, хранимое подспудно, совсем греховное, напевавшееся в великой тайне: «Катя в рощице гуляла, друга милого искала», — где были соблазнительные стишки, от которых пылали белицы: «Милый!» — Катя говорила, «Ми-лый!» — роща повторила. «Иль пришла моя беда?» Отвечала роща: «Да!»

Даринька вспомнила про «музыкальный ящик», и ей стало нехорошо. Прасковеюшкин голос сердито сказал за дверь: «Только бы баловать... у, глупая! сейчас прихлопни, разбудишь барыню!..» И голосок Анюты ответил мучительно-скрипуче: «Да ее не придушишь, окаянную... куда тут ткнуть-то?..» Потом, как в магазине у Мозера, музыка заиграла «Я цыганка молодая», потом «Камаринского», потом еще что-то поиграла и затихла. Даринька спохватилась: скорей к обедне, панихидку по матушке... надо на могилке панихидку, явилась матушка... непременно надо панихидку. Карп громыхал дровами, топил печи. Говорил — такая опять метель, свету не видать, весь переулочек завалило. Даринька оживилась, откинула занавеску, пригляделась, — окна были залеплены. В мути от фонаря взвивало, крутило, сыпало. Метель-то, метель какая! Крикнула радостно Анюте — одевайся скорей, к обедне! Одна боялась. Открыла форточку, сунула руку, помахала, — метет-то как! Радостно стала одеваться.

— Все мы любим метель и половодье любим, — рассказывал Виктор Алексеевич, — но в Дариньке метель вызывала какое-то бурное веселье, что-то больное даже. Метель для нее закрывала все. Как метель, она порывалась скорей на волю, ее в л е к л о: «Так бы и побежала, побежала... куда — не знаю!» И какая-то светлая мечта пробегала в ее глазах. Она всегда говорила, что «все другое, когда метель... все надоевшее пропадает... и вдруг что-то сейчас откроется д р у г о е». Куда-то ее влекло в метели. Когда, после, мы жили в Мценске, — только, бывало, пойдет метель, мы всегда запрягали в пошевни и катили куда глаза глядят. Только, бывало, просит: «Дальше, дальше... куда-нибудь!» В метели, за метелью, — что-то ей чудилось, новый какой-то мир. Надо было видеть ее глаза: бурный восторг, до экстаза. Я ее так и называл Снегуркой.

Даринька надела серенькое простое платье, бархатную шубку, — простенькой все еще не было, — повязалась по-бабьи шалью: метель метет. Предупредила Прасковеюшку, как вчера, чтобы не пускали ни за что «ту, ужасную», если опять приедет, и Карп чтобы не пускал за ворота. Сказала, что долго не вернется, — «будем ходить, ходить», чаю напьются у просвирни, после ранней, а потом в Страстной монастырь с Анютой, а оттуда, пожалуй, и в Кремль проедут, в Вознесенский, к одной монахине.

Вышли во двор — и ахнули: намело снегу по колена, пришлось отгребать калитку. Не узнать стало переулочка: занесло и тумбы, и заборы, и домишки, в непроглядно-густой метели потонули сады и фонари, — стало как в чистом поле. Начиналась невиданная метель, памятная и по сие время старожилкам, «недельная», какой еще не бывало спокон веку, о которой потом долго говорили и писали, как все хляби небесные разверзлись, как заблудились на Красной площади проходившие в караул солдаты и засыпало фонари до верха. Чтобы не потеряться, Даринька взяла за руку Анюту. С трудом добрались до церкви. Церковную решетку всю замело метелью, не было видно церковки: схоронилась она в сугробах, стала совсем такая, как привиделось Дариньке во сне, — будто ждала кого-то у церковки в сугробе, — только синий глазок лампадки светил над сугробом звездочкой. Дариньке показалось, что земное совсем пропало, — церковь только, да белый снег, да невидное небо, откуда снег, да святой огонек лампадки. Плакучие березы лежали космами на снегу, надо было ползком под ними, чтобы пробиться к церкви. В притвор намело до двери, занесло крестильную купель до верха. Даринька с облегчением вздохнула- и вдруг услышала... — ландыши! Пахло метельным снегом и ладаном, и это напомнило ей почему-то ландыши. Церковь была пуста, — кто пойдет в такую метель, да ночью! — можно было легко молиться. Даринька тишину любила, но не могла молиться. Пахло ландышами и здесь, — и т о, что тревожило-таилось, — молитвой не отмененное, — начинало ее томить. Неотвязно одолевали мысли о приезде Вагаева, — она мысленно называла его Дима, — старалась забыть, молиться. Но мысли томили и смущали.

После ранней обедни зашли к просвирне, чтобы переждать до света. Пили чай с теплыми просфорами, и Дариньке казалось, что она сидит в келье у матушки. Радостны были ей старинные темные иконы, хрустальные подлампадки, висевшие под ними благолепно фарфоровые пасхальные яички. Радовало смотреть на горбатые сундуки, на коврики, на священные по стенам картинки. И священный запах, и старинные за стеклом часы, с круглым, как месяц, маятником, и расшитая бисером подушка — все было совсем такое, как у матушки Агнии покойной, и влекущая душу тишина. Даринька вдруг заплакала. Просвирня забеспокоилась: да что такое, здоровы ли.

Нет, ничего, здорова, а так... по матушке Агнии взгрустнулось. Просвирня ахала: и что за метель взялась, ноги отламываются — так болят, надолго, пожалуй, непогода... А завтра-то как же к Троице, ежели метель такая, не дай-то Бог? не переждать ли лучше? Съездить-то хорошо, приятно... завтра вот разве только, а через два дни сочельник, навечерие будет, водосвятие, отлучаться никак нельзя, не перегодить ли лучше? Даринька определенно не сказала, сказала только: «Да, да... какая погода будет... если метель такая...»- думала, что сегодня приедет Дима.

Даринька торопилась в монастырь, отслужить на могилке панихидку. Вспомнила, что надо купить матушке Виринее гостинчика, так и не собралась. Просвирня ахала, — да куда же, в метелицу такую, свету Божьего не видать, что рассветает только.

Вышли они в синюющем рассвете. Стегало, крутило, сыпало. Они долго блуждали в переулках, — должно быть, ошиблись поворотом, зашли в тупик. Пробирившийся водовоз сказал им пройти два переулка и завернуть направо, — сразу к бульварам выбежься. Они просчитали переулок, вышли опять в тупик, где-то свернули наудачу и оказались совсем на другой стороне — на Кисловке. Пришлось выбираться к Никитскому бульвару, прямая дорога там.

Анюта все прижималась к Дариньке. Сиротка тоже. Не озябла? Никогда не озябла, всегда бы так ходила с ласковой барыней, все бы улицы исходила... оставили бы ее при себе совсем, так бы и ходили вместе, самая верная слуга была бы... а в приюте сиди-сиди, на сироток и не глядят, ласкового слова не услышишь... а тут все-таки и доходишко бывает, гости когда какие, без жалованьишка могла бы, и в церкву бы всегда ходили вместе, всегда бы молились на коленках, так, рядышком... у богобоязной барыни да не жить! Даринька пожалела, сказала: «И живи, сколько проживется». Увидела пытливые глаза Анюты: да правда ли?! — и вспомнила про свое сиротство.

На бульваре мело, как в поле. Стала рассказывать Анюте, как в такую же вот метель два офицера заблудились, молодые... про чудо с Димой. «А знаете, барыня... — говорила восторженно Анюта, и в глазах у нее блестели слезы, — а может, и церкви настоящей не было, а так... привиделось для спасения? а, правда? Бывает, и я слыхала... может, им так, от Господа, праведные такие люди, офицеры?.. А они думали — на монастырь вышли! а монастырь понарошку проявился, чу-до, а? а пошли бы опять туда, и никакого монастыря, живое поле... а это спасти, чтобы из ничего, Бог может!»

Даринька думала о «чуде с Димой», как стояли в святых воротах, укрылись «под святое». Теперь, в метели, но пути к Страстному, случай с ударившей в них тройкой показался ей знаменательным: там, в заломе святых ворот, они очутились вместе, п р и в е л о их к святому, в уют от непогоды, и там открылся ей н о в ы й Дима, смущенный, тихий, восторженно на нес смотревший. Она вспоминала его глаза, и как он спрашивал: «Как вы могли узнать?!» — поразился провидению ее, как она угадала, что спас его в метели преподобный. Димитрий Прилуцкий, его Ангел. И метельная ночь у монастыря, когда они ждали тройки, чтобы умчаться «к Яру», вспомнилась ей теперь так ярко, до блеска в черных глазах Вагаева, до ощущения жгучих слез... и как она улыбалась через силу, глотала слезы, чтобы не разрыдаться, прощалась с навсегда ушедшим святым уютом, кивала прошлому, шептала глухой стене: «А тут за стеной... матушка Виринея наша... и все... молятся, спят теперь...» Представился ей живо продавленный стул в снегу и замотанная до глаз, недвижная на морозе, матушка Виринея-прозорливая, всегда ласково называвшая ее «ластунка-девонька». После ужасного ухода второй раз возвращалась Даринька в монастырь, по вразумлению матушки Агнии, — не забывала чтобы ее могилку.

Куда же они зашли? Встречные пропадали за метелью, бульвар кончался. Надо было купить гостинцев. «Лавочка? Ну, лавочки ищите там вон!..» — крикнул пропавший встречный. Они долго брели по переулкам, искали лавочку. В снежной мути выплыл на них старик извозчик. На Тверскую-ю?.. Найди ее, Тверскую, теперь и в Москве заблудишься. Тридцать годов ездит, а метели такой не видано, за рукой не видно, как сечет-то. Выбрались будто на Тверскую? Тверская? Тверская-то она Тверская, да спряталась. Да куда тут сворачивать? где Андреев? Магазин Андреева, у генерал-губернаторского дома, еще не отпирали, рано. Нашли бакалейную торговлю. Даринька набрала гостинцев: заливных орехов, клюквенной пастилы, вяземских пряников,

кувшинного синего изюму, винных ягод, прессованных абрикосов в коробочке — все, что любят в монастырях старушки, — цельный кулечек навязали. Вышли к монастырю, на площадь. Монастырь прятался в метели, глухое поле. Выбрались, наконец, к стенам. Снежные стали стены, розового не стало видно, — совсем незнакомая обитель.

«Матушка Виринея!..» — крикнула, задыхаясь. Даринька.

В святых воротах, совсем глубоко в заломчике, темнела знакомая фигура, укутанная до глаз, у заметенного снегом столика с оловянной тарелочкой. Серая варежка оттянула от лица укутку, чужие глаза взглянули: «Преставилась мать Виринея, вчера похоронили, царство небесное...» — сказала пристойно-певно пожилая монахиня, и Даринька признала мать Иустину, «строгую». «Как... пре... ставилась!..» — едва могла сказать Даринька и задохнулась, всплеснула руками и упала — «присела будто».

— И тут произошла сцена безобразная, невероятная! — с возмущением вспоминал Виктор Алексеевич. — Эта старуха, хромоногая мать Иустина, признала Дариньку. Надо сказать, монахиня эта считалась полуюродивой, чуть ли не одержимой, но строгой по уставу и очень ревнующей славе святой обители. Признала и замолчала, пристукнула только костылем. Даринька вне себя, — душно ей сразу стало, сорвала с головы платок... и... в прическе а-ля грэк, в изумрудных сережках, полубезумная, стала рыдать и биться. И вот тут одержимая поднялась со стульчика, подняла свой костыль и стала ее клясть, самыми ужасными словами: «Блудница, распутница, в Пречистую плюнула, променяла на сладенькое, шлюха, франтиха, трепыхостка... не даст тебе радости Пречистая, матушку Агнию в гроб свела...» — ужасно. Даринька билась, девочка оттирала ее снегом и плакала, вступились тут, хотели на извозчика... Даринька нашла силы, перекрестилась, смирилась... сказала матери Иустине: «Пожалейте, матушка, меня... простите...» А та костылем... Какая-то старушка монахиня повела ее к себе в келью. Но не только эти проклятия одержимой, тут другое еще, важнее. В кончине матушки Виринеи, вполне естественной, Даринька увидела з н а м е н и е, кару, как бы «окрик грозный». Старушка, 80 лет ей было, простудилась на холоду, в три дня свернулась, воспаление легкого... ничего удивительного. Но вот что особенно поразило Дариньку, Скончалась матушка Виринея как раз в ту метельную ночь, когда мы укрылись «под святое», ждали тройки. Как будто и н е с л у ч а й н о вышло: пьяная тройка налетела, и нас т о л к н у л о к стенам обители. Для Дариньки это было — з н а м е н и е, — «прощание с матушкой Виринеей», которая в это время отходила, рядом, за той стеной, у которой ютились мы. В этом увидела Даринька укор: вот, ты пошла на т а к у ю жизнь, и после тебе откроется... откроется, что ч и с т а я, достойная инокиня умирала, а ты, б е г л а я, распутная, по кабакам гуляешь, такая твоя дорога, с а м а от святого отказалась, в святое плюнула! Так и говорила: «И эта метель привела меня, матушка Агния привела, ткнула, как кощонку носом... пей, искупай!» Вот в этой-то внезапной кончине она и увидела «знамение» себе: «Кончено для тебя здесь все, не нужно твоих гостинчиков, и ты не нужна, ступай!»

После она посмотрела глубже, увидела в «знамении» этом еще другое. Не так-то просты, как думаем, «явления нашей жизни», «житейские пустяки».

Старушка монахиня как могла успокоила Дариньку, рассказала про матушку Виринею. Четыре денька проболела только. И приобщилась, и особоровалась, и все сестрицам пораздавала на руки, и на поминовение двести рублей оставила, и на сорокоусты, и... все по чину. Отошла тихо-тихо, на четвертый день Рождества Господня преставилась, до последнего часу досидела на холоду, ради святой обители.

Давно отошла поздняя обедня. Старушка повела Дариньку в собор, достала старенького иеромонаха, и служили хорошую панихиду по усопшей рабе Божьей, новопреставленной инокине Виринее, и еще по приснопамятной рабе Божией инокине Агнии. Иеромонах уступил мольбе и пошел в метели на занесенное снегом кладбище служить литию на укрывшихся под сугробами могилках. Когда ушел с клирошанками, Даринька долго плакала на могилках, рыдала в снег. И плакала с ней Аня, не зная, о чем плачет. И метель заметала их. Плакала Даринька о своем сиротстве, о мутной жизни, о свете, который светил когда-то, теперь — погас. Слыша задавленные

всхлипы, бессильные зовы — «Ма-тушка!..», плакала с ней Анюта.

Уже наступили сумерки, когда они вернулись. Девочка плакалась, что потеряли кулек с гостинцами. «На кладбище, пожалуй, теперь занесло снежком — и не найти». Даринька лежала в спальне, лицом в подушки. Не прочитала даже принесенного без нее письма, не вникала, что толковала-путала Прасковеюшка, как «опять была эта самая, лихущая... оставила вот бумажку, чтобы непременно прочитали...» Даринька и не взглянула на бумажку. Совсем стемнело.

Даринька не слыхала, как проходило время, не слыхала, как позвонились негромко на парадном. Анюта окликала, спрашивала ее о чем-то, — она не понимала. Анюта трогала за плечо и повторяла тревожным шепотом: «Да барыня, да там приехал!..» «Приехал... кто приехал?!»

«Приехал — офицер, красивый... на Рождестве-то зелененькую бумажку дал-то...»

Даринька растерялась, зашептала: «Сейчас, погоди... Господи...» Анюта торопила: «По зале ходит... все руки потирает...»

Даринька слушала бессильно, как в зале позванивают шпоры.

XXIII ОТЧАЯНИЕ

Рассказывая о «петербургской истории», Виктор Алексеевич не оправдывал себя, а, напротив, — подчеркивал преступное свое поведение, даже «упоение грязью». И приводил из Пушкина:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы!

И — еще:
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье —
Быть может — полное Чумы!

Он называл Пушкина «мира сего провидец» и приводил стихи не в оправдание своего «очертяголовства», а с горестным признанием, что человек может и «чумою» упиваться. Он бичевал себя, чтобы еще больше закрепить в себе дорогое-найденное, — постигнутую п л а н о м е р н о с т ь жизни. Во всем, что случилось с ним и с Даринькой, виделся ему как бы П л а н, усматривалась «Рука ведущая», — даже в грехопадении, ибо грехопадения неизбежно вели к страданиям, а страдания заставляли искать п у т е й. Но, не щадя себя, он горячо оправдывал Дариньку и всегда молитвенно говорил о мученичестве и светоносном подвижничестве ее.

— Когда в Петербурге я предавался безумию, Дариньке выпали тяжелые испытания. Хоть бы тот случай у монастырских ворот, с юродивой. Даринька вспоминала с болью, как ухватилась за подающий столик, молила простить, пожалеть ее, а мать Иустина-одержимая рванула от нее тарелочку с медяками. О мерзлых копейках возревновала, как бы не осквернила Даринька. Так и осталась у нее в сердце та оловянная тарелочка с медяками, снегом запорошенная... всю жизнь помнила ее Даринька. И вот начались для нее страшные дни соблазна, отчаяния, и как бы утрата воли, «провал сознания». Она не все еще помнила из того, что тогда с ней творили. После этого ее очень мучило. Мучило и меня.

В «записке к ближним» сказано так об этом:

«В те дни я жила во сне, все выходы для меня закрылись. Когда услышала его шаги —

почувствовала: вот и в ы х о д. Меня повело отчаяние, и я поддалась ему. Не думала о грехе, не чувствовала себя, ничего уже не боялась, — оставил меня страх Божий». «Господи, да не яростью Твоею облищи мене, ниже гневом Твоим накажеша мене».

Звон и шаги по зале приказывали и звали.

Сбросив оцепенение, Даринька нашарила в темноте лампу, чтобы оглядеться, не очень ли измялось платье. Она была в простеньком, сереньком, ч и с т о м, — ходила в нем только в церковь. Виктор Алексеевич называл его «девочка»: оно было коротковато и узковато ей, и Даринька казалась в нем совсем юной и тоненькой, — «бедная такая девочка». Зажигая второпях лампу, она разбила стекло, зажгла спичку — ужаснулась, какое платье, совсем измялось... услышала шаги и звяканье, чиркнула еще спичку, чтобы хоть волосы поправить, увидела в зеркале безумно-испуганные глаза, обожгла пальцы, решила не выходить и — «чуть ли не побежала» — стремительно вышла в залу.

В зале горела только боковая лампа у двери — и было тускло. Вагаев стоял у ландышей и смотрел в окно. Услыхав шорох, он быстро обернулся и, вытянув руки, подошел очень близко, «совсем как свой». Как и раньше, при встречах с ним, Даринька оробела и смутилась. Он был, как всегда, блестящий, оживленный, звонкий, сильный, обворожительный, с ласково-смелыми глазами. Сказал мягко и выразительно, как счастлив, что ее видит, взял покорную ее руку, поцеловал медленно, будто пил, и, продолжая удерживать, взял другую, поцеловал нежно и выразительно, как бы благодаря за что-то, подержал вместе, словно хотел согреть, и сказал, обнимая взглядом: «Но почему такие холодные... как льдышки!» Любуясь ее смущением, заглядывая в убежавшие от него глаза, он свободно ее разглядывал, сверху вниз. «Сегодня — совсем другая, девочка совсем... прелестная девочка... Что с вами?.. — переменял он тон, увидев, как Даринька отвела голову и старалась отнять у него руки, — почему плачете?.. Простите, если я... Что-нибудь случилось?..» Он поддержал ее и повел к дивану. Даринька помнила, что он успокаивал ее. Но слов не помнила.

Она сидела на «пламенном» диване. Так называл шутливо Виктор Алексеевич памятный диван, покрытый пунцовым шелком, где когда-то нашел разорванную золотую цепочку Дариньки. Играя саблей, Вагаев стоял перед ней взволнованный, спрашивал, что случилось, просил извинить, что не вовремя, кажется, заехал, просил смотреть на него как на самого преданного друга. Растроганная участием, Даринька сказала, что у нее большое горе, скончалась матушка Виринея, родная самая. Матушка Виринея?.. — это в монастыре, где... стояли под воротами в метели? Да, в Страдном. И Даринька сказала, как матушка ее любила. Это ее расстроило, и она залилась слезами. Теперь никого у нее, никого... И услышала, как Вагаев сказал с укором: «И вы можете говорить — никого!» Эти слова проникли в ее душу, и она с благодарностью взглянула, — «озарила детскими глазами», — он высказал ей это.

— Редкая вела бы себя так непосредственно, — рассказывал Виктор Алексеевич. — В таком расплохе не вышли бы к гостю, извинились. Даринька не нашлась — и не совладала с собой, расплакалась. Легкодушный, избалованный женщинами, Вагаев оценил эту детскую чистоту. Слезы, озарившие глаза Дариньки, растрогали его чрезвычайно.

Он стал перед нею на колени, взял за руку, она испугалась, хотела встать. Он ее успокоил, сказал, что склонился не потому... не перед женщиной, а поклонился ч е м у-т о в ней, чего не встречал ни в одной из женщин... что поразило его в тот день, когда они встретились впервые... что влечет к ней неодолимо, чего не выразить... единственные в мире ее глаза. Он говорил горячо, но такое же говорил ей и Виктор Алексеевич. Это напомнило ей о прошлом, и она закрыла лицо руками. «Я жизнь бы за вас отдал!» — услышала она страдающий — показалось ей — голос Вагаева. Так никто еще ей не говорил. Она подняла к нему заплаканные глаза, глубокие от страдания и тени, и ч т о-т о в них уловил Вагаев. Он взял ее руку, сказав — «позволите?» — стараясь поймать убежавшие от него глаза, и умоляюще прошептал: «Словами скажите мне, что сейчас сказали глазами... я это видел!» Даринька испуганно шептала: «Я ничего не говорила... не надо так». Вагаев отошел к ландышам у окна. «Скажите прямо, вы хотите, чтобы я уехал?» Она покачала

головой. «Вы не хотите..»

Если бы даже приказали ему уехать, он был бы не в силах это сделать: нельзя со стихиями бороться, нельзя. Метель остановила все дороги. Орловский поезд дошел только до Подольска, и пришлось загнать две тройки, чтобы прорваться через снега — «чтобы сегодня увидеть вас!». «Скажите, вы думали обо мне?» — спросил неожиданно Вагаев. Это смутило Дариньку. «Думали?..» — повторил он тихо. Она молчала. «Вы думали, я з н а ю... я это чувствовал, и вот почему я здесь». — «Не знаю... — сказала Даринька в замешательстве, — вы прислали ландыши... и я... да, думала о вас». — «Вы з н а е т е... — загадочно произнес Вагаев. — Мы оба з н а е м».

Он тронул саблей еще висевшую на корзинке карточку. «Это не „из Полтавы“, как тут написано». Даринька не понимала, почему он сказал это. В Орле он получил депешу от барона: барон просил поглядеть харьковские имения. Он без всякого удовольствия поехал, это и без слов понятно. «Но случилось нечто для меня знаменательное... и вот почему я з н а ю, что вы думали обо мне. Да, думали?» — повторил Вагаев. «Я не знаю...» — растерянно прошептала Даринька. «Вы приказали мне вернуться!» — отчетливо произнес Вагаев. «Я?..» — изумилась Даринька- и посмотрела испуганно. «Глаза какие!.. — воскликнул он, целуя ее взглядом, и замолчал, увидя, как опять Даринька смутилась. — Простите, не буду больше, — сказал он нежно, — буду совсем спокойно».

Даринька признавалась, что «все это смущало мою душу неодолимой п р е л е с т ь ю».

Вагаев продолжал спокойней.

Из Орла он выехал на Курск в 6 утра, почтовым. Накануне весело встретили Новый год в Дворянском собрании, его провожали на вокзал всем городом, и он совершенно забыл дать в Москву срочную депешу на Петровку — заказать ландыши, как хотел. Но можно было послать из Глазуновки, где принимают телеграммы. Глазуновку он прозевал, проспал, и вот, за какую-нибудь минуту до Понырей, проснулся, словно его пронзило! — «услыхал в а ш голос! Не верите... — улыбнулся Вагаев грустно, следя за ней. — Я ведь „обольститель и пустоватый малый“... от Виктора слышали!» Даринька смутилась. «Ну, можете не верить».

Продолжаю. Мне приснилось, будто я в степи, глубокий снег, ночь, метель... совсем как у монастыря, т о г д а. Как вы слушаете!., и — не верите?.. Но продолжаю в ы д у м ы в а т ь. Метель... и где-то, близко-вы, но вас не вижу. И жду, и жду вас».

Даринька глядела на него в испуге. Такой же был и ее сон, вчерашний, новогодний, в е р н ы й. Так и она стояла в снегу, в сугробе, у церковки, ждала кого-то, а он все не приходит... потом поезд, весь занесенный снегом. «Как вы глядите!..» — восторженно сказал Вагаев, взял ее руку и поцеловал. Она не отнимала. «И вдруг слышу... милый голос зовет меня, далекий голос: „Ди-м-а!..“ — ваш голос». «Вы придумали...» — веря и не веря, вздохнула Даринька, «Клянусь вам! — сказал Вагаев, звякнул саблей. — Вами клянусь, выше — для меня нет клятвы! Тот самый голос, как тогда, в метели... помните? Этот голос проник мне в сердце, и я проснулся, в последнюю минуту... поезд стучал на стрелках, подходил к станции. Вы позвали, и я послал депешу — „возвращаюсь“. Вы з в а л и — я явился. Не верите...»

Даринька молчала, прикрыв глаза.

«Послал, н е з н а я, есть ли поезд, — продолжал Вагаев. — Не думая, весь в вас, весь с вами... назначил день, вы помните, — „разрешите заехать з а в т р а?“. Вы сейчас поймете, почему я говорю про поезд. В сутки проходит только один поезд, прямого сообщения, а я — назначил! А вдруг — прошел? Вы слушаете? Спрашиваю, — поезд?.. Говорят — с е й ч а с подходит. Помню, подумал: вот удача!.. Не верите... И дал сейчас же вторую телеграмму, срочно о ландышах».

«Но... там написано, что „из Полтавы“?..» — смутившись от его лжи, сказала Даринька.

«Ах, вы про карточку... это же глупая описка! — вскричал Вагаев, сам смутившись- Чем же убедить вас, что я не лжец!.. Я не мог бы быть у вас сегодня, если бы-,из Полтавы“! Даль такая... как бы я мог! Пьяные телеграфисты переврали, или в Москве не разобрали, в магазине... „Поныри“, „Полтава“, — тоже „По“! Да вот вам доказательство!.. — вскричал Вагаев, что-то вспомнив, и достал бумажник. — Вот квитанция... видите, штемпель- „Поныри“? видите — „срочно, 20 слов, Москву!..“ И теперь не верите?!..»

Даринька очнулась, подняла ладони и молитвенно, как произносят имя Божие, сказала: «Господь с вами, я вам верю...» Так она делала всегда, когда хотела успокоить. Сказала как в забытьи, думая о чем-то, владевшем ею. «Благодарю вас, ангел нежный...» — взволнованно сказал Вагаев, взял руку, поцеловал в запястье, выше... — дальше не позволял рукавчик.

Даринька не отняла руки, — «не сознавала».

«Не знаю, что со мной... — шептал Вагаев. — С той ночи, когда стояли у монастыря, помните... выдали мне урок, что „так нельзя“... когда рассказывал вам о метели, о „чуде“... и вы назвали с такой нежностью... с той чудесной ночи думаю о вас, ношу вас в сердце... не могу без вас! Не думал, что так серьезно и так... больно. Вы плачете...»

«Вагаев, — вспоминала Даринька, — так никогда не говорил, так искренно, проникновенно нежно». И она не совладала с сердцем.

«Как вы устали, бледная какая... я утомил вас... — тревожно говорил Вагаев, — я сейчас уйду... — Кукушка прокуковала 10. — Вы позволите, еще заехать... не стеснит вас?» Даринька молчала. Он ей напомнил, — не так, как на крыльце недавно, с усмешкой, когда спросил, про Карпа: «Это что-нибудь страшное?» — напомнил, как она озиралась и шептала: «Карп, кажется?» — «Может быть, вас стесняет, что я бываю, когда Виктор в Петербурге... скажите откровенно, я примирюсь, как мне ни трудно... скажите...» Даринька вздохнула. И сказала, как чувствовала ее сердце: «Нет, все... т е п е р ь». Вагаев поразился, как она сказала это. Он спросил; «Но почему вам все равно... т е п е р ь?» Даринька сказала только: «Не надо говорить... мне больно».

— Он заставил Дариньку открыться, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Нежностью, проникновенностью заставил. Это он умел отлично. И она ему открыла душу, все ему сказала про всю ту ложь, какой ее опутали, что я ее бросаю, что т а со мной в Петербурге, мы опять сходимся и предлагаем «отступного». Он поверил или сделал вид, что верит. Даринька говорила, что он был страшно возмущен «такой низостью». Ну, использовал всю ситуацию, и у него явились планы, какие-то надежды. Не только обольстить. Теперь, когда узналось все... Словом, с Димой случилось чудо... Вагаев — полюбил! Этому я не верил, в Димин романтизм, никак не думал. А случилось. «Голубые письма», которые он писал из Петербурга, закидывал ими Дариньку, иногда по два в день, — она их мне давала, и Дима знал — все объясняют. Женщины ему легко давались, были у него победы и во дворцах... не верится, какие крепости ему сдавались. Говорил — «брал мимоходом, взглядом, все женщины всегда о т к р ы т ы!». Но в Дариньке столкнулся... с ч е м-т о. Это ч т о-т о впервые высказал ей еще в Москве. У Пушкина про это гениально. Дима знал Пушкина... Узнали после, что он и сам шутил стишками, вышла его книжка — «Голубое».

«Вагаев, — вспоминала Даринька, — даже побледнел, когда узнал. Говорил страстно, нежно: „Так оскорбить... святую! я готов на все... если бы он принял вызов, я готов драться на дуэли... но Виктор шпак и трус!..“»

— Словом, разыграл романтика. Впрочем, пожалуй, искренно все это... Говорил: «Вы теперь свободны, я свободен...» И открылся: «Я вас люблю!..»

Даринька вспоминала смутно, что Вагаев целовал ей руки, платье, безумствовал, называл нежными словами — «моя», «Да», «Дари моя», — кажется, целовал глаза...

— В те дни Даринька как бы утратила сознание, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Помнила

очень смутно. Мгновениями «как бы обмирала». Эти «провалы сознания», очень короткие, с ней случались при «угрозах страсти». Доктора объясняли наследственностью, повышенной чувствительностью «целомудренного центра». Ну, это дело их. Мне казалось, что Даринька как бы оборонялась от «власти плоти» о т к а з о м, невосприятием. Но э т о проявлялось и совсем в ином — при страстном напряжении в молитве. Страх греха, томление грехом... Не раз я находил ее в беспамятстве в ее моленной. Мне иногда казалось, что в ней как бы рождался н о в ы й человек... как бы заново — от нашего земного — к иному, утонченному, от плоти — к духу.

Даринька смутно помнила, как она отстраняла, вытягивала руки. Вагаев подчинился, сказал: «Вы меня с в я з а л и взглядом». Когда она очнулась, он стоял у ландышей, глядел в окно. Помнилось, что было очень его жалко. Он сказал, что покорился и уедет, только вот пойдут дороги. Увидел книгу на столе, взглянул. Спросил: «Эти бумажки заложили вы?» Не соображая, Даринька кивнула и вспомнила смущенно, что это «про Онегина». Вагаев улыбнулся и сказал: «Я т о ж е выбрал... разрешите на прощанье...?» И прочитал:

Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Достал серебряный карандаш и начал что-то рисовать на книге. Даринька увидела, что рисует «странную рамочку». Отложил книгу и сказал: «К вам я не заеду больше, не смею вас тревожить. Но хоть эти дни, последние, встречать вас... можно?» Даринька сказала: «Я не могу вам запретить... встречать». Он поклонился. «Да, — сказал он неожиданно, как будто вспомнил, — вы еще не забыли нашего плута, беднягу... нашего Огарка? Вы улыбнулись... не забыли! И он вас помнит. Помните, как он... от приза отказался? Взглянуть хотите на прощанье?» Даринька кивнула, «в мыслях». И услышала; «Завтра, в одиннадцать, я буду на проезде, у бульвара».

Было поздно. Вагаев попрощался. Даринька держала свечку. На залавке под шубами спала Анюта: забралась давно, боялась, как бы не прозевать такого гостя. Услыхав шаги, она вскочила и тыкалась спросонок. Вагаев накинул размашисто шинель, взял Анюту за нос, как на Рождество, и пошутил: «А, пуговка!» Даринька сказала: «Это сиротка». Вагаев дал что-то «на гостинцы». Даринька стояла на ступеньке и светила, Вагаев отпихнул парадное. «Ух ты, метель какая! — воскликнул он. — Горы навалило, посмотрите!» Даринька спустилась и увидела большой сугроб за дверью. «Моего Андрея, должно быть, замело, сказал Вагаев, — я его там оставил, к вам не проехать». — «Я так люблю метель!»- восторженно сказала Даринька. Она поставила подсвечник на ступеньку, сошла и выглянула в переулок. Вагаев стоял в сугробе. «Простудитесь...» — сказал он нежно, подошел к Дариньке — хотел укрыть ее шинелью. Даринька испугалась и убежала на ступеньки. «Чего же испугались?» — говорил Вагаев. Даринька светила сверху. «До завтра?..» Она кивнула. «В метель, от вас... Покойной ночи!»

Даринька стояла у окна, смотрела, ничего не видя. Хотелось побежать куда-то. Узнала ландыши, склонилась... Сильно они пахли, от тепла. Сорвала цветочек, прикусила. Увидела книгу на столе, забытый карандаш. Вспомнила: «Про шарфик-то забыла!» Прочла на книге: «Дари», «Дари», «Дари», «Да», «Да»... — но всей странице. Увидела - «рамочку», — черная рамочка на белом, и в ней стихи: «Я знаю: век уж мой измерен...» Положила ландышек на это место, закрыла книгу. По зале прыгала Анюта, говорила — давилась счастьем: «Кра... сенькую дали... с ума-а сойти-и!..» Даринька метнулась к окнам, пригляделась... «Скорей, Анюта... побегим!» Накинула шубейку: скорей, скорей!.. Анюта прыгала по зале, совала ногу в валенок. «Барыня, что ж без сапожков-то!..» — «Скорей, скорей!..»

Они прошли парадным, притворили, примяли снегом. Кому войти, метель такая. В сугробах заметало дыры от шагов. Весь переулок завалило, не проехать. Захватывало дух, давило, с ног валило. Они остановились, отдышались. Бухало в садах, ходило ветром. На углу, к бульвару, было глухо, ни души, Сыпало снегом, мелким, спорым. Так всегда, когда метель взялась надолго.

XXIV ИССТУПЛЕНИЕ

Начались, как называла их Даринька, «дни безумия». Виктор Алексеевич говорил скорбно — «дьявольские дни», разумея под этим и с к у ш е н и е. После Даринька ужасалась, как могло случиться, что она все забыла и предалась п р е л е с т и. О том, что было с ней в те дни, она говорила, с недоумением: «Я себя не с л ы ш а л а, как во сне».

Виктор Алексеевич рассказывал об этом взволнованно:

— Мою петербургскую «историю» я не могу оправдывать «искушением». Для «искусителя» я тогда не представлял никакой цены. Но Даринька, целомудренная и стойкая в чистоте, являлась ценнейшим призом... — говорю это совершенно убежденно, — и ей выпало и с к у ш е н и е. С ней случилось, как говорят подвижники, «помрачение»: ее душа у с н у л а. Это было как бы п о п у щ е н и е, «во испытание», — и это было н у ж н о. Страстное увлечение народ мягко определяет — «души не слышать». Подвижники именуют жестче: «озлобление плоти» или «распаление страстей». Даринька говорила: «Я ужасалась — и бежала навстречу п р е л е с т и», «вся я была р а з ь я т а, как в страстном сне». Тут — явное искушение. Иначе нельзя понять, как она, целомудренная, смиренная... — в ней ни на мизинчик не было ничего от «вакханки»! — могла до того забыть, что с а м а б е ж а л а навстречу прелести. И это в такое время, когда и менее стойкие воздержались бы. Вспомните: только что скончалась матушка Вириная, только что упало на голову «проклятие», моя «измена», соблазны и подходы сводни... и вдруг, смиренница!.. Пушкин дал поразительные образы «вакханки» и «смиренницы» в стихотворении: «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...» Помните — «О, как милее ты, смиренница моя. О, как мучительней тобою счастлив я, когда... Ты предаешься мне нежна, без упоенья. Стыдливо-холодна...» Даринька была воистину «смиренница». И вот смиреннице и выпало искушение.

Анюта говорила, что насилу упростила Дариньку вернуться: «Так, в одних башмачках, и гуляла барыня в снегу, все ахала: „Ах, еще немножко походим, метель какая!“» Анюта даже заплакала, боялась, что они с барыней замерзнут. Даринька тут опомнилась, прижала ее к себе: «Заморозила я тебя, бедняжку!» И они вернулись. Даринька в сенях еще услышала ландыши, вбежала в залу, припала к ним, целовала и осыпала снегом. Анюта напугалась, как бы опять не случилось с Даринькой. как вчера, и позвала тихонько: «Барыня, не надо... покушали бы чего». Она помнила, как Прасковеюшка сокрушалась, что Даринька ни крошки с утра не съела. Даринька увидела глаза Анюты, и ей показалось, что Анюта з н а е т. Она обняла ее, страстно прижала к себе, как самую родную, и Анюта шепнула жалостливо: «Бог милостив». Это жалеющее «Бог милостив» согрело Дариньку, она скинула шубку, оттопала с башмачков снег и пошла за Анютой в кухню.

В кухне было тепло, уютно, густо пахло щами со свининой, и этот жирный запах напомнил Дариньке, как были они в «Молдавии», ели щи и Вагаев так бережно объяснялся с ней. Дариньке захотелось есть. Она вынула из печи чугуничек, налила в миску горячих щей и, обжигаясь и топоча, стала хлебать с Анютой деревянной ложкой, как когда-то в монастыре. Анюта ела и все любовалась на красненькую, которую дал Вагаев, разглаживала ее и нюхала и вдруг, хитро взглянув на Дариньку, шепнула: «Это ухажитель ваш, барыня?» Даринька смутилась: «Что ты, какие глупости...» — и ушла в комнаты.

В том, что шепнула девочка, было приятно-стыдное. Даринька помнила взгляд Вагаева, как светила ему на лестнице, а он снизу смотрел на нее блестящими глазами и говорил странным голосом, «не своим»: «Простудитесь... чего же испугались?..» Помнила, как хотел ее запахнуть шинелью, слышала его голос: «Я люблю вас... Дари моя!» — видела его руку, чертившую на книге. Она взяла Пушкина, перечитала все «Дари» и «Да», которыми он исписал страницу, закрылась книгой и вспомнила: «Я знаю: век уж мой измерен...» Не могла вспомнить дальше и прочитала, в траурной рамочке:
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

В мыслях стояло неотвязно — «завтра, в одиннадцать, у бульвара...». Трудно было дышать — так колотилось сердце. Она пошла к буфету выпить капель, — жгло под сердцем, и увидела на буфете записочку и письмо. Вспомнила, как Прасковеюшка говорила, — пришло письмо, Розовая записочка была от т о й. «Ужасная» писала, что не может верить, будто девочка не хочет ее видеть. Это все шутки Виктора, чтобы «девочка не узнала, как обманывают ее». Барон сходит с ума. «Увидишь сама, что с ним творится. Непременно завтра, в 12 час., в Пассаже у Малого театра. От тебя самой зависит стать законной и баронессой, жить в роскоши, тогда все будут у твоих ножек, и Димочка. Из Пассажа ко мне, позавтракать, и все кончим. Умоляю, решайся».

Даринька разорвала записку и вытерла даже руки. В ней поднялось вчерашнее чувство гадливости, и, как светлый сон, вспомнилась «радость играющего сердца». Она позвала: «Матушка!..» но милый образ не проявился в мыслях.

Что случилось?.. Даринька не могла сказать: как бы «провал сознания». Она была в столовой, у буфета, — и увидела, что сидит в зале на диване, в слезах, а на коленях раскрытое письмо, И она з н а е т, о чем в письме. Она помнила, что пробило час, когда доставала капли, а теперь четверть третьего. Письмо было от Виктора Алексеевича. Он писал вдогон первому письму: «Совсем забыл... Завтра Витино рождение, купи ему какую-нибудь хорошую игрушку. Машина у него есть, и лошадка есть... ну, придумай, ты у меня умница, и пошли пораньше с Карпом. Всегда сам ему привозил, а теперь... Я ему напишу, но у меня столько всего...» Дальше были признания в любви, совсем безумные. Письмо ее смутило: как же это, хочет откупиться, а пишет: «Не могу, не могу без тебя... теперь еще больше ценю тебя, вижу, какая ты, чистая моя девочка, святая!» — а дальше безумные слова. Она почувствовала тоску, тревогу. Старалась собрать мысли: купить игрушку, завтра, рано... завтра, у бульвара, обещалась... Схватила за голову и мысленно, страстно позвала: «Ма-тушка!..» Не было облегчения. Себя не с л ы ш а, Даринька пошла в «детскую». Она не заходила дня три: что-то ее страшило.

Она взяла свечку и робко вошла в «детскую». Ей показалось, будто все образа померкли. Ни одна лампадка не теплилась. Чувствуя себя недостойной, Даринька зажгла восковую свечку, и, «вся дрожа», оправила и затеплила лампадки. Кроткий, голубоватый свет их давал покой. В черном окне смутно синело снегом. Как всегда, Даринька сняла платье и облачилась в голубенький халатик. Надевая халатик, она нащупала поясок с мощей благоверной княгини Евфросинии — «во разрешение неплодия», — и сердце ее захолонуло. Запахнула халатик, но иоюсок слышался на чреслах. Она воззрилась на темный образ «Рождества Предтечи», без слов молилась, не зная, о чем молилась, — «страшилась думать», — и вспомнила, что 7-го числа празднование «Собору» и надо поехать в Вознесенский монастырь, как обещалась под Рождество монахиня, Старенькая монахиня наставила Дариньку читать ежедень Предтече «Славу», на глас шестый: «Во плоти, Светильниче, Предтече Спасов», и еще «Ангел из неплодных ложесн произошел еси», — и радость пошлет Креститель. Вспомнив это, Даринька закрылась руками от иконы и думала, зажимая слезы, что это теперь не надо. Молилась Владычице, читая привычные молитвы. Не прониклось сердце. Но она все-таки молилась, помня слово матушки Агнии: «А ты повздыхай только... оно и отметется». Но мысли не отметались, мучили. И чем напряженнее молилась, не разумея слов, налетали роями мысли, звуки. Она гнала их. старалась заслонить словами, напрягалась, — и слышала голоса и пение: все, что видела эти дни, повторялось назойливо и ярко.

Даринька после говорила, что она до того ярко видела и слышала, «будто все это повторилось», — и театр, и «Яр», слышала, как цыгане пели и били в бубны, и «Скажи, за-чэм тэбя я встрэ-тил...» — и живой голос Вагаева, и разнузданную певицу в сарафане, и — все... И опять повторилось с ней, «словно пропало время», увидела себя сидящей на лежанке, поясок был развязан и лежал на аналойчике, на Молитвослове.

Такого с ней раньше не случалось. Она знала, по житиям и из рассказов в монастыре, что это «прелесть» и «наваждение», и надо бороться молитвой. Вспомнила, что есть у нее сильная молитва «запрещальная», св. Василия. Был у нее троицкий сундучок, где хранились заветные «памяти». Он был при ней и в монастыре, и она его вынесла — единое достояние свое. Сундучок был священный и хранился на полке, у образов. Даринька увидела бумажку с церковными словами и

вспомнила, что бумажку эту дала вознесенская монахиня-старушка, — «ежедень читать, до сорокового дня, — и будет радость». Она перебрала тетрадку, увидела «Ангела с душой», «райского Ангела», и «Катю»... — все вспоминала и прочла, до «киновари», как называла матушка Агния красную «запрещальную», и ужаснулась, что делает. Помолилась об упокоении души Новопреставленной рабы Божией приснопоминаемой инокини Вириinei, — и потеплело сердце. И, помня, «егда бесы одолевают помыслы», стала читать «запрещальную» великого бесогонителя св. Василия: «... и обрати я на бежание, и заповеждь ему отыти оттуду, дабы к тому ничтоже вредна во образех знаменоваемых содеял...» Горячо молилась, страстно, но страстные помыслы одолевали до иступления.

Даринька очнулась — и увидела себя простертой у аналойчика, на спине раскинутой. Сон ее был «безумный», она стыдилась его рассказывать. Говорила только: «Была в полном изнеможении, вся р а з ъ я т а». После сего, отчаявшаяся, вышла она из «детской», но побоялась спальни и уснула тревожным сном, при лампе, на «пламенном» диване.

Проснулась от грохота дров в кухне, Было к шести часам. Удивилась, что в руке у нее тетрадка со стишками, и вспомнила: надо поехать в город, купить игрушку.

Даринька вышла рано. Метель все не утихала, с крыш мелко снеговыми ворохами. Карп разгребал у дома, подивился: в такую крутень — и в город! Она, как бы извиняясь, сказала ему, что надо купить игрушку, просил в письме Виктор Алексеевич, — мальчика его рождение нынче. Карп проводил: «Ну, час вам добрый». Слава Богу, попался на Страстной площади старик извозчик. «В город... далеко, барышня... снегу лошади по брюхо». Едва повез. Не было видно часов на колокольне.

Проезды у Иверской забило снегом. В Рядах было необычно пусто, Купцы с молодцами забавлялись снегом, отгребали сугробы из проходов, откапывали пропавшие ступеньки. В Игрушечном ряду, пролетном, стучало и мотало ветром румяные маски-рожи в войлочно-рыжих бакенбардах. Даринька нашла игрушечную лавку, где, кажется, покупали они гусарчика и куклу, — и не туда попала: там был совсем молодой хозяин, тут — какой-то седой и неприятный, — и вспомнила: кажется, тот самый, неприятный, который т о г д а на бегах кричал дребезжащим голосом, — все каркал: «Попомните мое слово!» Она было хотела выйти, но купец в лисьей шубе приветливо поклонился и сказал дребезжащим голосом: «Первый почин... легкая у вас, барышня, рука, на счастье!» Даринька растерялась — и осталась.

«Для барышни вам или для молодого человека-с?» Глазели из картонок голубенькие боярышни и пышные расписные кормилицы в кисейках, какие-то неприятные... атласные будуарчики жестко светились зеркальцами, в пустых, неприятных ванночках мертво белели каменные младенчики, остро воняло клеем и скипидарной краской, — все смешивалось в кучу, все было почему-то неприятно, глаза ничего не находили. «Видимо, вам для братца? Как-с, для племянника? а-а... так-с, для знакомого мальчика... молоденькие сами, где же еще для своего-то... Как не найдете ничего... да вот, попомните мое слово, найдем, что нужно... — уважительно занимал купец. — Вот лошадка начальная, глядите... съемное седлецо, стремена самые наглядные. Есть лошадка?.. Ну, в таком разе возьмите настоящую машину, с живым свисточком... извольте прислушаться, как засвистит... — И купец в лисьей шубе, прищурясь хитро, показал, как свистит машина. — Опять все есть! Ведь вот нам какая незалада с вами. В таком разе вот что сообразим... попомните мое слово, лучшего не найти». И, взяв шестик с крючком на конце, купец показал на полку, где висели картоны с касками. «Покупают и алистократы, очень благородное занятие. Кавалергарда возьмите, Цена ему... шесть рублей серебром, а с вас из уважения к такой погоде, четыре рубля семь гривен. А то, на что лучше, возьмите кирасира... три с полтиной, со шпорами. В самый теперь раз, все на Балканы едут, добровольно... на турку пойдет ваш крестничек... чего же лучше-с! — И подцепил на крючок кавалергарда, — Не тот-с? Можно и отменить-с, как вам приятней-с... гусара снимем. Попомните мое слово, прямо вас расцелует... три с полтиной, дешевле репы». Было все самое натуральное, блестящее: черная лаковая каска, пушистые золотые эполеты, красная грудь навигиб, сабелька, патронташ и шпорки, — «не гусар, а... блеск-с!». И купец хитро усмехнулся. Вышла она из лавки с тяжелым чувством: казалось неслучайным, что попала к «этому

неприятному».

Она попросила Карпа сейчас же отнести на Поварскую, передать «бабушке», как писал Виктор Алексеевич, — и сказать, что это прислал папа. Подумала: почему — «бабушке»?

О н а, очевидно, в Петербурге. Ну, теперь все равно. Теперь надо... что же?.. Да, одеться... десять уж пробило.

Даринька спешила, дрожали руки, валились шпильки, узкие башмачки не надевались, лопнула планшетка у корсета, воротнички сминались, лицо пылало, Даринька надела синее шерстяное, «воскресное», — у «голубенькой принцессы» хвост был совсем отрепан, — подхватила подол несносным «пажем», незажимающим, увидела, как задрано, белую юбку видно, опустила и в изнеможении упала в кресло. Спрашивала себя мучительно; «Зачем я это...?!», внушала себе, что «это последний раз», отбегала к часам, считала, сколько еще осталось: «Рано, только без двадцати одиннадцать... попозже лучше?..», боялась, что опоздает, может, кто-нибудь помешает. Радовалась, что послала Карпа: не увидит. Подушила кружевной платочек своим грэп эплем, увидела серебряный флакончик, вспомнила: «По-дэ-вьерж все мужчины любят!» — и... попрыскала чуть на платье. Думала — ротонду или шубку?.. Лучше шубку, «руки не связаны». Надела шапочку, лучше подходит к шубке, да и метель, не повязалась шалью. «А волосы растреплет?.. подниму воротник...» — и вышла стремительно парадным, даже не сказав Анюте, не стукнув дверью.

Даринька заставила себя идти спокойно, старалась унять мысли. На повороте переулка, откуда видно, как проезжают по бульвару, остановилась передохнуть. Тревожилась: что о н ей скажет и как она ответит. Вышло все очень просто.

У выхода из переулка она увидела темневшую в метели голову лошади: самой лошади не было за домом видно. Голова заносилась и кивала, и по гордому, беспокойному закиду Даринька узнала плута Огарка. Остановилась... — и вышла, «словно ее толкнуло».

«Вы!..» — услышала она радостно-возбужденный возглас и увидела, как вскинулся-заиграл Огарок. Взглянула из-под ресниц, смущенно, и не узнала Вагаева: он был в венгерке с седым барашком, в промятой шапке, — казался совсем другим. «Не могу поздороваться, поцеловать вам руку, простите, Дари...» — говорил Вагаев с ласково-поясняющей улыбкой, силясь держать Огарка. Рысак закидывался, трепал беговые санки, как коробок. «Видите... какой! вас смутился... — Вагаев отвалился, совсем головой за санки, затягивая вожжи, и любовался на Дариньку вполглаза. — Вот что... подойдите сзади, осторожно только, берите сначала меня под руку... так так... прыгайте, прыгайте!.. чудесно, крепче только под руку, крепче, крепче!..» — Даринька впрыгнула, Вагаев прижал ее руку локтем — и все метнулось.

«Прижмитесь крепче... не страшно? — спрашивал он, счастливый, говорили его глаза из-под барашка, намерзший ус, — Ближе ко мне, Дари!..» — настаивал он, правя, засматривая вперед и тяня за собой Дариньку.

Она вспоминала после это «безумие», это уносившее ощущение «прелести», уносившее в небывалое, к у д а — т о, что любила она в метели. Где-то свернули... Поварская?.. Неслись палисадники Садовой, потом Триумфальные ворота... Тверской-Ямской... Рысак побавил, пошел рысцой. Вагаев взглянул на Дариньку, в разгоревшееся ее лицо, в налившиеся от ветра губы, обнял горячим взглядом, так ясно говорившим, и прижал ее руку локтем. «Куда?» Она не знала. «Как я счастлив!.. — говорил восторженно Вагаев. — Боже, как я счастлив!.. Я не мог спать после вчерашнего, всю ночь безумствовал, был у „Яра“, искал вас в песнях... Знаете что... махнем в Разумовское, к цыганам! можно? на час, не больше... мо-жно?..» Она сказала ему ресницами. «Последний ведь раз мы с вами... Встретимся в Петербурге, да? Помните, говорили, да? Мне пора в полк, но вы п р и к а з а л и мне остаться... все закрыли. Не буду больше, простите... — сказал он нежно, видя ее смущение. — Слушал песни... весь в вас, в мечтах о вас... вас слушал, вы сами песня, только не спеть ее...»

Огарок подвигался шагом. Вагаев говорил «безумно». Было чувство бездумного покоя: ехать, слушать...

«Крепче меня возьмите... милая!.. еще крепче!..» — сказал Вагаев и крикнул: «Гей!..»

Это был гон, безумный, страшный. Слышалось только — гей!.. гей!.. — взмывало и заливало сердце. Летело снегом, брызгам, конским теплом дыхания, струилось нежно... Она припала к плечу Вагаева, чувствовала его глаза, так близко...

Что было- она не помнила...

Стояли где-то. Направо шла дорога. Снег чуть сеял. Вагаев спрашивал тревожно: «Ничего теперь?.. ваша рука вдруг выскользнула из моей, вы помертвели... как я испугался, за вас... но плут как раз остановился, сам... вот умница! Как, ничего теперь?» Даринька говорила «как во сне»: «Все вдруг закружилось... упало сердце... мы в лесу... как тихо». «В Разумовском, — сказал Вагаев, — ангел нежный! как я люблю вас, милая Дари... моя!.. Вон Любаша, машет нам, бежит...»

Реял редкий снег, чернели ели. В сугробах синела дача. Бежала пестрая Любаша, в шали. Пожилой цыган, в поддевке, скалил зубы. Любаша лопотала, топталась в кованных сапожках, жгла глазами. «Светленькую привез, вот хорошо-то... у, закутим!» Шептала Дариньке, вела в сугробах. На крыльце в снегу брэнчали на гитарах «встречу». Метнулась за сугробом голова Огарка, голос Вагаева кричал: «Сейчас я, барышню согрейте!»

Любаша топотала, держала Дариньку за плечи, любовалась: «Кралечка-то какая!.. как же не любить такую... я влюбилась!..»

Дариньку ввели в покои.

XXV «ПРЕЛЕСТЬ»

Даринька говорила, что в ту поездку в Разумовское она потеряла голову и сказала Вагаеву «неосторожное». В «Голубых письмах» Вагаев ей напоминал об этом, но она не хотела верить, чтобы она именно так и сказала.

— Может быть, и сказала... — рассказывал Виктор Алексеевич. — В ту поездку случилось происшествие, потрясшее Дариньку «явным указанием Господним» и как бы связавшее ее с Димой: случилось чудо... и это «чудо» могло толкнуть ее. Впоследствии Даринька постигла духовным опытом, что в этом «чуде» таилась уловляющая п р е л е с т ь. Я не могу винить ее, если даже забыть о «чуде». Она легко возбуждалась от шампанского, я сам развращал ее, сам прибежал к этому средству, чтобы усладиться «любовной искрой». Этим воспользовался и Дима. Шампанское и разгул цыганский могли ее возбудить, Дима об этом позаботился, и Даринька могла ответить на пылкие его признания. Он умел очаровывать. И в таком состоянии — еще и «чудо»!..

После гона на рысаке Даринька чувствовала себя разбитой, Любаша сияла с нее шубку и сапожки, устроила у пылавшего камина и заставила выпить чаю с ромом. Было уютно, просто, — Дариньке у цыган нравилось. Любаша гладила ее руку, засматривала в глаза, ластилась: «Шепни, кралечка, нашла по сердцу?»

Комната была большая, с хрустальной люстрой. В высокие окна, до пола, виднелись занесенные смелом ели. Похоже было на барский старинный зал. с колонками в глубине и хорами, но все было ветхое и сбродное: ободранные кресла, скамейки, табуретки, даже ящики. Узорный паркетный пол был захожен до липкости, а у камина прожжен до дырьев, в обуглившейся большой дыре, набитой снегом, торчали смоленые бутылки. Приносили на ногах и тут же оттопывали снег, швыряли окурки и плевали. Цыгане кланялись, прикладывая к сердцу руку, сверкали глазами и зубами.

Цыганки льнули и восхищались льстиво, болтали между собой по-своему. Скоро пришел Вагаев, почтительно склонился и заявил, что хотел доставить удовольствие пообедать в цыганской обстановке, — не скучно ей? Даринька сказала, что очень нравится: как в деревне. Вагаев хлопнул в ладоши и велел подавать обед. «Это наш старый загородный домик, заброшенный... я его отдал моим друзьям — цыганам, а они, посмотрите, как все отделали! — ткнул он ногой к дыре. — Зато встречают, мошенники, по-царски!» Старый цыган, куривший на корточках у огня, сказал: «Мы тебя не за дом встречаем, а за сердце... песнями молимся, счастье бы тебе выдалось». Оглядел Дариньку и почмокал: «Король-барышня... за таким молодчиком каждая девка побежит!» И все загакали. Вагаев взглянул на Дариньку — правда ли? Она отвела ресницы. «А вот и не побежит...» — мимо сказал Вагаев.

Обедали за круглым столом, ели и пили жадно. Кушанья были домашние: лапша куриная, горячая свинина с ледяными огурцами, гусь с капустой, сладкие пироги. Цыганки потчевали вишневой наливкой — хоть пригубь-то! Вагаев потягивал шампанское, курил. Захлопали пробки, затренькали гитары. Вагаев подал Дариньке бокал. «За здоровье прелестной королевы!» Запели «чарочку». Цыганки льнули, обнимали за талию, заискивали в глаза, «Ой, писаная-хорошая-глазастая!..»

Стол убрали, и пошло веселье — пляски, песни. Песни томили, горячили. Пел молодой цыган с усталыми глазами: ему подпевали вздохом — томили сердце. Любаша спела «любимую» — «Скаж-жи... зачем тэбя я встре-рэтил...». Так спела, что старый цыган ругнулся: «У, зелень злая... сердце с тебя горит!» Вагаев глядел на Дариньку. Она чувствовала его — и не смотрела. Потом плясали. Плясала зеленая Любаша и молодой, с усталыми глазами. Цыган ловил ее, а она не давалась, извивалась — и вдруг далась. «У, зелень злая», — хрипнул старик и сплюнул. От танца стало беспокойно. Пили шампанское. Вагаев все упрашивал: ну, еще, один глоточек! Из камина выпало полено и мерцало. Голова у Дариньки кружилась, в глазах мерцало. Вагаев затревожился, уж не угар ли. Цыгане говорили: «Мы все в угаре, не учуешь». Открыли двери на террасу и форточки.

Вагаев провел Дариньку в синюю гостиную и усадил за стол.

«Вот теперь синие у вас глаза, — говорил он, любуясь, — вы всегда д р у г а я. Посмотрите, вот еще синие глаза, еще красавица... это моя бабка! — показал он на портрет молодой женщины в черных локонах, с обнаженными плечами. — Глаз только мне не подарила». Даринька взглянула в его глаза, хотела сказать: «Зачем вам?» — и сказала: «Красавица... — платья какие были». «Но что бы о вас сказали!» — поглядел Вагаев и взял осторожно ее руку. Она не отнимала ее. Он целовал ей руки, глядел в глаза, но они уклонялись, не давались. «Неужели последний раз вас вижу!» — сказал он горько. Она, не думая, спросила: «Почему — последний?» «Вы хотите чтобы не последний? чтобы я остался?!» — сказал он тихо. Она кивнула. Горячие, сухие ее губы приоткрылись, как бы в жару, — об этом он сказал ей после, — и он поцеловал ее.

Даринька быстро отстранилась и закрыла лицо руками. — «Не надо... не надо так!.. — шептала она в испуге, — и открылась: в глазах ее блестели слезы. — Вы меня завезли сюда... и так... со мной!..» Она смотрела на него укором, с болью, — об этом он ей напоминал в письмах. Он сказал смущенно: «У меня не было и мысли вас оскорбить! я не совладал с собой, простите».

В зале бренчали на гитаре, топотали. Даринька попросилась сейчас же ехать. Вагаев крикнул, чтобы запрягали. Прибежала Любаша, обтянулась зеленой шалью, словно ей было холодно, и смеялась, блестя глазами: «Что рано, ай не терпится?» Прильнула к Дариньке и пошептала: «Счастливая-любимая... первая у него такая, знаю!» «Не такая, как мы с тобой!» — сказал Вагаев. Цыганка вдумчиво оглядела Дариньку. «Не такая... — мотнула она сержками. — Неуж так и поедешь, без укутки, в пургу лихую! Стой-погоди...» Любаша взяла с залавка вязанный платок, оренбургский, легкий, что греет теплей лисицы, вкладывается на спор в яичко и легко продевается в колечко. «Укутаю тебя, куколку... бескровная ты, замерзнешь». И, не слушая отговорок, повязала Дариньку с шапочкой, перехватила крестом под грудью и завязала сзади. «А теперь хоть в снегу ночуйте!» «Иди, зелень злая, поцелую», — сказал Вагаев. «Неуж поцелуешь?» — сказала

усмешливо цыганка, подошла к нему, пятясь, перегнулась и ждала, запрокинув голову. Вагаев взял ее за мотавшиеся сережки и поцеловал в голову.

«Что больно высоко целуешь... бывало, умел пониже?» — сказала усмешливо Любаша.

«Был пониже», — сказал Вагаев.

Опять поднялась метель, сыпало и хлестало в окна. Старый цыган сказал ворчливо: «Пьяные, некому понять, что барышню потеплей бы надо...» — и потянул с дивана медвежью шкуру. Провожали гитарами и песней. Старик укутал ноги Дариньке: «Вместе-то и потеплей вам будет... гу-ляй!..» Цыгане ударили в гитары: «Как по улице метелица ме-тет!..»

Любаша крикнула: «Ленточкой дай свяжу, постоит!» Даринька чувствовала себя стеснительно: нажимала ее нога Вагаева. Он понял, отодвинул ногу и попросил взять его под руку: «Удобно? ближе ко мне, саночки узкие». Цыгане грянули лихую:

Ходит ветер у ворот,
У ворот красотку ждет...
Не дождешься, ветер мой,
Ты красотки молодой!..

Выехали незнакомой просекой. Рысак шел ровно. Вагаев его посдерживал. Падали сумерки в метели. Вагаев говорил о Петербурге: чудесно будет, когда она приедет... — и перестал говорить о Петербурге: должно быть, вспомнил, что все переменялось и ее не будет в Петербурге. Она услышала ногу его и отодвинулась. Он спросил, не холодно ли ногам. Нет, нисколько. Он продолжал: как ужасно, что должен ехать, без нее для него нет жизни... Она молчала. Как утром, когда ехали в Разумовское, ею овладело чувство бездумного покоя: ехать, ехать... и слушать его голос. «Как хорошо. Дари... с вами, одни, в метели...» — говорил Вагаев, Даринька слышала, как свежо пахнет снегом и чуть шампанским. «Как вы славно тогда сказали — Ди-ма! Я люблю вас, единственную, первую из женщин!.. ваши глаза не верят... нет?.. скажите...» Она сказала: «Это неправда, не первая...»... «Правда, клянусь! Те... — не была любовь! я искал. Все мы ищем незаменимого, и я нашел... вас нашел, ангел нежный... в вас неземное обаяние... в вас — святое... особенная вы, вы сами себя не знаете, кто вы. Я никогда не благоговел, никогда не терялся... но перед вами я чувствую себя совсем другим, перед вами мне стыдно самого себя... о, вы!..»

— Даринька не знала, что хотел высказать Вагаев, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Я ему говорил про Дариньку, из глупого хвастовства, пожалуй, какую необыкновенную я встретил. Я гордился, что нашел эту чистоту, святую. Тщеславился, что обольщенная мной — из древнего рода Д... — незаконная, но она чудесно повторяет прекрасные черты, не раз воспетые, на известном портрете графини Д. Я гордился, что почитаемый святитель- далекий ее предок. Отсвет святого в ней, эти святые золотинки в ее глазах, выпавшие из божественной Кошницы, ее одухотворенная кротость, нежность... ее великое целомудрие... — это пленило Диму.

«Вы необычайны, — говорил Вагаев. — В вас все нежно, вы так прелестно говорите — „неправда“, „не надо так...“ — так детски-нежно, кроткая моя, мой ангел нежный!..» Его глаза светились, и он стал говорить стихи, которые она знала, о «райском ангеле»:

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял...
И глядел так, словно прощался с нею:
Прости, он рек, тебя я видел,
И ты недаром мне сиял...

Она почувствовала близко его губы и в страхе отшатнулась. Он сказал: «Не бойтесь, я обещал вам... другую я поцеловал бы, но перед вами... я благоговею». Увидел, что глаза ее сечет метелью, снял алый шарфик, — теперь на нем был алый, — накрыл ее неловко и сказал: «Закройтесь хорошенько... сами, или я вас закутаю». Она послушно повязалась. «Вы потеряли т о т шарфик, голубой, — сказала она, не думая, — я нашла его на крыльце и спрятала». Это вышло у нее совсем

случайно. Он поблагодарил ее и попросил позволения заехать: можно? Она спохватилась, словно сама его зазвала, и сказала смущенно — можно. Так они ехали, неспешно, не чувствуя метели, увлеченные разговором и друг другом.

Рысак остановился, фыркнул — и повернул налево. Вагаев потянул правую вожжу, но рысак упрямо тянул влево. Вагаев придержал и осмотрелся. Было смутно, леса не видно было за метелью. Вагаев решил, что они уже миновали вырубку, что это знакомая болотная низина, а вправо, чуть повыше Всесвятское. Он резко послал Огарка вправо, но рысак ворочал влево. Это показалось странным: Огарок к вожжам был чуток. Вагаев стал вспоминать: когда поехали от цыган, дуло как будто справа... потом, у соснового островка, надо было сворачивать, и они свернули... — и стало нести в лицо? Дариньке тоже помнилось, что свернули и стало стегать в глаза. Значит — свернули вправо. А надо было свернуть налево, к Петровскому-Зыкову, по Старой Сечке. Ясно, что Огарок исправлял ошибку: Вагаев назвал его молодцом и дал ему полную свободу. Рысак проваливался по брюхо, выкидывался с храмом и сильно парил. «Бедняга, засечется, набьет плечи...» — сказал Вагаев. Даринька пригляделась и сказала: «Мы не по дороге едем, поглядите- глубокий снег!» Вагаев успокоил: сейчас и дорога будет, место знакомое. «Да вон и вешка!» Но это была не вешка, а верхушка зеленой елочки, и кругом были такие же нерхушки. Он постарался вспомнить, — и припомнил: ну, конечно... — это заросшее болотце, к Всесвятскому, и будет сейчас проселок, не раз проезжал верхом. «Сейчас выберемся», — уверенно сказал он и прижал Даринькину руку.

Совсем стемнело. Огарок крутил по елкам, санки поскребывало снизу, встряхивало и стучало. «Странно... — сказал озабоченно Вагаев, — это, пожалуй, вырубка, нас трясет...» И они увидели занесенную плюхами лапистую ель. Огарок нехотя обошел ее, резко остановился, потянул храпом, мотнул — и опять повернул налево, Елок уже не было видно. Открылось поле: саночки потянуло гладко. «Только такая машина может по целине! — сказал Вагаев про Огарка. — Наш плут вывозит... и вывезет!» И только успел сказать, Даринька вскрикнула: «Голова-то!.. что это... в яме мы?!..» В белесоватой мути, над ними, темнела задранная голова Огарка: казалось, что рысак лез на стену. Они вдруг поняли, что надо сделать, и ухватились за передок. Вагаев гикнул, взмыло снегом, рысак рваинул из снежной тучи и вытянул на взгорье. «Браво! — крикнул Вагаев, — молодец, Дари!.. но что я сделал!..» «Я люблю метель, — сказала, отряхивая снег, Даринька, — только бедного Огарка жалко». Вагаев прижал крепче ее руку и сказал: «Ваши глаза мне и в метели светят».

Сумерки сменились ночью, но какой-то странной, — «без темноты и света, — как говорила Даринька, — будто не на земле: какое-то н и к а к о е, совсем пустое». И в этом пустом и н и к а к о м, без неба, хлестало снегом. Стегало со всех сторон, секло лицо, крутило. Огарок — будто его и не было, — остановился, фыркал. «Вот что, — сказал Вагаев, — попробую провести... берите рукавицы, вот вам вожжи...» Даринька сказала: «Вы-то как же без рукавиц?» Стала говорить, что ей совсем не холодно, и жарко даже... а если замерзать будем, можно п о к а медвежинкой накрыться. Почему же замерзать? Люди же замерзают... и совсем не страшно, все в воле Божией, все ведь Божье — и ветер, и снег, и метель, и бедный Огарок, — ничего не страшно. Она говорила спокойно, и Вагаеву «было страшно интересно» слышать, что она заговорила, и так заговорила: раньше она совсем не говорила.

Вагаев взгляделся в Дариньку, не увидел, а лишь почувствовал «радостные глаза, живые», взял ее руку и поцеловал завяянный рукавчик. «Как вы необыкновенно говорите, — сказал он нежно, — вам, т а к о й, страшно не может быть». Он надел ей свои теплые, просторные рукавицы, дал вожжи, вдел ее руки в петли, сказал: «На случай, вожжи бы не упали...»- и сошел с санок. И только сошел, по пояс провалился в снег. Санки тряхнулись и поплыли. Даринька начала молиться.

«Сто-ой!..» — услышала она далекий возглас, очнулась и опять почувствовала метель. Была г д е — т о, — в молитве ли, в полусне ли, — и там, где была она, не было ни метели, ни санок, ни режущего ветра- ничего не было. Была тишина и свет. Там, где она была, сказало душе ее: «Все хорошо». «Вожжи не выпускайте! — кричал незнакомый и страшный голос. — Сейчас поправлю!» Даринька вдруг почувствовала, что падает, и схватилась за передок саней. Смутная голова Огарка с

блестящим глазом была непонятно близко, храпела и обдавала паром. Дариньке показалось, что рысак бесится, санки трещали, лязгали, — рысак выворачивал оглоблю? И она поняла, что сейчас в с е з д е с ь кончится. Поняла это острым, мгновенным страхом, «слабой, земной душой». Было это — одно мгновение. Страх унесло метелью, и осветила вера, что все покойно и хорошо.

Она увидела справа от себя темное. Это был Вагаев. И услышала голос, осипший и задохнувшийся: «Черт, скручу-у!..» Темное вдруг взметнулось, рвануло поднявшуюся правую оглоблю, кривую, длинную, похожую на фиту, — Даринька ее помнила, — и качнуло храпевшего рысака. Санки выправились, Вагаев рванул за вожжи и осадил: «Иди, дьявол!..» Даринька услышала шлепанье: Вагаев оглаживал Огарка. «Запарился, бедняга... пусть отдохнет немного».

Вагаев присел на санки. «Вы еще живы, бедная девочка!.. — услышала Даринька молящий шепот. — Боже мой, что я сделал с вами!..» «Будет все хорошо... сказала она спокойно и взяла его коченевшую от мороза руку, — Я согрею, наденьте рукавицы, дайте другую руку». Вагаев после ей высказал, что от этих слов у него закипели слезы. Он дал ей руки, она их грела своим дыханием и надела на них теплые рукавицы. «Я з н а ю, сказала она, — у меня на душе покойно, и будет хорошо». «Да, будет хорошо», — повторил он ее слова, подчеркнул голосом.

И тут случилось... Даринька называла это «чудом».

Вагаев подошел к Огарку, чтобы поднять его, и вдруг услышал восторженный, словно победный крик Дариньки: «Свет!.. свет!..»

Дариньке показалось, будто блеснуло искрой, все в ней как будто осветилось... и она вскрикнула слышанное Вагаевым: «Свет!.. свет!..» И услышала радостный крик Вагаева: «Ура-а!.. Всесвятское!..» Искра светила слева. И, как бы утверждая, что и он видит свет, Огарок заржал и стронулся. Шли на свет.

«Дорога!.. вешка!..» — кричал Вагаев, и Даринька увидела, совсем близко, мутное пятно света и на нем полосы метели. Было непонятно, что свет так близко. Рысак уткнулся в сарай, на кучу бревен. За сараем, сверху, светился огонь в окошке. Залаяла собака. На стук в ворота тревожный голос окликнул: «Кто там?»

Это был клеевой завод купца Копытина, на отшибе, в двух верстах от Всесвятского. Заводский сторож, чудаковатый мужик, будто и выпивший, принял радушно, поставил под навес Огарка, накрыл даже лоскутным одеялом, хозяйственно пожалел: «Лошадку-то как измаяли», — поставил самоварчик, докрасна раскалил чугунок. Они сидели — и будто ничего не понимали. А мужик покачивал головой и ахал: «Да как же это вы так... да дело-то какое-е... голуби вы ссрдешные... вышло-то как... да ведь как ладно-то попали!. да вас прямо Господь на меня навел!.. чудеса-а!..»

И правда, вышло совсем чудесно.

Мужик собирался ложиться спать: «Сидеть-то одному скушно, святки, завод не работает... Клеек варим... трое нас, рабочих, голье конячье вывариваем... ну, понятно, от жилья подальше, на пустыре, дух тяжелый. Да вспомнилось, именинник я завтра, надо бы засветить ланпадку. Яков я, брат Господний... так все меня и величают — „брат Господний“. А чего, ваше благородие, смешного, такое имя, благочестивое... все Господни. Вздул огонь, ланпочку засветил, ланпадочку затеплил. Вы и увидели мой огонек! Только хотел ланпочку задуть, Жучка залаяла, а вы — тут как тут. А то бы и... долго ли замерзнуть. Намедни трое замерзли, с Ховрина шли, сто сажень от меня не будет, так друг на дружку и полегли, замело. Только по ноге углядели. Болотина, на отшибе. С Разумовского ехали? Значит, надо бы вам на Петровско-Зыково, а вы вон много вправо забрали. Это вас мой Ангел навел... ему, барышня, молитесь... и вы, ваше благородие... Яков, брат Господний... именинник я завтра, как можно, надо ланпадочку, вот и вышли на огонек».

Мужик получил белую бумажку — ахнул. Взял фонарик, надел тулуп, привязал на веревку Жучку и проводил до тракта, — верста, не больше, а там Всесвятское. Без Жучки никак нельзя,

собьешься, а уж она учует свою дорожку. Говорил, довольный: «А это на наш клеек, ваш жеребчик клеек дослышал... — вот и крутил все вас... клеек у нас вонькой... а вправо вам пропадать, места глухие, болотина, дело ночное, метельюга... значит, уж вам так на роду написано, жить вам, дай Бог на счастье».

Ехали трактом, бережно. Гудели телеграфные столбы, вели. Шел восьмой час, а выехали от цыган в четвертом. Даринька молчала, вся в и н о м, приоткрывшемся так чудесно, Вагаев обнял ее и привлек к себе. Она словно не слышала, — не отстранилась, почувствовала его губы и замерла. Что он шептал ей — не помнила. Что ему шептала, о б е щ а л а... — не помнила. Помнила только жаркие губы, поцелуи. Светились редкие фонари в метели, пылали щеки, горели губы. У переулка она сошла, долго не выпускала его руку, слышала.: «Завтра, завтра», и повторяла: «Завтра...»

XXVI ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ

О «случае под Всесвятским», толкнувшем Дариньку к Вагаеву, как бы отдавшем ее ему, Виктор Алексеевич рассказывал:

— Еще до того, как увидеть искру в метельной мгле, Даринька вообразила себя как бы «духовно повенчанной». Ну да, с Димой. Тут сказала восторженная ее натура, ее душевное иступление. Подобно ей, юные христианки радостно шли на муки, обручались Небесному Жениху. Тут духовный ее восторг мешался с врожденной страстностью. И вот искушающая п р е л е с т ь как бы подменилась ч у д о м. В метельной мгле, как она говорила — «без темноты и света, будто не на земле, а в чем-то пустом и н и к а к о м, где хлестало невидным снегом», как бы уже в потустороннем, ей казалось, что она с Димой — Дария и Хрисанф, супруги-девственники, презревшие «вся мира сего сласти», и Бог посылает им венец нетленный, — «погребстися под снежной пеленою, как мученики-супруги были погребены „камением и перстью“». Восторженная ее голова видела в этом «венчании» давно предназначенное ей. Да, представьте... и она приводила объяснения! Ей казалось, что Дима явился ей еще в монастыре, в лике... Архистратига Михаила! В метели, когда она забылась, вспомнился ей, — совсем живой, образ Архистратига на южных вратах, у клироса. Образ тот был соблазнительно прекрасен и привлекал юных клирошанок. Столь соблазнителен, что игуменья приказала переписать его, строже и прикровенней. Воевода Небесных Сил, в черных кудрях по плечи, с задумчиво-темными глазами, в золото-пернатых латах, верх ризы — киноварь, испод лазоревый... — вспомните лейб-гусара: алое — доломан, лазорь — чак-чиры! — с женственно-нежной шеей, с изгибом чресел, лядвеи обнажены, — привлекал взоры Дариньки. Она признавалась, что в этом духовном обожании было что-то и от греха. Раз она даже задержалась и прильнула устами к золотому ремню на голени. Было еще с ней, в детстве... Бедная девочка увидела как-то в игрушечной лавчонке заводного гусарчика, блестящего, в золотых шнурочках, и он сохранился в сердце как самая желанная игрушка. И вот этот игрушечный гусарчик и крылатый Архистратиг соединились в Вагаеве, и в метели открылось Дариньке, что назначено ей судьбой «повенчаться духовно» с Димой! Романтика... И так на нее похоже. И вот вместо «венца» — спасение и соблазн. Но к а к это обернулось, отозвалось на жизни моей и Дариньки! И в этом была как бы Рука ведущая.

В «записке к ближним» Дарья Ивановна записала об этом так:

«Не чудо это было, это спасение в метели, а искушение п р е л е с т ь ю. Тогда в сердце моем слились тленная красота раба Божия Димитрия и, — Господи, прости, — грозный Небесный Лик. Темные помыслы меня смутили. Я забыла из жития Преподобного Димитрия Прилуцкого, е г о Ангела, как боярыня града Переяславля, прослышав про красоту инока Димитрия, укрывавшего лицо свое, дабы не соблазняло взглядов, заране пришла во храм, увидеть святого, втайне усладиться зрением лепоты его, и была наказана расслаблением телесным. „Господи, услыши мя в правде Твоей, и не вниди в суд с рабой Твоей, яко не оправдится пред Тобой всяк живой“.

Возвратившись домой после безумного прощания с Вагаевым у переулка, Даринька ничего не помнила. Прасковеюшка ахала, какая вернулась барыня: „Будто всю память потеряла, в снегу

валялась“.

Дариньке было жарко, душно, она велела открыть все форточки, высунулась в метель, дышала. Прасковеюшка говорила ей про Карпа — она не слышала. Анюта тоже говорила ей про игрушку. „Ах, игрушка...“ — вспомнила Даринька и велела сходить за Карпом. Утро, когда ездил она в город за игрушкой, показалось забытым сном, Анюта трогала ее за руку, показывала на стол: там чернелась из порванной бумаги каска. Говорила еще, что опять заезжала т а франтиха... Но т е п е р ь все сделалось ненужным: все сменилось совсем другим. Даринька вспоминала сердцем; „Вечная моя, Дари моя!..“ — жутко и радостно, как сказка. И, как в сказке, не верилось. Вспоминала еще слова, страстный и нежный шепот. Было душно, и жгло лицо. Закрывала глаза — и слышала, как сечет и сечет метелью. Анюта все-таки дозвалась, сказала, что еще принесли письмо.

Письмо было из Петербурга. Виктор Алексеевич писал, что без нее он сойдет с ума, что его тут „опутали“, что он самый последний человек, преступник. Даринька как будто понимала: это он хочет оправдаться, что они сходятся, и называет себя преступником. Письмо заканчивалось мольбой: „Дариня моя, святая! спаси меня!“ Была приписка, что приедет через дней пять... „и тогда наша жизнь будет безоблачна и чудесна, как никогда!“. За этим — еще приписано: „Жить без тебя нет сил, все брошу, душу тебе открою, ножки твои перецелую, и ты увидишь, что люблю одну и одну тебя, и все мне простишь, святая!..“ Просил написать ему хоть одно словечко и тут же писал: „Нет, не пиши, недостойн я твоего словечка... не хочу, чтобы даже словечко твое вошло ко мне... чистое твое словечко осквернится моей грязью!..“

Дариньку письмо смутило. Она поняла другое: не то, что он хочет ее оставить, он еще ее любит... говорит, что „жизнь наша будет теперь безоблачна“, — а то, что случилось что-то. Но что случилось? какая „грязь“?

Анюта сказала, что пришел Карп. Зачем Карп? „А про игрушку спросить хотела“.

Карп, недовольный, хмурый, все рассказал, как было.

Старая барыня взяла игрушку и спросила, вернулся ли из Петербурга барин. Велела подождать. Прибежал Витенька и сказал, что сегодня его рождение, и папа прислал ему письмо из Петербурга. Тут вошла ихняя супруга, Анна Васильевна, и — „так и ткнула игрушку в руки“. И велела сказать... Но Карп не осмелился сказать. „Дерзкое слово, неподобающее“. „Все равно, скажи“, — сказала, смутившись, Даринька, избегая смотреть на Карпа. „Ну, сами понимаете, Дарья Ивановна... намекнули на беззаконность с барином, вроде того, — нехотя сказал Карп, — и чтобы в ихнее дело не встревались насчет детей... и дверью хлопнули. Ну, Витенька заплакал, — „Каску хочу!..“ — его уж старая барыня увели“.

Даринька поняла, какое слово не сказал Карп. Конечно, „любовница“, „блудница“, как сказала тогда монахиня-сборщица на Тверской. Такая и есть, и все за глаза так и называют. И она вспомнила, как говорил ей Дима: „Вы святая, вечная моя, Дари моя...“ Ее почему-то испугало, что т а не в Петербурге.

— Даринька признавалась, — рассказывал Виктор Алексеевич, — что ей даже приходило в сердце, „как искушение“, — уйти к Вагаеву, стать и его любовницей, все равно... что она обезумела, вся была в исступлении. Ее испугало даже, что разрыва со мной не будет. Это, как и дальнейшее, объясняется как бы самовнушением, что Дима н а з н а ч е н ей. Но главное тут — отчаяние и боль, „страх греха“ и сознание, что „вся во грехе живет“. Она, по примеру Димы, обвела рамочкой в „Онегине“ отвечавшие сердцу строки:

То в высшем суждено совете...

То воля неба: я твоя.

Она металась. Отсюда — и „венец нетленный“, все разрешающий.

Было довольно поздно, когда позвонились на парадном. Даринька испугалась, что это о н. Но это принесли от н е г о цветы. Вагаев писал на карточке: „Ангел нежный, посылаю вам снежные цветы“. Это была корзина белых камелий и азалий. Не успели наахаться Анюта со старушкой, как снова позвонились и принесли из другого магазина: ландыши, цикламены и сирень — все снежное. На карточке стояло: „Завтра?“ Вагаев решительно безумствовал.

Было уже за полночь. Не раздеваясь, Даринька лежала в спальне. Горела ночная лампочка. Даринька вспоминала, как целовал ее Дима и умолял с ним ехать. Она знала, что не в силах противиться, что так и будет. Блудница, грешница... — все равно.

„Я себя разжигала мыслями, — писала она в „записке к ближним“, — припоминала самое искушающее, что читала в Четьи-Минеи о Марии Египетской, о преподобной Таисии-блуднице, о мученице Евдокии, „яже презельною своею красотою многия прельщающи, аки сетию улови“, о волшебной отроковице-прелестнице Мелетинии на винограднике, о преподобном Иакове-Постнике, о престрашном грехе его. В грехах их искала оправдания страстям своим и искушала Господа. Я распалаясь дерзанием пасть всех ниже, грехом растлиться и распять себя покаянием. Но Господь милостиво послал мне знамение-„крестный сон“, и я постигла безумие свое и утлое во мне. Приближалось последнее испытание“.

Даринька услышала за окошком — хрустело снегом, и почувствовала, что это о н. Она потушила лампочку и заглянула. В сугробе стоял Вагаев, в размашистой шинели, смотрел к окну. Ее толкнуло в глубь комнаты, „словно пронзило искрой“. Вспомнилось, как недавно он так же стоял в снегу, чтобы „только взглянуть на ваши окна“. Она затаилась и смотрела. Вагаев шагнул и постучал по стеклу, чуть слышно. Она не отозвалась, таилась. Думала: „Что же это... ночью, пришел, стучится... это только к т а к и м приходят ночью...“ Увидела, как он пошел. Тихо открыла форточку и слушала, как хрустит по снегу.

Утром Вагаев ждал ее у переулка на лихаче. Даринька была в ротонде и модной шляпке, придававшей задорный вид. Он встретил ее почтительно, восхитился, как она ослепительна сегодня, бережно усадил, склонился поцеловать, по Даринька пугливо отстранилась: нет, нет... Но почему же... вчера?.. Вчера?.. такая была метель... она ничего не помнит. Он посмотрел недоуменно и предложил поехать в Зоологический, там гуляние, катание с гор. Можно? Она кивнула. То, что было вчера, казалось „совсем не бывшим“. То было г д е-т о, совсем н е з д е с ь.

Метель утихла, проглядывало солнце. Вдоль улиц лежали горы снега, ползли извозчики. Вагаев теперь был тот же, смущающий, о п а с н ы й, — не тот, что вчера, в метели. Даринька чувствовала себя смущенной: хорошо ли это, что едет с ним? Он ее спрашивал, как она себя чувствует после вчерашнего приключения. Она сказала: „Будто во сне все было“. Он с удивлением повторил: „Во сне?..“ — и показалось, что он недоволен чем-то. Вспомнила про цветы, поблагодарила и сказала, что это ее стесняет. „Тут что-нибудь дурное? — спросил Вагаев. — Может подумать... Карп?“ Она поняла усмешку. „Да, и Карп, и... это меня стесняет“. Он склонился подчеркнуто. Ей стало его жалко, словно его обидела. Чтобы о чем-нибудь говорить, боясь, что начнет говорить Вагаев, она сказала, что получила письмо из Петербурга: Виктор Алексеевич приезжает на этих днях, пишет, что так соскучился... „А вы?“ — спросил с холодком Вагаев. „И я...“ — сказала она просто. „Значит, ничего не меняется, по-старому?..“ — „Не знаю...“ — сказала она, вздохнув.

Зоологический сад весь был завален снегом, но народ подъезжал под флаги. В высоких сугробах извивались посыпанные песком дорожки. В занесенных, пустынных клетках уныло серели пни, перепрыгивали снегири, сороки. С высоких тесовых гор, под веселыми флагами, с гулом катили „дилижань“, мчались под зелеными елками на снегу. На расчищенном кругло льду вертко носились конькобежцы, заложив руки за спину, возили на креслах детей и дам, под трубные звуки музыки. Вагаев предложил Дариньке — на коньках? Но она каталась еще плохо, — стыдливо отказалась. Он снял в теплушке шинель, надел серебряные коньки, усадил Дариньку на кресло с подрезами и погнал по зеленому льду так быстро, что замирало сердце. Потом показал искусство, резал фигуры и вензеля, делал „волчка“, вальсировал, и все на него залюбовались. Он был в венгерке, в тугих рейтузах, в алой, как мак, фуражке, красивый, ловкий. Когда они шли к горам, на

пустынной дорожке, за сугробом он смело поцеловал ее. Она испуганно на него взглянула, хотела что-то сказать ему, но тут подходила публика, и все закрылось.

Катались с гор, рухались на раскатах, ухали. Катальщики почуяли наживу, старались лише. Довольно „дилижанов“, санки! Даринька оживилась, забывалась. Страшно было ложиться на низкие, мягкие „американки“, стыдно было приваливаться к н е м у на грудь, запахивать открывавшиеся ноги, жутко — в самом низу, на спуске, в вихре морозной пыли, стыдно и радостно было слышать, как крепко правит его рука, как держат и нажимают ноги. Еще? Еще. Вагаев шептал: „Чудесно?“ Чудесно, да. Все забывалось в вихре. Вагаев горел в движениях, сжимал все крепче. Радостно было чувствовать, что он здесь, — не страшно. Вагаев правил уверенно. Все-таки раз свернулись, весело испугались, извалялись. Еще? Еще...

После катания поехали в „Большой Московский“, — хотелось есть. Слушали новую „машину“, огромную, как алтарь, в меди и серебре. Играла она „Лучинушку“ и „Тройку“. Вспомнился „музыкальный ящик“. Им подавали растегаи, стерляжью уху и рябчиков. Пили шампанское и кофе. Чудесно... куда теперь? Завтра опять на горы?.. Последний день. „Пошли дороги?“ — „Говорят, кажется...“

Лихач прокатил Кузнецким. После двух дней метели было особенно парадно, людно. Разгуливали франты, в пышных воротниках, в цилиндрах. Показывали меха и юбки бархатные прелестницы, щеголяли нарядные упряжки, гикали лихачи, страшно ныряя на ухабах, дымом дымились лошади. Побывали у немца на Петровке, выпили шоколаду и ликеру, зашли к Сиу. Поглядели чудесные прически, — забывчиво потянула Даринька. „Это бы вам пошло!“ — Даринька разгорелась, разогрелась. „Подарите мне этот вечер, — просил Вагаев, — завтра последний день... я не могу поверить... не видеть вас!..“ ... „Пошли дороги?..“ — „Да, кажется...“ Завтра, последний день... Где же ее увидит?.. Может быть, в цирк сегодня или в театр?.. Кажется, „Травиата“. Виолетта... несчастная, любовь. „Подарите?..“ В глазах Вагаева блеснуло. „Дарите, да?..“ — умолял он, выпрашивал. „Я не знаю...“ — взволнованно говорила Даринька. — Я не знаю, чего вы хотите от меня... не знаю...» — «Вас, — тихо сказал Вагаев, — единственную, всегда и безраздельно». — «Но... это невозможно?..» — вопросом сказала Даринька и узнала скрипучий голос: «Прелесть моя, жемчужина!»

У Большого театра неожиданно встретили барона. Он был в балете, на утреннем спектакле, смотрел «Дочь фараона». Был возбужденно весел, сипел сигарой, дышал вином. Барон закидал вопросами, льнул и лизал глазами. «Ну, не скучаете? а Виктор гуляет в Петербурге? Дима успешно развлекает? Гусары знают, как развлекать прелестных... Стойте, кажется, маскарад сегодня... было назначено 2-го, из-за метели отменили... Эй, шапка... бал-маскарад в Собрании?..» — «Так точно-с, ваше сиятельство, 4-го, сегодня-с!» Не поехать ли в маскарад? Никогда не бывали в маскараде! В Благородном собрании, ни разу?! Но это же ужасно!.. Барон убеждал Диму: бесчеловечно, непозволительно, преступно, не показывать Дариньку Москве... не показывать Дариньке Москву! Вагаев улыбался. У дядюшки превосходная идея! Совсем семейно, с почетным опекуном, с эскортом... можно? Платье? Сейчас же к Минан-гуа, огромный выбор, и маскарадные. Даринька растерялась, не решалась. Можно и домино, и стильное, и... Барон уверял, что святки на то и созданы, чтобы маскарады... женщины расцветают в маскарадах. Надо всего попробовать. Один раз в жизни даже и мона... Барона звали. Он не хотел и слушать отговорок, взял «честное слово женщины», что Даринька непременно будет. «Дима же завтра уезжает, можно ли быть такой жестокой?!»

«Чудесно! — восторженно говорил Вагаев. — Вечером слушаем „Травиату“. Вы не слышали „Травиаты“!.. Вы не можете отказать, не можете...» Он поманил посыльного и заказал ложу бенуара. Блестящая идея! Даринька восхищалась платьем?.. «Помните, на портрете, моя бабка... в Разумовском? Еще вы сказали: „Какие были платья?“ Такое будет!»

Лихач подал. Они покатали на Кузнецкий, на Дмитровку. Опять помело снежком.

— Даринька потеряла волю, рассказывал Виктор Алексеевич. — Восторженная ее головка

закружилась. Конечно, особенного чего тут не было, если отбросить щепетильность. Платье для маскарада... Ее одевали для веселья, выбрали на прокат «эпоху». Святочная игра. Дариньку это закружило. И все устроилось. Они достали в шикарном французском «доме», у Минангуа ли или у кого там... чудесное платье, «для императорского маскарада», воздушное, бледно-голубого газа, в золотых искорках и струйках... это, как называется... «ампир», талия под самой грудью... Помните, на портрете, Жозефина? Начала века, с пеной оборок, рюшей, какое надевали прелестные наши бабушки. Даринька покорялась с увлечением. Романтическая затея эта ее очаровала, усыпляла. Вызванный куафер с Кузнецкого, мэтр и Москвы, и Петербурга, творивший свои модели, убиравший высокую знать столиц, показал высокое свое искусство. «Матерьял» поразил его богатством, он, говорила Даринька, прищелкивал языком, замирал над ее головкой со щипцами и повторял: «Тут есть над чем поиграть, с такими в о л о с т я м и, для весь Париж!» Даринькой овладели, сделали из нее «мечту». Так говорил Вагаев. Этот, единственный в жизни, «маскарад» Даринька вспоминала с горьким каким-то упоением. Когда ее всю «закончили» и она увидела себя зеркальной, снятой с чудесного портрета, у нее закружилась голова. Закружилась она у многих. Она была подлинная графиня Д., воскресшая, «непостижимая», как писал в «Современных известиях» хроникер в отчете. Явилась «царицей маскарада, мимолетной...»

Вагаев приехал за ней в карете, чтобы везти в театр, и был ослеплен «видением»: она «светилась».

XXVII МАСКАРАД

В тот «маскарадный» день Даринька «себя не сознала» и не могла впоследствии объяснить, где одевали ее для маскарада: «В каком-то большом доме, а где- не знаю».

— Это был какой-то «маскарад в маскараде», — рассказывал Виктор Алексеевич, — Дариньку называли там «графиней», а Вагаева «женихом» ее. С ней обращались, как с неживой, вскружили ей голову романтикой, перекинули маскарадом за полвека, и она спуталась и закружилась.

Одевали ее в зале с бархатными диванами, на которых были разложены невиданные платья. Рядом тоже, должно быть, наряжались, пробегали с нарядами модистки, слышался женский смех. Важная дама, в бархатном платье, румяная, седая, с необыкновенным бюстом, сама занималась Даринькой. Три мастерицы раздевали и одевали Дариньку, показывали даме, та отменяла пальцем, и Дариньку снова одевали. Наконец, дама выбрала, велела пододвинуть египетское трюмо, всячески оглядела, повертела и сказала, совсем довольная: «Как вы находите, г р а ф и н я?...» И сама за нее ответила: «Прелестно... ваш ж е н и х это именно и желал». Даринька удивилась, что дама говорит такое... но ее изумило платье, закрыло все. Платье было «как в сказке», как на портрете в Разумовском: из голубого газа на серебристом шелку, в золотых искорках и струйках, талия высоко под грудью, пышно нагофренной, схватывалась жемчужной лентой, падало совсем свободно, пенилось снизу буфами, было воздушно-вольно, не чувствовалось совсем, раскрывало в движениях тело, держалось буфчиками у плеч — и только. Даринька восхитилась и смутилась: плечи и грудь у нее были совсем открыты. Она прикрылась руками и смотрела с мольбой на даму: «Но э т о... невозможно!»... «Это же бальное, г р а ф и н я... — удивленно сказала дама, — что вас смущает... князь сам и выбирал...» И показала Дариньке пожелтевший фасонный лист, где поблеклыми красками одинаково улыбались жеманницы в кисейках. Даринька опустила руки. Мастерицы восторженно шептались: «Чудо... один восторг!» Дариньку восхищало и смущало, что она вся д р у г а я, что она «вся раздета», что на ней все чужое, до кружевной сорочки, ажурных чулок и туфелек. Но когда причесал ее куафер и преклонился, как зачарованный, когда пропустили под завитками, чуть тронув лоб, лазурно-жемчужную повязку, когда дама надела ей жемчужное ожерелье с изумрудными уголками-остриями, натянули до локотков перчатки и мастерица веером разметала трэн, а восторженный куафер, что-то прикинув глазом и схватив что-то важное, выбрал серебряный гребень веретеном и впустил его в узел кос как последнее завершение шедевра, — Даринька все забыла. Смотрелась- не смела верить, что та, зеркальная и чужая, — сама она.

Когда пораженный в и д е н и е м Вагаев благоговейно прикрыл ей плечи пухом сорти-де-баль, Даринька растерянно спросила — а как же ее платье?.. Будет доставлено. А — это?.. — кивнула

она на ожерелье. Вагаев развел руками и склонился. «Я говорила, я не могу... такое...» — «Это барон... не огорчайтесь, не разрушайте очарования, я все устрою... — просил Вагаев. — Если вам рассказать, как он безумствует...» Даринька смутилась и сказала: «Вы не знаете, я вам должна сказать...»

Начавшаяся опять метель переходила в бурю, когда Вагаев подсаживал Дариньку в карету, «Счастье! — сказал он радостно. — Дороги опять станут». — «И вы останетесь», — игриво сказала Даринька. «Я хотел бы остаться вечно».

Секло в окно кареты, трепало газовые рожки, гасило редкие фонари. Вагаев взял Даринькину руку и говорил, волнуясь, что это самый счастливый день, что она — «мечта», влекущая, недостижимая, вечная, воплотившая чудесно, неуловимая, Если бы он не знал всей чистоты и святости, которые воплотились в ней, он обманулся бы и сказал, что она самая опасная кокетка. Говорил что-то непонятное, называл «тициановской женщиной»... «Но не та вы, не та, которую видели с вами у Аванцо. „Лаура де Дианти“... — только овал вашего лица. Ваши глаза неповторимы... ни у одной Мадонны...» Говорил возбужденно, страстно и называл — г р а ф и н я. Она спросила, смущенная, почему называет ее графиней... — что она так одета? «Земного имени нет у вас, небесная вы, пречистая... Святая Дева!..» — воскликнул он, совершенно безумствуя. Она отстранилась, в ужасе: «Нельзя... не надо так говорить... не смейте, вас Бог накажет!..» — и сжалась в углу кареты. В это время карета загремела под сводами театра.

Съезд кончился. В гулких сенях сидели у стен ливрейные лакеи с шубами на руках. В круглившихся пузато светло-лимонных коридорах было пустынно-строго, приглушенно играл оркестр. Даринька услышала радостный запах газа, увидела лепные литеры на стене — «Ложи бенуара, правая сторона», волнующие чем-то. Старичок капельдинер взял розовый билетик, вскинул на кончик носа серебряное пенсне и повел за собой — к «директорской». «Это не... „Травиата“!.. — сказал Вагаев и просиял: Чудесно, Дари... „Фауст“!» «Фауст, ваше сиятельство, „Травиату“ отменили, главная наша солистка заболела», — шепнул старичок и бесшумно открыл им ложу.

Притаившийся темный зал пугал огромностью пустоты, из которой мерцало и следило. Музыка пела страстью, стена раскрылась, и явилось сияние — Маргарита, белая вся, за прялкой. Вагаев шепотом объяснял, трогал усами локон. Красноногий, вертлявый Мефистофель увлекал Фауста — красавца, с пышным пером на шляпе. Вспыхнула хрустальными люстра, все золотисто осветилось, и они перешли в салончик.

Было все то же, как недавно, на «Коньке-Горбунке», и, кажется, самая та ложа, и ароматная теплота и шорох, и сверканье, но Вагаев теперь был ближе. Блестящий и обаятельный, с восторженными глазами без усмешки, чего-то ждущими, он держал затянутую перчаткой ее руку и объяснял ей «Фауста». Радостные его глаза встречали ее глаза, она отводила их — и чувствовала к нему влечение. Не жарко? Может быть, снимет сорти-де-баль? Нет, не жарко. Она смущалась, что он увидит ее, т а к у ю. Он говорил о маскарде. Почему танцевать не будет? не умеет?!.. Этого быть не может. Она танцевала немного вальс, до т о г о, до монастыря, ее научил а барышня, дочка домовладельца, ей очень нравилось, но она забыла. Но это же так просто, забыть нельзя!.. Она сама увидит, как это легко и просто. Нет, нет, он ее пригласит на вальс... Все, что она ни делает, все прекрасно. «Милая, Дари... — нежно шептал Вагаев. — Вы не откажете? Знаете что, мы с вами сейчас прорепетируем! сейчас будет прелестный вальс, и мы протанцуем под сурдинку... можно?...» Даринька страшно взволновалась.

Музыка сделалась веселой, громкой. Выступали на сцене горожане, женщины в чепчиках переругивались с девчонками, старички что-то шамкали, смеялись и ловко стучали костыльками под хохотки. Проходила скромница Маргарита, в белом, Фауст приветствовал ее поклоном, размахивая шляпой, Мефистофель гримасничал. «Идемте, — подал Вагаев руку, — сейчас заиграют вальс».

В салончике он раскрыл ее, очаровался, обнял за талию, она, зардевшись, положила ему на плечо

руку, и они, зачарованные вальсом, необычайностью и друг другом, тихо кружились и кружились. «Чудесно вальсируете, мягко... склонитесь еще ко мне... не бойтесь меня, Дари...» — шептал Вагаев и обнимал глазами. У нее закружилась голова от непривычки. Он опустил ее на диванчик и стал перед ней на колени. «Я совсем забылась... что вы только делаете со мной!..» «Скажите, что сказали вчера, в метели, — шептал Вагаев, — повторите, что любите... скажите!..» «Пойдемте», — сказала Даринька и быстро взяла накидку. Он взял у нее сорти, прикрыл нежные ее плечи и поцеловал неожиданно у ожерелья. Она шатнулась, взглянула горячим взглядом и сказала: «Вы обещали... я согласилась ехать, и вы!..» И она вышла в ложу. Он сел за ней.

На Мефистофеля наступали — крестили крестами-шпагами. Он корчился и злобно извивался. Высокий красавец воин, в желтых высоких сапогах, молился за дорогую сестру. Даринька жалела, что обошлась с Вагаевым так резко, заглянула через плечо и улыбнулась. Он ответно, но виновато улыбнулся. Она шепнула, что «Фауст» ей очень нравится.

Валентин пел у самой ramпы, прикладывая руку к сердцу:

Ты защити ее...

От зла, от искушений...

Сцена с ожерельем Дариньку очень взволновала. Мефистофель, в кровавом свете, пугал ее, Томящая негой музыка, роковой поцелуй-падение и торжествующий хохот Мефистофеля — смутили. Вагаев спрашивал, нравится ли ей эта сцена. Ей нравилось, но она боялась ему сказать.

Подали фрукты, оршад и шоколадные конфеты с ромом. Вагаев помнил, что она любила — с ромом. Гуляли в коридоре, Даринька не хотела идти в фойе. Вагаев ей напомнил, что она что-то ему хотела... про барона?.. Она ему рассказала все. Он страшно возмутился и по-бледнел. «Тетя Паня»? Какая ложь! У него ничего с ней не было, да и не могло быть. Когда-то была за старым интендантом, потом стала любовницей барона, теперь... — об этом он говорить не может. Барон безумствует! Неужели она, у этой... твари! «Чистая, святая... в этой яме!..» Отказывался верить. Она ему сказала, как охватило ее отчаяние и как сохранило ее чудо, — явилась матушка Агния... и Карп ей открыл весь «ужас». Карп? тот самый? «Молодец Карп!» — без усмешки сказал Вагаев.

Опера кончилась, Маргарита все-таки спаслась, ангелы взяли ее душу, лукавый с грохотом провалился в ад.

— Князя Вагаева карету-у!.. В «Эрмитаж»!

Ужинали в отдельном кабинете. Было шампанское. Слышно было — играли вальс. «Позвольте... тур вальса?» Вальс увлекал ее, она позволила. С шампанского ли, от конфет ли с ромом — ей стало дурно, «будто остановилось сердце». В памяти Дариньки осталось, как побледнел Вагаев, обнял ее и, поддерживая, повел куда-то.

После короткого забытья — минута, сколько?.. — она не помнила, — югда открыла она глаза, Вагаев стоял возле дивана на коленях и целовал ей плечи. Он был взволнован, глаза блестели. Он говорил бессвязно, он безумно счастлив, что она его любит, любит... что она с ним уедет, станет его, совсем... что он разорвет преграды и все сломает, что без нее нет жизни. Она говорила э т о?! что «с ним уедет»? Она ничего не помнила, чувствовала полную разбитость. Он целовал податливые ее руки, просил: «Скажите, повторите, что сказали». Лицо ее горело. Она сказала, что ничего не помнит. Ах, в маскарад еще...

Она поднялась с дивана, он помог ей. Не кружится? Нет, прошло. Выпила воды, поправила перед зеркалом прическу. Он подошел и обнял. Она, «ничего не соображая, растерявшись», сказала в зеркало; «Ой, изомнете платье...» — обернулась и обняла его. Это был «грех невольный», так она после признавалась. Тут же пришла в себя, вырвалась из его объятий и оградила себя руками: «Нет, не надо... нет, нет!..» В «голубых письмах» Вагаев говорил ей, что она была «повелевающе-прекрасна», и он перед ней склонился. Т а к о й он никогда не видел, т а к о й и нет.

У Благородного собрания лежали горы снега, наскакивали конные жандармы, метались флаги, вздымались дышла бешеных лошадей, кареты... Газовые языки трепало, откуда-то летели искры, лепило снегом. Красно-золотые великаны с булавами распахивали звонко двери. Вагаев вел Дарнньку по бархатному ковру пышно-нарядной лестницы, уставленной лаврами и пальмами. В зеркале во всю стену было видно, как им навстречу медленно подымалась такая же голубая, бледная, с прелестными нежными плечами, и красавец гусар в жгутах, в снежно-крылатом ментике. Маскарад был в разгаре. На широкой площадке, в зеркальных окнах, прогуливались фраки и домино. Все смотрели, — казалось Дариньке. Вагаев был празднично-параден, как в Светлый День. «Какая пара!» — слышала ясно Даринька.

Маскарад был парадный, «под покровительством», — «в помощь братьям-славянам». В бриллиантовых шифрах дамы продавали бутоньерки в национальных лентах. Даринька украсилась цветами. Они проходили в белый колонный зал, мимо зеркал на бархате, дробясь и повторяя блистающие Даринькины плечи над голубым «ампиром» и алое с золотом жгутами, в пестрой толпе болгарок, юнаков, черногорцев, рыбачек, капуцинов, баядерок, розовых бэбэ, засыпанных цветами «добровольцев»... Полумаски загадочно шептали: «Узнай, кто я?» Амуры-почтальоны с колчанами разносили на стрелках «раны» и «бийе ду» — признания. Даринька терялась: амуры налетали роем, касались стрелкой, щекотали плечи. Вагаев восхищался: «Вот успех!» Белые колонны, люстры, люстры... Бескрайний зал вдруг уходил куда-то, вспыхивал, терялся, пылал сверкающими поясами люстр, в колоннах, между колонн, сиял огнями бриллиантов, плечами, играл глазами, отблеском пластронов, лысин, муара, фраков, дышал духами и цветами. На хорах, в люстрах, над люстрами, под люстрами играли вперемешку два оркестра: духовой — военный и струнный — бальный. Над ними, под плафоном, заглядывала на жаркое веселье в окна-арки черная ночь в метели.

«Вальс... г р а ф и н я?...» Вагаев почтительно склонился. Они кружились, позабыв о всех.

Когда они сидели за колоннами, к ним подошел барон, блистающий, во фраке и с гвоздичкой. Поражался: да где же они были столько? Воскликнул в раже: «Молюсь, благоговею!.. венчик, венчик!..» Просил — на вальс: один тур вальса! Даринька отговорила: так устала. «У-ста-ли... — барон прищурился и усмехнулся, — Дима уже утомил, успел!.. Но со старичком — то неутомительно!..» Барон был совершенно невозможен, навязчив, лизал глазами, смотрел на... ожерелье? «Но позвольте хоть показаться с вами... показать вас!» — «Снизойдите, — просил Вагаев, — дядюшка влюблен немножко, но это, право, не опасно». Даринька пошла с бароном, Вагаев остановился с адъютантом. Барон, красуясь, водил ее по залам, по гостиным, показывал огромную Екатерину, говорил: «Вот

женщина! любить умела!» Представлял каких-то, важных. Ей целовали руку, перед ней склонялись, преклонялись. Женщины оглядывали затаенно, остро: «Мила...» Древний генерал в регалиях и ленте, на костылях, вскрипел с одышкой: «Бо-ог мой! но до чего же она хороша... живая Кэтти!..» Так называли в своем кругу когда-то графиню Д. «Слышите?... — польщенный, скрипел барон, косясь на ее плечи, — „живая Кэтти“!, Вы — г р а ф и н я к р о в и... ка-ак все смотрят, какой успех!»

— Барон безумствовал открыто, — рассказывал Виктор Алексеевич, — клялся, умолял «завтра же оформить», — под венец! Совершенно оголился, бесстыдничал. Говорил, что «будет по контракту», «все на вас!». Впал в детство. Слюнявил плечи, называл — «святой бутончик». Уверял, что я не могу жениться, жена не даст развода, а он «даст имя», что он «готов на самое ужасное...». Словом, обезумел совершенно. Про Диму... что — пустельга, мальчишка, ветер... «сомнет цветочек, а сам в кусточек», любовницы и в Петербурге, и в Москве, что и у меня «старинная любовница», давно известно. Даринька возмутилась... — представляете, она-то... возмутилась! — встала и ушла. Он побежал за ней, вприскок, все забыл. Врал кругом направо и налево — это узналось, — что она его! С Димой хоть на дуэли драться. Дамы пустили сплетню, что это «новая кокотка», стиль-нуво под Гретхен. Пошло сейчас, что и князь Долгоруков как-то тут замешан, приревновал к Вагаеву и посадил на гауптвахту крестничка! Князь там был. Пересдавали, что обратили его внимание на Дариньку. Он ее заметил, восхищался туалетом, ее

«ампиром» и ее лицом, всем в ней. Передавали его бо-мо: «Vraiment, elle est d'un empir incontestable»[3]. Всех интриговало пущенное бароном, что это «сбежавшая монашка», «морганатическая графиня Д.», «праправнучка... святителя»!..

В четвертом часу утра Вагаев довез Дариньку до переулкa: дальше карета не могла проехать. Он донес ее до крыльца через сугробы, и долго они не могли расстаться.

Успех Дариньки в маскараде совсем закружил Вагаева и «все перепутал» в Дариньке.

Но в о й явилась она ему, «еще и нежданно новой». Он умолял ее ехать с ним, — «сразу порвать все нити и завтра же ехать в Петербург, несмотря ни на что, на „тройках“, угрожая переломать всю жизнь, если она не согласится». Она ему говорила что-то, «кажется, обещала ехать», вспоминала она потом, но что говорила, — помнила: «Все забыла». В свете от фонаря, захлестанного снегом, увидел, какое измученное у нее лицо, — детское, девичье лицо! — пал перед нею на колени и целовал ей ноги, бархатные ее сапожки. Сонная Анюта увидела Дариньку и обомлела. Пялила глаза, как видение, ужасалась: «Барыня... какая... как самая царица!» Даринька закрылась в спальне, зажгла у трюмо свечи и долго вглядывалась в себя... в пылающие люстры, оставшиеся в глазах, в увядшие, безуханные цветы. Не познанная доселе горечь, боль о чем-то, утраченном и невозвратном, томила сердце. Смотрела долго... Зеркало туманилось, поплыло, текло стеклянными волнами...

Даринька долго не могла забыться. Видела сны, в обрывках. Очнулась совсем разъятая, в истоме.

XXVIII ВРАЗУМЛЕНИЕ

В сновидениях Дариньки было что-то ужасно неприятное, и это неприятное связывалось с какой-то девочкой в одной рубашке. Девочка была очень неприятная, ротастая, путалась под ногами, показывала ей глазами, на что-то намекая, и от этого было неприятно. Очнувшись, Даринька увидела полыхание на потолке, подумала в испуге — не пожар ли, но это полыхала обертка свечи у зеркала, швыряя синие языки. Чувствовалась истома и тошнота, и не хотелось вставать тушить. Но она пересилила себя и потушила, и увидела синевший в окне рассвет. Платье-ампир на кресле и серебристая туфелька вызвали в мыслях пылавшие огни люстр и томящие звуки вальса. Даринька увидела у постели ожерелье, — разглядывала вчера и уронила, сунула под подушку и, отдавшись мечтам, уснула.

Проснулась — и испугалась, что проспала. В комнате было мутновато. «Господи, все метет!..» — подумала она радостно и почувствовала себя укрытой. Это чувство уюта и огражденности, рождавшееся с метелью, вызывало в ней легкость и оживление. Виктор Алексеевич говорил, что Даринька радовалась всему, что обычно мешает людям: зарядившим дождям и непогоде, страшной грозе и ливням, большому водополю и морозам. Осенние звездопады приводили ее в восторг. Она бы, кажется, ликовала, если бы вострубила труба Архангела! Она отвечала, вздыхая, — да...

В это молочное от метели утро радость все закрыла. Она пробежала босиком посмотреть на часы в столовой, — десять скоро! — увидела в зеркале, какая красивая на ней сорочка, тонкая, в кружевах, и крикнула Анюте, чтобы несла поскорей воды — «из кувшина прямо, с ледышками!». Локоны мешали умываться, и она их обернула в полотенце. Анюта говорила ей про письмо и про какой-то картон, который, принесли от большой портнихи, но Даринька отмахнулась;- после. Надела серенькое, которое понравилось тогда Диме, подумала шубку или ротонду? Ротонда мешала кататься с гор, все равно открывала ноги и попадала под подрезы. И решила — шубку, Анюта смеялась, что барыня чай даже разучилась пить. Даринькс было не до чаю: глотнула и обожглась, — было без пяти одиннадцать.

Карп отгребал ворота. Совсем задавило снегом, не видано никогда. «Хлеба, говорят, больше будут!» — сказала Даринька, радуясь, что Карп не спросил, куда это в метелицу такую, и побежала сугробами.

Снег был такой глубокий, что даже у заборов, где прохожие протоптали стезжку, нелегко было пробираться, и ей сыпало за сапожки. Вагаев шел ей навстречу переулком, в легком пальто, и казался совсем молоденьким. Они протянули руки, как очень близкие, поглядели в глаза и засмеялись. Метель какая! Дороги опять остановились? И надолго! Шли рядом, путаясь и теснясь на стезжке, спотыкаясь на гор-быльках. Чувствовалось совсем легко. Вагаев радостно говорил, что все куда-то попрятались, спасибо — лихач попался, никто не едет. «А бедный Огарок наш...» — «А что с Огарочком?» — «Кончились для него бега, засек ноги, плечи набил до ран». — «Бедный Огарочек»... Барон совершенно не в себе, бесится за Огарка, но тут другое: «Ваш вчерашний триумф совершенно его ошеломил. Только о вас и бредит, а вчера в клубе только о вас и говорили»... Что говорили о ней? «Тонкая вы кокетка... вот не думал!» Она кокетка! И чувствовала сама, как все в ней играет прелестью. «Вы принесли мне счастье. Я не мог спать, махнул в клуб и выиграл двадцать тысяч». «Это ужасно много?» — спросила Даринька, думая о другом.

Он укутал ей пледом ноги, запахнул полостью, обнял за талию, и она уже не боялась, а крепко к нему прильнула.

Рассказывая Виктору Алексеевичу о «безумстве», Даринька объяснила это тем странным состоянием, в котором она была: она была «как бы вынута из жизни... была где-то». Вагаев был для нее не прежний опасный обольститель, а совсем свой, будто ей чем-то близкий. Она уверяла, что не чувствовалось греха, что они были как брат и сестра, больше даже, и — «было все н о в о е, другое, не как всегда», и Вагаев сам это чувствовал и восторженно говорил: «Свет идет на меня от вас». — Я сам не раз это испытал, — рассказывал Виктор Алексеевич, — это душевное обновление. Не раз бывало, что Даринька переставала быть женщиной для меня, и это было высокое блаженство, какое-то «созерцание любви». Впервые в ней пробудилась женщина после «прощения» матушки Агнии, после встречи с Вагаевым у бульвара. Возбужденная потрясением в Страстном и пестротой жизни, она сама привлекала меня. Это земное, страстное обнаружилось в ней тогда впервые и завершилось страданием. Я знаю, что и Дима почувствовал в ней — он высказал это после, в письмах, — почувствовал инстинктивно, ее глазах, по ее отсутствующему виду, что она необыкновенная, что в ней — с в я т о е... и сдерживался невольно, обновлялся... и все более влекся к ней. В обычной обстановке Даринька видела в нем красивого мужчину, обаятельного, влекущего, боролась с собой, пугая себя г р е х о м, доходила до исступления, истязала даже себя... — я ужаснулся, когда узнал. Но в этот последний день, когда для нее и дня-то не было, как в поездку из Разумовского, она пребывала в «уюте от земного», огражденности от всего греховного, в неизъяснимом своем н и ч т о. Она не умела определить, говорила восторженно: «Будто не на земле... какое-то н и к а к о е, совсем пустое!» Пустое — конечно, в нашем, земном определении. Это как бы предчувствование «миров иных», особого, духовного созерцания, внечеловеческого. Об этом можно только догадываться по житиям, по несказанному блаженству Угодников, — вспомните «видение белых птиц» Сергию Преподобному, рассказы о Серафиме Саровском... по блаженным мигам у эпилептиков... Даринька говорила: «Я испытывала такую легкость, будто тело мое пропало, как вот во сне бывает, когда летаешь...» Подобное «обмирание», замирание в ней телесного я заметил в первые еще дни нашей совместной жизни. Часто она вздыхала, вздыхала. Спросишь — не болит ли сердце. Нет, не болит. Может быть, скучно, душа болит? Нет. Но почему так вздыхаешь? «Не знаю... т а к». Или- вышивает в пальцах, откинется и — смотрит. Спросишь: «Ты что, Дарок?» Вздогнет и улыбнется виновато: «Не знаю... т а к». И такое у нее лицо... я перед нею падал, как перед самым святым. А когда приручилась, привыкла ко мне, узнал и еще другое, — душевные возгласы ее. Когда бывало тихо, в часы вечерние, летние... Когда в комнатах солнце, совсем косое, с червонной этой пурпурностью, похожей на отсвет печного жара, — бывало, вздогнешь, когда рождается из тишины нежный, хрустальный вздох: «Из глубины воззвах к Тебе, Го-споди!» — или, любимое ее: «Изведи из темницы душу мою!» Глубинный возглас, из недр души. И такое томяще-грустное в нем, будто она воистину узница в темнице, во свете сем. И я чувствовал оторопь. Полный тогда невер, я ощущал всю зыбкость, непрочность жизни. Не тесную для души темницу, не предчувствование «миров иных», ведомое святым или величайшим поэтам, тоскующим «в забавах мира», кого тревожит «жизни мышья беготня»... а именно, — н е п р о ч н о с т ь з е м н о г о, з д е ш н е г о, при всей

для меня незыблемости «земных законов».

Они поехали в Зоологический сад. Метель крутила пуще вчерашнего, все перепутала, — дня не видно. В Зоологическом не было ни души, все завалило снегом. Они шли по излучинам, в сугробах, из которых торчали занесенные наглухо беседки, клетки. Все вымерло, схоронилось, затаилось, — радовалась одна сорока. Даринька остановилась у сороки, обласкала ее бауточкой: «Сорока-белобока, до-лгой носок, зеле-ный хвосток!» И Вагаев поцеловал ее. Она только сказала: «Сорока смотрит». Совсем было трудно пробираться. Куда, зачем... — об этом они не думали. Так, хотелось. Все застилало мутью, и в этой снующей мути — казалось Дариньке — кто-то выл. Проступили из мути доски, и они признали обшивку гор. Мужики разгребали, отвозили в корзинах снег. «Какое теперь катанье... все горы завалило, не отгребешься, — сказали им мужики, — на каток ступайте, там, может, и поразмели маленько». Было как в зимнем поле. Они прошли на каток, к теплушке. В теплушке сидел на метлах сторож. Сказал: «Какое катание нонче, робята ушли обедать, воротятся — прочистим для вас маленько». Совсем пустынное житие. Дариньке не хотелось уезжать: «Еще немножко, останемся!»

Не зная, куда пойти, они заглянули в ресторанчик. Унылый лакей сказал, что есть рябчики, есть и шампанское. Они заказали рябчики, шампанское и чаю и просидели до сумерек, не смущаемые никем. Время пропало за метелью. О чем говорили — не помнилось. Были где-то, где не было никого и н и ч е г о, — они да вьюга. И в этой вьюге тоненько кто-то выл. Все изменилось в этом, и... «как будто решили ехать, вместе...» — помнилось Дариньке неясно. Ходили у сугробов, рука в руку.

Зашли в теплушку на каток. Мужики расчистили им немного, поразмели, Вагаев покатал Дариньку на креслах. Посидели в теплушке с мужиками. Жарко горела печка. «Что это воет так?» — спросила Даринька. «Волки», барышня... — сказал мужик, кутивший на куче метел. — «Святки, самое им время бегаться, а они вон в плену сидят». Даринька удивилась: волки! «У каждого свое занятие...» — продолжал мужик, а другие чего-то засмеялись. «А чего смеяться, — сказал мужик, — каждое дыхание скучает. Я вот по водочке скучаю, ваше благородие... а барышня, чай, конфетов хочет... у каждого своя скука». Вагаеву мужик понравился, и он дал мужикам на водку. Мужики оживились и предлагали весь им каток расчистить, даже шары зажечь, но было уже время ехать. Давно стемнело, когда, путаясь в снеговых прогревах, выбрались они к выходу.

Лихач почему-то не дождался. Нашли сироту-извозчика, и он потащил их в гору. В Кудрине пересели на лихача, вдребезги пьяного, который мотал их долго и привез к Сухаревой Башне. Да зачем же к Сухаревой? «А то куда же? Эн вам куда, к Штрашно-му... а по мне хошь в Питер!...» — «Слышали?...» — сказал Дариньке Вагаев. — «Почему вы такая... не озябли?» Дариньке было грустно, что кончился этот чудесный день.

Лихач довез, наконец, до переулка, но в переулок пролезть не мог. «Можно к вам... выкурю только папиросу?» — сказал Вагаев. Даринька вспомнила про шарфик. «Ах, забыла отдать вам шарфик...»

Стежку совсем засыпало. Вагаев быстро сказал: «Позвольте?...» — подхватил на руки и понес. «Что вы... зачем!...» — шептала в испуге Даринька, но он не слушал. «Вы устали... вчера позволили...» Он донес ее до крыльца, бережно опустил, и они увидели Карпа.

Карп нагребал снег в ящик и отвозил в ворота на салазках, — работал не видя их. Даринька тихо позвонила. Никто не шел. Карп вернулся, опять наваливал. Даринька позвонила громче. Карп, наконец, заметил. «Придется, Дарья Ивановна, уж двором...» — сказал он, будто давно их видел, — никого дома нет. Девчонку давеча тетка забрала, завтра престол у них в Дорогомилове, Богоявление... а старуха ко всенощной пошла, скоро должна вернуться». Даринька вспомнила — испугалась: «Го-споди! да ведь сочельник нынче... завтра Богоявление Господне, Животворящий Крест погружали... водосвятие сегодня было!...» Вагаев спрашивал Карпа: «Так это ты Карп, братец?» — «Так точно, ваше благородие, Карп... а что-с?» — «Солдат!» — «Был и в солдатах...» — «Гвардеец?» Карп был высокий, складной. «Никак нет, ваше благородие... первой роты 3-го

гренадерского Перновского, короля Фридриха-Вильгельма IV-го полку!» — четко ответил Карп. Вагаев достал бумажник. «Держи... ты молодчина, Карп!» Карп пошевеливал лопаткой. «Тебе говорят, держи!» — настойчиво повторил Вагаев. «Да за что же... мне-то, ваше благородие?» — «А... за службу!» — «Да мы с вами и не одного полку... будто и не за что...» — отвечал Карп, разминая лопатой снег. «Разговаривай еще... по душам дают...». В тоне Вагаева Дариинька услышала раздражение и как будто смущение. Карп взял бумажку, сказал раздумчиво: «Ну, благодарим покорно, ваше благородие», — и тронул шапку. «Так что двором, Дарья Ивановна, придется...» — сказал он так же раздумчиво и опять принялся за снег.

Случилось как-то само собой. Даринька не звала, и Вагаев не просил позволения зайти, но они вместе пошли двором, и Даринька в темноте остерегала: «Порожек тут». В темных сенях нашарила скобу и сказала невидному Вагаеву: «Сейчас засвечу огонь».

Себя не слыша, «словно меня пришибло», Даринька пробежала в комнаты, думая об одном — о свете. Искала спички, — забыла, куда их клали. Вспомнила, что в буфете за правой створкой, где выдвижная доска, на которой опраляла она лампадки. Она нащупала, быстро открыла дверцу — и грохнулось что-то дребезгом и плеском. Не соображая от испуга, схватила она спички и, хрупая по стеклам, нашарила на стенке расхожую лампочку-коптылку. Увидела при свете, что разбился стеклянный кувшин с водой, оказавшийся почему-то на буфете: по всему полу текли потеки. Увидела среди осколков восковую свечу с голубым бантиком и с ужасом постигла, что святая это вода, богоявленская, кем-то принесенная из церкви, — и она разлила ее! Схватила за голову в смятенье и увидела Вагаева: он стоял у дверей из коридора и смотрел на нее с испугом. Она показала ему на стекла и потеки и сказала не своим голосом: «Я... пролила святое... богоявленскую воду... разлила...» Он подошел к ней, не понимая, что она так расстроилась, и восторженно повторяя: «Глаза... какие у вас глаза... глаза какие!» Снял с нее шубку и сапожки. Она давалась ему послушно.

Они перешли в залу. Сидели на «пламенном» диване, в слабом свете от лампочки, светившей с притолоки в столовой. Даринька, как была в сереньком платье, чистом, которое она надевала в церковь и которое делало ее совсем юной и тоненькой, сидела подавленная и слабая. «Почему вы такая, Дари... что с вами?» — сказал Вагаев, целуя руки. Руки были холодные, немые. Она увидела его глаза, схватила его руку и затряслась в рыданиях. Он ее успокаивал, что это такие пустяки, воду можно достать, он сейчас же пойдет и принесет, лишь бы она была спокойна, гладил ее кудряшки, прижимал голову к себе. Она продолжала плакать, навзрыдно, вздохами, и в этих вздохах вышептывались слова, толчками. «Ну, не надо... нежная моя, светлая Дари... девочка моя святая...» Она выплакивалась, надрывно, что все забыла... Господа забыла... такой день... и она забыла... Он утешал ее, повторял самые те слова, какие говорил Виктор Алексеевич, когда прибежала она памятным майским утром, — страстно ласкал ее, целовал мокрые глаза, кудряшки, щеки, детски сомлевший рот, путавшиеся локоны у щек... шептал горячо, невнятно, и сильнее прижимал к груди. Себя не помня, отдаваясь влекущей ласке, может быть с кем-то путая, она прильнула к нему, ища защиты...

В этот последний миг, когда гасло ее сознание, грозный удар, как громом, потряс весь дом. Даринька вскрикнула, вырвалась из его объятий и кинулась в темный коридор. Осталась в ее глазах качавшаяся в углу лампадка.

Она прибежала в «детскую» и защелкнулась на крючок. Стояла, в ужасе, оглушенная, не сознавая, что с ней случилось. Нажимала крючком на петлю, дрожала, ждала чего-то, самого страшного, и слышала, как звенит в ушах. Слышала-повторяла мысли: «Нет, никогда, нет, нет...» — словно оборонялась от кого-то. И услышала, что Вагаев зовет ее.

Он стоял в темном коридоре, не зная, куда идти. Она затаилась, в страхе, что он может найти ее. Слушала, как в ушах стучало: «Нет, никогда, нет, нет...» «Дари, послушайте...» — звал Вагаев. Она не узнала голоса. И, страшась, что найдет ее, отозвалась бессильно: «Ради Бога... оставьте меня... я не могу к вам выйти...» Он ответил: «Успокойтесь, я ухожу... — голос его срывался, — Дари, я люблю вас... без вас я не буду жить... верьте мне, Дари!» Она едва выговорила с болью:

«Верю, но не могу выйти... простите меня...» И она стиснула зубы, чтобы не закричать. Он сказал: «Простите меня... завтра увидимся, да?...» Через силу, себя не помня, она прошептала «да». И услышала, как уходили его шаги, позванивая тихо. Слушала напряженно, как звон затих и стукнула дверь парадного.

В «записке к ближним» Дарья Ивановна записала об этом мне:

«Услыша слух Твой, и убояхся, слава силе Твоей, Господи».

«Ум мутится, как вспомню, во что обратилась бы жизнь моя, если бы не Милосердие Господне. В порыве ослепления страстями, с в я т о е пролила я, безумная, и не вняла, что остережение мне дается. Но Милосердие Божие послало мне вразумление, как бы гром небесный. Все забыла тварь, по образу Твоему сотворенная. Забыла, что возглашается на день сей: „Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять“. А я не убоялась. Но Господь пощадил меня и послал знамение, „сон крестный“. Не забуду до конца дней. „Господь, Просвещение мое, и Спаситель мой, кого убоюся?“»

Что же произошло, что называла Дарья Ивановна в р а з у м л е н и е м? Виктор Алексеевич рассказывал так об этом:

— Случилось — чудо. Маленькие глаза увидят в этом «случайность», «смешное» даже. В нашей жизни «случайность» эта явилась ч у д о м. Случайности получают иногда особую силу «знамений». Духовные глаза их видят и именуют «знамениями», вехами на путях земных. Даринька чутко видела. Случилось самое обиходное, простое, но как это обернулось! Карп возил снег. Кончил работу и затворил ворота. Знаете воротный запор... вроде короткой балки, дубовый или сосновый. Ворота примыкали к дому. И вот поднял Карп тяжелый запор этот, чтобы вложить в скобы, взмахнул, не рассчитавши, может быть, от усталости, — и грохнул концом в тесовую обшивку дома. Дом старый, деревянный. Удар проломил обшивку и шевельнул сруб... и шевельнул так, что грохнула штукатурка в зале, портрет моей матери упал на лампу на письменном столе, сотряслась икона и дрогнула лампадка на цепочках. Ее-то и увидела Даринька, ее только. Случайность, конечно... — со стороны так скажут. Но... сотни раз запирали Карп ворота, а этого не случилось. А тут — случилось. Для Дариньки это было «вразумление». И, несомненно, как след всего — и этого потрясения — знамение явился виденный ею той же ночью поразительный «крестный сон».

XXIX КРЕСТНЫЙ СОН

Этот вечер крещенского сочельника остался в Дариньке на всю жизнь. Она признавалась, что в душе ее тогда все спуталось: и страх Божий, и «страшные кошунства». Душа ее как бы разрывалась, сделалась полем брани между Господним светом и злой тьмой.

Только ушел Вагаев, она потеряла силы и упала у дверей «детской». В сознании ее шла борьба: радость, что не оставлена, что послано вразумление, и скорбь, что ей не по силам искушение, что «отнято у нее последнее — радость Димы». Она смотрела к таившимся в темноте иконам и укоряла кошунственно: «Ну, за что... за что?!» Думала о своем позоре, о сиротстве с начала дней, чувствовала «ужасную неправду» и, потеряв страх Божий, вопияла: «За что же такое издевательство?!»

В «записке к ближним» она покаянно записала:

«Я предалась греху, намечтала себе соблазнов, и эти соблазны вдруг разлетелись дымом. Я готова была бежать за искушением, все забыть, но вразумление меня остановило, и за это я дерзнула хулить святое. Забыла Распятого за нас, что и мы сораспятыми быть должны и радостию взывать со Псалмопевцем: „Яко аз на раны готов“. Про все забыла, но Бог не забыл меня: той же ночью послал мне знамение сна крестного».

Вернувшаяся из церкви Прасковеюшка перепугалась, увидев беспорядок в комнатах, упавшую штукатурку, разбитую посуду, брошенную на пол шубку. Из коридора слышался тихий плач, «будто вот по покойнику читают», и Прасковеюшка испугалась, уж не обидели ли Дариньку лихие люди. Она подошла к двери, откуда слышался скорбный плач, и стала окликать Дариньку. Даринька вышла к ней, «вся-то растерзанная, платьице все расстегнуто, от самого горлышка до пояса», и сказала не своим голосом, что оставили богоявленную воду в буфете и она пролила ее. Увидела стронутую икону, упавшую штукатурку, — весь угол оголился, — разбитый портрет и лампу, сморщилась, как от боли, схватилась за голову и зашаталась. Прасковеюшка отвела Дариньку на диван и побежала за Карпом, сказать, что у них случилось.

Карп увидел и понял, что это его вина, и попросил прощения: запирает ворота и зацепил запором, дом-то старый, и стряслось. «Простите, Дарья Ивановна, моя вина... напугал нас, расстроились». — «Так это ударил... ты?!..» — изумленно спросила Даринька. Карп отвечал, смущенный: «И сам не знаю, тыщи раз запирает, а тут будто что под руку толкнуло, как на грех... такого никогда не было...» Слово Карпа — «будто что под руку толкнуло, такого никогда не было» — вошло в Даринькино сердце.

Карп с Прасковеюшкой стали приводить комнаты в порядок. А Даринька пошла в спальню, зажгла огонь, увидела «весь маскарад» — и стала кидать все в шкаф, «всю эту непристойность». И когда кидала «ампир» и туфельки — «будто от сердца отрывала». Упала перед Казанской, призывала бессильно: «Ма-туш-ка!..» — и не получила облегчения. Забыв, что надо зажечь лампадку, пошла в залу, поглядела на белые цветы, хотела выбросить на мороз — и пожалела: невинные, милые цветы. Постояла над ними, с болью, чувствуя прелый запах увядших ландышей, прижала сердце — и увидела, что платье на ней расстегнуто, все открыто, даже корсетик видно, — как же могло случиться? Всегда она сердилась на упрямые пуговицы-кораллы, когда спешила, надо было повертывать на петли, а пуговицы становились поперек. Вспомнила, как Вагаев разглядывал на ней пуговицы, а она отстраняла его пальцы... вспомнила ласкающие руки, гаснувшее сознание и тот громовой удар, оберегший ее от нового позора. Увидела забытый золотой портсигар Вагаева, оторванную пуговицу-кораллик, упала у дивана на колени и замерла. Вскочила, чего-то испугавшись, накинула шубку и, не накрывшись, выбежала в метель, крича: «Господи, прости меня, окаянную, безумную!» Слышала Прасковеюшка и побежала к Карпу: «Скорей, за барыней... простоволосая побежала, сапожков даже не надела!» Карп вышел за ворота — не было никого, метель. Он побежал направо: приметно было ему, что все эти дни Дарья Ивановна к бульвару убегала. Постоял на углу, послушал — нет никого, метель. Вернулся, и они с Прасковеюшкой долго сидели на кухне, жалели Дариньку и мерекали, что же им теперь делать. И решили, что надо дожидаться, — всякое приходило в голову.

— Меня интересовал Карп, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Я его знал за правдолюбца: есть такие в народе нашем, «хранители добрых нравов». Мне приходило в голову, не нарочно ли он ударил, чтобы «остеречь»... вы понимаете... Много спустя, когда жизнь наша изменилась — и Карпа тоже, — я его спрашивал. Он почитал Дариньку, называл ее подвижницей и святой. Я спрашивал. И в голову ему не приходило. Он видел, что Даринька «мятется», и за нее боялся... И сам очень поразился, говорил: «Будто что толкнуло под руку». И как он радовался, что «сподобился помешать соблазну». Этот разговор с Карпом был уже много после, когда я и з м е н и л с я.

Даринька побежала не «к богатому офицеру», как думал Карп, а в церковь. Всенощная отошла давно, но церковь была еще открыта, богаделки прибирались после службы, и пономарь разливал святую воду. Даринька остановилась в полумраке, но богаделки ее признали и спросили, не забыла ли чего во храме. Она сказала растерянно, что воду

богоявленную забыла, «всю пролила». Богаделки качали головами: «Да как же это вы так... да как нехорошо-то... да Господь милостив». Аханья богаделок Дариньку не расстроили, не удивили: она знала, что у нее «все хорошо». Акинфич вон разливает в сосудики, и вам нальет... сосудика-то не захватили? «Нет, забыла...» — сказала Даринька и увидела, что богаделки как-то странно ее

оглядывают. Спыхватилась, что пришла ненакрытой в церковь, посмотрела с мольбой на богаделок и бессильно заплакала. Богаделки стали сокрушаться, не горе ли у нее какое, а водичку Господь простит. Она прошептала через слезы, что хочет помолиться. «Помолитесь, помолитесь... — участливо повторяли богаделки, — Акинфьич погодит запирать». Свечи? Ящик староста-то замкнул, ушел.

Даринька отошла к распятию. Пунцовая лампада светила на лик Христа, и темные капли из-под шипов казались живой кровью. Даринька упала на колени и замерла в молитве. В слезах молилась: «И мене деревом крестным просвети и спаси мя». Сердцем, без слов молилась. Кто-то над ней сказал, что запирают церковь. Она поднялась покорно и взяла скляницу с богоявленской водой, поданную ей кем-то. Денег у нее не оказалось, но тут подошла Марфа Никитишна, просвирня, за которой сходили богаделки, сказала: «После, Акинфьич, после», — и повела Дариньку к себе.

У просвирни Даринька плакала, облегчая душу. Просвирня сокрушалась, что завтра поехать к Троице не может: «И дорога, вон, говорят, не ходит, и по приходу надо, а послезавтра Собор Крестителя, а там суббота, раньше понедельника, 10-го числа, и думать нечего, маленько уж погодите». И тут неожиданно пришел Карп. «А уж мы со старухой затревожились, спасибо, догадались», — обрадовался он Дариньке. Просвирня дала Дариньке свой платок, заставила надеть валенки и перекрестила: «Господь с тобой, деточка, утешься».

Когда вышли, метель утихла, проглядывали звезды. Недалеко от дома молчавший до того Карп сказал: «Ничего, Дарья Ивановна, Бог милостив». Даринька поняла, что Карп ее жалеет, и ее задушила жалость — и к себе, и к Карпу, и «ко всему». Она подошла к воротам и остановилась, не зная, куда идти. Было такое, будто это не ее дом, все тут пустое и чужое «и все в этой жизни страшно». Карп бережно понудил, ласково так сказал: «Ну вот и пришли... идите, идите, ничего...» Она не могла осилить душивших слез и разрыдалась в холодные ворота.

Дома затеплила лампадку у Казанской, в спальне. Спальню она давно не убирала. Увидела у зеркала залитый стеарином подсвечник с обгоревшей бумагой, вспомнила виденную во сне неприятную девочку в рубашке и ушла из спальни — стало чего-то страшно. Поправила стронутую икону в зале, «Всех Праздников», с Животворящим Крестом посередине, с победным Знаменем Воскресшего, и затеплила синюю лампадку. Потом в столовой затеплила, Покрову, и вошла в «детскую». Затеплила восковую свечку, оглянула забытые иконы, аналойчик с оставленным пояском на нем. Взяла поясик и схоронила в троицкий сундучок заветный. Оправила лампадки, разоблачилась, надела сиреневый «молитвенный» халатик и начала келейное правило, не читанное давно. Прочла все вечерние молитвы и самую сладкую молитву, с детства любимую, — «Кресту Твоему поклоняемся. Владыко...». Витала, воспевала в мыслях и почувствовала большую слабость, с благоговением отпила богоявленекой воды, страшась недостойности своей, и прилегла на залавке, накрытом войлоком. Читала Иисусову молитву, не попуская помыслы. И, помнилось, с трепетом взывала: «Господи, не оставь!»

«И Господь не забыл меня, — написала она в „записке к ближним“, — и послал мне во знамение — к р е с т н ы й с о н».

Виктор Алексеевич рассказывал:

— Могут ли иметь значение сны наши? Рационалисты, конечно, не признают за снами значения провиденциального: функция организма, только. Народ в сны верит. Святые отцы борются с суеверием, но признают, что разные сны бывают. Феофан Затворник говорит: «Сны бывают натуральные, от нас самих, бывают от Ангелов и Святых, бывают и от бесов». И предостерегает от «прелести». По личному опыту склжу, что бывают сны знаменательные, как бы провиденциальные. Бывают запечатленные сны, на всю жизнь. Такой вот «запечатленный» сон н есть Даринькин «крестный сон», Но что особенно поразительно... Бывают сны, как бы живущие своей жизнью, с у щ е е нечто, онтологическое. Они живут и не пропадают. Представьте, что существуют тождественные сны, которые видят разные люди и в разные эпохи, — сны в е ч н ы е. Мы поразились с Даринькой. когда в Оптиной показали нам келейные записки ученика старца

Леонида, некоего Павла Тамбовцева, курянина. Он скончался, когда нас с Даринькой еще и на свете не было. И вот узнали в его записках... Даринькин «крестный сон». Почти тождественный. Я потрясен был не меньше Дариньки. Спрашивал ее, не слыхала ли она в монастыре об этом сне. Не слыхала. Настолько необычайный сон, что она вспомнила бы, конечно. После узнали мы, что в Москве вышла книжечка в 1876 году, и в ней напечатаны отрывки из «записок» Тамбовцева и этот сон. Даринька этой книги не читала. Сон оказался для видевшего его знаменательным. Теперь я знаю, что таким же, провиденциальным, оказался он и для Дариньки, Сон этот — Божий сон. Святые отцы пишут, что бесы могут представить и Ангела света, но Креста Господня трепещут и не могут его представить. Этот сон запечатлелся в Даринькином сердце, она его помнила до конца дней.

Вот какой сон видела Даринька под Крещение.

Она видела себя стоящей на каменистой равнине, где не было ни травки, ни кустика. И будто сумерки, и будто она одна. И потом все стемнело, стало «какое-то никакое, совсем пустое», будто не на земле, а г д е — т о. И увидела вдруг, как тьма возблистала светом, и таким лучезарным светом, что солнечный свет показался бы вовсе тусклым. И свет этот был удивительно мягкий, не резал глаз. И из этого лучезарного света родился громкий и нежный голос, приказывавший кому-то, многим, невидимым: «Возьмите ее на крест». И вот невидимые ее взяли и совлекли одежды с нее, но она не знала, какие были на ней одежды. Она не удивилась и не испугалась, а только чувствовала: т а к н а д о. И увидела, как на равнине простерся огромный крест, «будто из воскового дерева», очень приятного, светлого, как соты. Она поразилась, какой же это огромный крест, во всю необъятную равнину, И вот крест на ее глазах стал таять, как тает воск, и в мгновение ока умалился до размера, чтобы ее расprostерть на нем. Она оглянулась, кто же ее возьмет на крест, но не было никого, только слышался спешный шорох — и ее вознесли на крест. И тихо, но внятно говорили: «Давайте гвозди». И она увидела четыре больших гвоздя, кузнечных, темных, с острыми ребрами. Гвозди были большие, в четверть, и она почувствовала, как трепещет сердце. И услышала, что прибавают правую руку ее ко кресту. Она ощутила жгучую боль в ладони, будто оса ужалила, И с этой болью почувствовала желание быть распятой. И такое радостное желание, что заплакала. И боль от гвоздя пропала. Потом подняли второй гвоздь, и была та же боль, но гораздо меньше, и скоро кончилась. И тогда устремили на нее третий гвоздь, и кто-то невидимый сказал: «Теперь правую ногу». Она испугалась, хотела крикнуть «помилуйте!» — но к т о-т о сказал ей в сердце: «Терпи». И она почувствовала еще большее желание претерпеть. И когда возгорелось сердце, молитвенно воззвала помыслом: «Укрепи, Господи!» И вонзили гвоздь. За острой, ужасной болью во всем существе ее наступило изнеможение. И она услышала, как быстро вонзили четвертый гвоздь, — не успела почувствовать и боли. И раздался из Света голос, сильнее первого, как бы жалеющий, полный благоволения и нежности: «Вонзите ей... — и почувствовала, не видела, как бы перст, указующий: — В самое сердце гвоздь». И тут она возмутилась духом, и сердце ее то трепетало радостью претерпеть все муки, то замирало в слабости. И в этом борении почувствовала она обетование Господа укрепить ее. И тогда подали пятый гвоздь, и шел этот гвоздь на нее острием, на сердце. Гвоздь этот был огромный, так что прошел бы ее насквозь, и осталось бы много лишку. Гвоздь приближался — было это одно мгновение, — и она услышала сердцем, что Господь ей поможет вынести. Но когда острие дошло до груди ее, сердце затрепетало в страхе и она крикнула: «За что же?!» И услышала тупые стуки, будто от молотов, забивавших тот гвоздь ей в сердце. Нестерпимая боль пронзила ее сердце, и душа вышла из нее, и оставила тело на кресте. И она почувствовала себя, что она г д е-т о, в н е, и сама видит себя распятой. Было такое чувство, что она, распятая, видит, как глаза ее закрываются и меркнут, голова клонится, и это — смерть. И не стало боли. И тут открылись ее глаза, и сердце наполнилось радостью, которую не сравнить ни с чем. И голос, полный благоволения, сказал! «Се причастилась Господу». От этого слова взыграло сердце, и она уже не могла дышать, — проснулась в радостном изумлении и слезах.

В благоговейном страхе и радости, все еще слыша неизреченный голос: «Се причастилась Господу», не сознавая себя, Даринька увидела тихие лампы, сливавшиеся в слезах, сияющие, как звезды, стрелами. Она узнала «детскую», увидела свои иконы, милостиво взиравшие, и перекрестилась, всему покорная: «Да будет воля Твоя».

Долго она лежала в радостном изумлении, не смея думать, что удостоилась Света неизреченного, повторяя Господне слово. Шептала в страхе: «Не смею, недостойна». В благоговейном трепете затеплила восковую свечку и стала читать акафист Иисусу Сладчайшему. И, молясь, сладко плакала.

Громыхали дрова в передней, Карп принимался топить печи, а она все молилась. И когда уже догорала свечка, Даринька увидела на груди, на белой батистовой сорочке, расплывшееся пятно, как кровь. И поняла — вспомнила, что это от ожога разболелось и от этого — боль под сердцем. Вспомнила, как боролась с помыслами и выжгла, в борьбе с собой, свечкой от огонька лампы охраняющий знак Креста у сердца, по глубокому слову подвижника из Фиваиды: «Томлю томящего мя». Все эти дни безумия не чувствовала себя, не помнила. А теперь, радостная, почувствовала — и умилилась. Сказала в мыслях: «Что эти мои боли... Господи, не оставь мя!»

Восковая свечка догорела. В черном окне на сад сверкали звезды. Даринька отворила форточку. Небо сияло звездами, было тихо, благовестили к ранней.

XXX ПОСЛУШАНИЕ

В утро Богоявления Даринька почувствовала себя освобожденной от соблазна, как бы о т п у щ е н н о й. «Крестный сон» предвещал — это она приняла смиренно — великие страдания, но это не только не страшило, а укрепляло надеждой на милость Господа.

Вспоминая то утро, она писала в «записке к ближним»:

«Смиловался Господь и указал мне Пути Небесные. И я воззвала сердцем: „Ныне отпускаеши, Владыка“. Я слышала неизъяснимый голос: „Се причастилась Господу“. И воспела песнь Богоявленного Дня того: „Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюсь?“»

Все то утро светилась душа ее, и она помнила тот небесный голос. Но пришел день — и забылся голос. Старалась его вспомнить — и не могла. До конца дней не вспомнила.

После ранней обедни Даринька просила Марфу Никитишну поехать сегодня с ней к Троице-Сергию, и опять добрая просвирня отказалась: с крестом, со святой водой ходить по приходу надо, а завтра Собор Крестителя... раньше понедельника никак. Был четверг, и Даринька решила ехать одна с Анютой. Собрала для дороги саквояжик, увидела портсигар Вагаева и вспомнила, что хотела сделать. Она собрала забытые им вещи: золотой портсигар, алый шарфик, которым укутывал он ее в метели, оренбургский платок Любаши и серебряный карандашик, которым он рисовал на книге. Что еще?.. Вспомнилось голубое... шарфик! Но, обманывая себя, только подумала — и перестала думать. Все уложила старательно в коробку, перевязала ленточкой и, наказала Карпу, смотря в глаза, — раньше она боялась глядеть на Карпа, в сумрачные глаза его, следившие из-под суровых бровей за ней, — передать непременно офицеру, «если он вздумает заехать». Сердце ей говорило, что он заедет.

Просветленная, она твердо решила главное — в с е з а б ы т ь. Не стыдясь нетвердого почерка и ошибок, — Виктор Алексеевич называл его детским, и она стыдилась писать письма, — она написала Вагаеву записку: «Простите меня, я должна уехать и все забыть...» Не знала, как надо подписаться, и она подписалась «Королева». Но вспомнилось неприятное, как бывший ее хозяин Канителев все смеялся, звал ее за ее фамилию «королевой», и она разорвала записку. Переписала и подписалась одной только буквой Д. Когда подписывалась, растеклись чернила на бумаге. Она утерла слезы и написала снова. Когда отдавала записку Карпу, подумала, что Вагаев будет ждать ее у переулка, как эти дни, и она обещала ему вчера. Заколотилось и сжалось сердце, но она стала тереть под грудью, где болело, помня глубокое слово великого аскета из Фиваид: «Томлю томящего мя», — и укрепилась духом.

«Непременно скажи, — наказывала она Карпу, — что я далеко уехала и долго не приеду... только не говори, пожалуйста, что я поехала к Троице-Сергию... пожалуйста!» Карп ласково заверил: «Никак нет, будьте спокойны, Дарья Ивановна, все исполню, как говорите». Она справилась у Прасковеюшки, когда обещалась прийти Анюта, узнала, что только завтра утром, и попросила сейчас же сходить в Дорогомилово и сказать, чтобы пришла непременно сегодня, потому что завтра рано утром возьмет ее с собой к Троице.

К поздней обедне Даринька не пошла, — боялась, как бы не встретил ее Вагаев в переулке, и помолилась в «детской». Было уже к одиннадцати, самый срок. Стараясь унять сердце, Даринька стала убирать комнаты — и нашла то письмо без марки, про которое вчера говорила ей Анюта, когда она торопилась на свидание. Письмо было незнакомое, в жестком конверте с вензелями, и Даринька почему-то боялась его прочесть. И потому, что письмо пугало ее, она стала его читать, с трудом разбирая почерк. Письмо было «ужасное», — от барона Ритлингера.

— Письмо было совершенно исключительное по бесстыдству, — рассказывал Виктор Алексеевич, — клинический образчик эротизма. Барон писал на рассвете, как раз после маскарада, «с бокалом шампанского в руке». «Вы плещетесь в шампанском, и я пью вас!» — писал барон. Этот старый развратник называл Дариньку «святой девочкой». «И это влечет меня к вам, до преступления!» — писал он. Называл почему-то «малюткой-грешницей» и умолял усладить бранные дни его «самым невинным поцелуем», оставляя ей полную свободу «тельцем» любить кого угодно. Димка ему якобы признался, что «уже вкусил от плода», говорил о готовом контракте у нотариуса — «из рук в руки!» — о готовом на все попе, «который сегодня же обвенчает нас, и мы полетим в Италию, где благоухают лавры и млеют розы», — невообразимо бесстыдное и идиотское. Приводил баснословные суммы в банке, перечислял имения и дома, фамильные драгоценности, какими он ее всю засыплет, «от розовых пальчиков на ножках до...» — и весь этот грязный бред пересыпался картинками «медового месяца блаженства». Даринька читала «как бы в безумном сне», Мало того: рисовал ей страшный «финал» той жизни, какую она выбрала, начав «скачком из монастыря — и прямо в грошовой любовницы!» Писал, что она, несомненно, сделает блестящую карьеру первосортной кокотки, «до красных ливрей с орлами», и кончит все грязной ямой. В заключение угрожал «покончить расчеты с жизнью», если она не сдастся, — «и на вашей душе будет незамолимый грех».

Даринька была совершенно оглушена бесстыдством, выронила письмо... — и тут позвонили на парадном. Ей мелькнуло, что это за ней, Вагаев. Она схватилась за голову, зажала уши, словно страшилась грома, и убежала в «детскую», укрыться. Слушала, затаясь. Ей казалось, что слышит крики и Вагаев сейчас войдет. Но никто не входил, и она услышала Карпа: «Дарья Ивановна?..» Она выглянула из «детской», и Карп сказал: «Да ничего, не бойтесь».

Приезжал не Вагаев, а та, «ужасная». На весь переулок скандалила, чтобы ее впустили, ругалась неподобными словами. «Такое безобразие... я ее даже толкнул, наглая какая оказалась. Говорила про вас такое... да кто ей, такой, поверит!.. будто дорогие вещи получили, большие тыщи... самое неподобное». Не помня себя, Даринька торопила Карпа: «Говори, что сказала... что, что?!..» — «Сполна, говорит, все получили от хозяина, а не расплатились, как честные барышни... ну, самое безобразие! Я, говорит, ее судом притяну». Ну, тут я ее и повернул, больше не явится, не беспокойтесь. Виктора Алексеевича нет, он бы ее...

Даринька рыдала, и Карп успокаивал ее. Она ему выплакала всю боль, как вчера Марфе Никитишне. Карп все понял и укрепил ее. Она завернула ожерелье и брошь с жемчужиной, приложила серебряный флакончик с ужасной «пошкой» и попросила Карпа сейчас же все отнести на Старую Басманную, отдать самому барону в руки и получить от него расписку. Карп посоветовал погодить; сперва он развяжется с господином офицером, — всякое случиться может, — а как вернется старушка, сходит и на Басманную, — и не будет никакого беспокойства.

Даринька лежала в «детской» и плакала. Тогда-то и забыла г о л о с, — затерялся он в шумах дня. Оставались слова: «Се причастилась Господу», но самый г о л о с, полный благоволения и света, неизъяснимый, не помнился и не укреплял. «Крестный сон» казался теперь грозящим,

безблагодным и безутешным. Обливаясь слезами, Даринька горько вопрошала — за что!.. за что?!.. И, как бы в ответ на это, рванул звонок.

— С тех дней она не могла выносить звонков, бледнела и зажимала уши, — рассказывал Виктор Алексеевич. — В звонке слышалась ей беда, угроза, что-то нечистое, издевательски-злое, облекшееся в металл. Известно влияние звука на душу... Колокола возьмите: благовестят, поют, взывают, славословят, плачут, — играют нашим сердцем. Плоть их — света духовного. В нашем звонке было для Дариньки грозящее, злое, темное. Вернувшись от Троицы, она сняла колокольчик и разбила.

Это был Вагаев. Он хотел видеть Дариньку. Карп выглянул из ворот, передал ему сверток и записку и сказал, как наказала Даринька. Вагаев побледнел и отшатнулся, и у него задрожали губы, когда он вскрикнул: «Неправда, не может быть!» По словам Карпа, он вовсе растерялся, допрашивал, называл голубчиком, совал деньги. «Вы меня, Дарья Ивановна, извините, а я им так и сказал, чтобы уж к одному концу: в Петербург, говорю, уехали... не сказывались, а думается так, что соскучились и уехали в Петербург. Так они и встрепенулись! В котором часу уехали, когда? А, думаю, Господь не взыщет... рано, говорю, уехали. Поглядели на окошко, повернулись на каблучках и побежали. Хороший офицер, вежливый, самый князь. И получил я от них за мое вранье хорошую бумажку... мой грех, на церкву надо подать».

До темноты лежала Даринька в «детской», и никто больше не звонился. Пришли Прасковеюшка с Анютой. Карп ходил на Басманную, барона не застал, постоял у Никиты Мученика за всенощной, опять зашел, как сказали ему лакеи, в восьмом часу и застал барона. Барон выслал лакея взять «важную вещь» от посланного. Но Карп не отдал лакею, а затребовал самого барона. Барон, наконец, вышел, но Карп и ему не выдал, а потребовал наперед расписочку, сказал: «Вот, можете поглядеть, какие вещи, только дозвольте вперед расписочку». Сказал, на крики барона, что никакого недоверия у нас нет, а женщина от них приходила — скандалила сегодня на улице, судом грозилась хорошему человеку, а некому защитить, сам инженер уехал. «Вот, значит, и дозвольте расписочку, а то перешлем через полицию». Барон обругал ослом, хлопнул дверью, а все-таки выслал расписочку с лакеем, и Карп тогда выдал вещи. Рассказывая об этой «менке», он прибавлял, что вытолкать его никак не посмели, хоть и много лакеев набежало: вид у него такой... «Поопасались, в случае чего... разговору бы не вышло».

Тот день Богоявления был в жизни Дариньки знаменательным. Морозный, яркий, остался он в ее сердце светлым: зло, в последнем порыве, расточилось, утратило власть над ней. Вечер Богоявления сошел на нее покоем, в душу ее вошел простыми словами Карпа; «Теперь будьте, Дарья Ивановна, спокойны... все вот и р а з в я з а л о с ь». И Даринька чувствовала, как у нее на душе покойно, все развязалось — «ушло с в е щ а м и». Весь вечер занимались они с Анютой сборами в путь, на целую неделю едут, говеть будут. Даринька избегала думать, что будет дальше: как батюшка Варнава скажет. Об одном думала: откроет ему душу, и он решит. И будет — как он решит.

В ту ночь она хорошо молилась.

Еще и не светало, когда — это был день Собора Иоанна Крестителя — вышла Даринька во святой путь. Было морозно, звездно. Даринька надела старую ватную шубейку, свою, какую носила еще у Канителева, в златошвейках. надела валенки, варежки, повязалась теплым платком и стала похожа на девушку-мещанку. Анюта все на нее дивилась: «Да барыня... да какие же вы стали, совсем другие!» Даринька сказала, чтобы не звала ее барыней. А как же? «Зови Дашей... тетя Даша». Но Анюта боялась звать. Карп сказал ласково, утешно: «Ну, час вам добрый».

Они зашли к Иверской и отслужили напутственный молебен. Так было хорошо в тихой ночной часовне, неярко освещенной, так уютно, что Даринька светло плакала. Всю дорогу по городу шли пеши, похрустывали снежком. Купили горячего калачика, весело поели на морозе, — два дня не ела ничего Даринька. В девятом часу подошли к Ярославскому вокзалу, в самый-то раз, стоял поезд на Сергиево. Вошли в свободный совсем вагон, жарко натопленный, веселый: низкое солнце

червонно золотилось в морозных окнах. И только успели разложиться, радуясь одиночеству, как вошел пожилой купец с ковровым саквояжем, сказал с одышкой: «Вот и хорошо, слободно», — и сел против них на лавку. Даринька чуть не вскрикнула: узнала т о г о с а м о г о, в лисьей шубе, которого видела на бегах и к которому случайно зашла в Рядах, когда покупала игрушку Вите. Ее испугала эта встреча: с купцом связывалось у нее страшное в этих днях. Подумалось, что и эта встреча не случайна.

Купец не узнал ее. Ласково оглядел, спросил, не к преподобному ли, и похвалил, какие богомольные. Про себя сказал, что занимается «игрушкой», праздниками расторговались, теперь к Пасхе надо готовиться, вот за товаром едет, у Троицы самое игрушечное место. Стал рассказывать про батюшку Варнаву и посоветовал обязательно побывать и благословиться. «Попомните мое слово, — говорил купец, и Даринька насторожилась, припомнила, какой „каркал“, — худого вам не скажет, а наставит, великий провидец батюшка Варнава... а вы девочка молодая, пристраиваться вам надо, на всю жизнь, как говорится, определяться... обязательно побывайте...»

Купец уже не пугал ее, не «каркал», и ей показалось знаменательным, как он хорошо сказал ей, о самом важном: н а в с ю ж и з н ь н а д о о п р е д е л я т ь с я. Ехали хорошо, легко. В ковровых санях, парой, доехали до Лавры, розовато-золотой на солнце, чудесно-снежной.

Эта неделя в Лавре и у Черниговской, где Даринька говела, исповедовалась у батюшки Варнавы, осталась в ее жизни светом немеркнущим. Здесь она получила п о с л у ш а н и е на всю жизнь.

Три дня собиралась Даринька подойти к батюшке Варнаве, которого называли с т а р ц е м, хотя в ту пору было ему только к пятидесяти, и не решалась, не чувствовала себя готовой. Все дни молилась она у преподобного, а к вечерне ходила с Анютой к Черниговской, и когда возвращались в гостиницу, по крепкому морозу, лесом, яркие звезды мерцали им: «благословляли, крестиками сияли, лучиками играли, крещенские, святые звезды». Шла по снежку, молилась горящим сердцем и плакала, отходила у нее душа. И через эти светлые слезы на ресницах, запушившихся инеем, лучились сверкающие звезды. Ночные пути эти — «святые пути, небесные», называла их Даринька, — уводили ее из этой жизни.

Э т о произошло во вторник, 11 января, за всенощной под великомученицу Татьяну.

Еще утром стояла Даринька во дворе перед кельей отца Варнавы, в толпе народа, хотела подойти и благословиться, но вышел на крыльцо батюшка в скуфейке, невысокий, чуть с проседью, быстрым взглядом — «пронзительным», показалось Дариньке, — взглянул на нее... — «и будто отвернулся». Ей стало страшно, и она не решилась подойти. И вот после всенощной случилось.

После акафиста и отпуска, когда подземный храм опустел и совсем померкло, Даринька поднялась, чтобы идти с Анютой в Лавру, за четыре версты, обычной ночной дорогой. И вдруг услышала за собой отчетливо-звонкий оклик: «Ты что же, п у г а н а я, днем-то не подошла ко мне... чего б о я л а с ь?» Это так потрясло ее, что она, не видя лица окликнувшего ее, упала на колени и стала плакать в чугунный пол. И услышала ласковый голос, утешающий: «К Царице Небесной пришла, радоваться надо, а ты плачешь... вставай-ка, пойдём к Ней, поблагодарим з а р а д о с т ь». Обливаясь слезами, Даринька поднялась и пошла к Богоматери Черниговской, за батюшкой. И исповедалась ему во всем.

Он о т п у с т и л ее, раздумчиво осенил крестом голову ее под епитрахилью и сказал скорбно-ласково: «Вот приобщись завтра, а после зайди ко мне, побеседуем с тобой, дочка... и все р а с п у т а е м».

Поздней ночью вернулись они в Лавру.

День великомученицы Татьяны — помнила Даринька — был страшно морозный, яркий, трудно было дышать дорогой. Кололо глаза со снегу. После причастия Даринька подошла к батюшкиной

келье, и служба провел ее в покойчик. Висел образ Богоматери Иверской. И не успели Даринька перекреститься на образ, как услышала знакомый голос: «Ну, здравствуй, хорошая моя». Вышел батюшка и благословил. Потом долго смотрел на образ. Сказал: «Помолимся». И они помолились вместе, умной молитвой. Батюшка удалился во внутренний покойчик, и, мало погодя, вернулся, неся просвирку и кипарисовый крестик.

«Хорошая какая, а сколько же у тебя напутано! — сказал он ласково и жалея. — Дарья... вот и не робей, п о б е д и ш ь». Даринька поняла батюшкино слово: Дарья означает — побеждающая, говорили в монастыре. «Всю жизнь распутывать, а ты не робей. Ишь, быстроглазая, во монашки хочешь... а кто возок-то твой повезет? Что он без тебя-то, п о б е д и т е л ь-т о твой?»

После только узнала Даринька, что Виктор означает — победитель.

«Потомись, погомись... вези возок. Без вины виновата, а неси, в ы н е с е ш ь. Говорят про тебя... а про меня не говорят? Без ряски, а монашка. И пускай нас с тобой бранят... сколько ни черни нас, черней ряски не будем. Вот и п о с л у ш а н и е тебе».

И благословил крестиком:

«Прими и радуйся, и з а б у д ь в с е. Я твою боль в карман себе положил. А просвирку е м у дай, н а до ему, голодный он. Поедете куда, ко мне заезжайте, погляжу на вас, п о б е д и т е л ь».

Просветленной приехала Даринька домой. И только приехала, подали телеграмму из Петербурга, от Виктора Алексеевича. Он сообщал, что выезжает завтра. Лежало еще на столе письмо, в голубом конверте, и Даринька чувствовала, что это письмо Вагаева. Подумала — и не стала его читать, до Виктора Алексеевича. Помнила слово батюшки: «Забудь все».

XXXI ПОПУЩЕНИЕ

Рассказывая об этих «дьявольских днях», Виктор Алексеевич особенно подчеркивал стремительность и сплетение событий, будто вражеская рука толкала Дариньку и его в бездну. В те дни он еще и не думал о Плане, о «чудеснейших чертежах», по которым творится жизнь, и о тех с и л а х, которые врываются в эти «чертежи» или попускаются, чтобы их — для чего-то — изменить. Но даже и в те дни чувствовалось ему, что совершается что-то странное.

О том, что случилось с ним в Петербурге, он подробно не говорил. Он лишь с недоумением пожимал плечами, как будто не мог понять, как это с ним случилось самое гадкое, самое грязное, что было в его жизни, когда все его помыслы и чувства были направлены «к единому свету жизни», к оставшейся в Москве Дариньке.

— Когда наваждение прошло и я очнулся, — рассказывал он впоследствии, — мне тогда же в раскаянии и муках пришло на мысли, что со мной случилось совершенно необычное, б е с о в с к о е, и меня охватила жуть. Помню, что так и подумалось тогда, при полном моем неверии в бытие этого «бесовского». Такое сплетение случайностей и событий, и все, кажется, для того, чтобы в Москве что-то доделалось. Я рвался, мучился, а меня д е р ж а л о в Петербурге... и удержало. Даринька была предоставлена себе, была отдана во власть соблазну.

Виктор Алексеевич предполагал пробыть в Петербурге с неделю, а если бы дело затянулось — съездить в Москву и непременно вернуться с Даринькой. На душе у него было беспокойно, что Вагаев намеренно остался. В самый день приезда было назначено в комиссии испытание его модели паровоза и защита проекта. Бывший его начальник по московской службе сообщил, что известный профессор механики в Институте путей сообщения похвально отзывался о принципах его проекта, а его заключение считается авторитетным, и в министерстве говорят определенно о причислении инженера Вейденгаммера к Ученому отделу.

Для Виктора Алексеевича в ожидании наследства после брата служба интереса не представляла, он собирался поехать с Даринькой за границу, отдаться философии, погрузиться в науку, — но успех все же был приятен. И вот начались с л у ч а й н о с т и.

Он явился на заседание комиссии защищать проект и развить новые возможности в области прикладной механики, ждал с нетерпением заключения блестящего ученого... — и вдруг швейцар докладывает, что его превосходительство господин профессор упали в швейцарской и сломали ногу. Заседание комиссии отложили.

Виктор Алексеевич решил сейчас же ехать в Москву, заехал проститься к бывшему начальнику, попал на вечеринку с елкой, его заговорили, и он опоздал на поезд. И тут случилось «ужасное».

Он уже собирался уходить, чтобы пораньше лечь и ехать с утренним поездом, как вошла красивая брюнетка, все зашептались, и Виктор Алексеевич услышал, что эта «та самая, венгерка, известная». Их даже и не познакомили. Заиграла музыка, все особенно оживилось и зашептались, что она сейчас будет танцевать «свою венгерку». Виктор Алексеевич никогда не видел, как танцуют венгерку, и остался. И не только остался после захватившей его «венгерки», которую «оригинальная женщина» в зеленом бархате и в необычно короткой юбке и сапожках раздражающе-лихо танцевала, но и после польки-мазурки, и даже сам танцевал с венгеркой. Венгерка говорила с ним по-немецки и была рада поговорить, — по-французски говорила плохо, по-русски совсем не понимала, — просила его танцевать еще и еще, и он почувствовал себя с ней свободно и увлекательно. Он заинтересовался ею, таинственным чем-то в ней, «зовущим», справился у хозяина, кто она, но хозяин не знал, сказал только, что приехала с кем-то из посольских. За ней ухаживали, держала она себя непринужденно, немножко даже кафешантанно, за ужином сидела с Виктором Алексеевичем, много пила и попросила проводить ее — немножко пройтись по Невскому. Виктор Алексеевич очутился с ней за городом, провожал до гостиницы под утро... — так началось «ужасное».

Налетел шквал, случилось «что-то бесовское». Он боролся с безумием, писал Дариньке раздирающие письма, умоляя спасти его от грязи, приехать к нему, и тут же просил не приезжать, даже не писать ему, — «недостойн и твоего словечка, словечко твое будет осквернено здесь». И, наконец, перестал писать, — «все забыл». Ездил с венгеркой на льдистую Иматру, истратил бывшие при нем деньги, взял пять тысяч из конторы Юнкера и их истратил — и это в одну неделю. Чуть ли не собирался провожать венгерку за границу, заехал за ней в гостиницу и получил оставленную записку, где «Ялли» благодарила его за чудесные дни знакомства. Коридорный сказал, что барыня уехала раным-рано с каким-то усатым, черным.

— В эти безумные дни я совсем потерял себя, словно меня опоили чем-то, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Пропустил назначенное на 10 января заседание комиссии и должен был извиниться случившейся болезнью. Проект разобрали без меня и признали «заслуживающим внимания». Не было и разговоров о причислении и продвижении. А в эти дни, как узнал я, воротясь из Финляндии, каждый день заходил Вагаев и справлялся, куда я выехал и с какой дамой. Он предполагал, что приехала Даринька и мы прячемся от него. Этот случай тогда не казался мне чем-то из ряда вон выходящим, тем более — з н а м е н а т е л ь н ы м... но чувствовалось мне в э т о м что-то неопределимо гадкое... — после опьянения, конечно, — какая-то жуть чувствовалась в этой случайной женщине, в манящей бездонности порока. Не знаю, что бы со мной случилось, и с Даринькой, если бы не «случайность», — внезапный отъезд авантюристки. Налетела неведомо откуда и пропала неведомо куда. Тогда внезапный отъезд ее я объяснял капризом: наскучило приключение, и она полетела на другое. В те годы много было авантюристок «по идее», проповедниц любви свободной, в духе Жорж Занд, — их так и называли — «жоржзандочки». Теперь в этом я вижу некое п о п у щ е н и е. Надо было удержать меня в Петербурге. Надо было, чтобы Даринька была предоставлена в борьбе с искушением только одной себе.

Вернувшись в гостиницу, Виктор Алексеевич застал у себя Вагаева.

— Диму я не узнал, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Он был не похож на себя, говорил

резкости. На вопрос, когда приехал и когда в последний раз видел Дариньку, он даже не ответил, а разразился упреками, что я играю с ним скверную игру. И я понял, что он «осекся». Скверную игру?! Не только с ним скверную игру, а... что я отвратительно поступаю с Дарьей Ивановной, злоупотребляю ее беспомощностью, пользуюсь ею, как... Я готов был его ударить. Он тоже поднял руку. Мы были опутаны з л о м, путались в своем т е м н о м, бились за чистоту, на которую оба не имели права. Нет, я, я не имел никакого права, после грязи, а Дима... имел право, выстрадывал его любовью... любовью сильной, как это открылось после. И вот я получил по непонятному мне р е ш е н и ю, получил право на нее. Какая несправедливость, скажут. Но сколько же таких «несправедливостей» кажется нам в жизни, если смотреть нашими глазами, маленькими... если смотреть на картину в лупу. Много спустя определилось в с ё, и стало понятно нам. Диме так и осталось непонятно. Он упрекал меня, что я обманул с в я т у ю, схожусь с женой, предлагаю, «как последний подлец» — так и сказал, и я проглотил это — «отступного», а сам держу ее при себе, пользуюсь ее беспомощностью, обманываю письмами... — он знал о письмах! — и объявил мне, что любит Дариньку, и она его любит, н у него есть право говорить так, и он решительно требует, чтобы я не смел вмешиваться в их отношения. Он требовал от меня отчета, почему я вызвал Дариньку в Петербург и где-то ее прячу, почему я з а с т а в и л ее приехать, если схожусь с женой и предлагаю «отступного». Я ему сказал; «Проспись и не городи чушь, с женой я не схожусь, Дариньку я люблю больше всего на свете и в Петербург ее не вызывал». Я ему высказал прямо, что Даринька, очевидно, хотела от него избавиться и велела сказать, что уехала в Петербург. Он посмотрел на меня безумными глазами, схватился за голову и убежал.

XXXII ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Накануне приезда Виктора Алексеевича Даринька получила телеграмму. Телеграмма была не простая, а пачка листков, склеенных ярлыком с печатью, почтальон сказал, что это важная телеграмма, и попросил расписаться. Дариньке почему-то представилось, что случилось ужасное и теперь разрешится все. Но телеграмму ничего не разрешила, а еще больше запутала и смутила найденный Даринькой покой.

Телеграмму прислал Вагаев. Он просил позволения ее увидеть, не избегать его, выслушать объяснения, и тогда она все поймет, клялся ей в вечной любви и, заканчивая мольбой «понять и спасти его от непоправимого», заклинал немедленно ответить и назначить время и место, где он может ее увидеть.

Даринька растерялась: представилось ей, что Вагаев застрелился. Она тут же поехала на телеграф, попросила старичка военного помочь ей составить телеграмму, и тот участливо написал, с путаных слов ее: «Не впадайте в отчаяние. Господь указал мне путь, я напишу вам все и буду за вас молиться». Старичок отечески пожалел ее и успокоил: «Ничего, милая барышня, Бог даст — все будет хорошо». Встревоженная, она вернулась домой и сейчас же прочла письмо в голубом конверте, оставленное до Виктора Алексеевича. Как и предполагала, письмо было от Вагаева — и совершенно безумное письмо.

Вагаев писал: «Вы знаете, что отныне вы мне жена... — вы мне себя вручили, обручили, зачем же избегаете меня, кого вы называли вечным, „небесным супругом“ даже?! вы з а б ы л и! — вы Пречистая для меня, каждое слово ваше правда! — вы обещались мне, вы предавались мне „нераздельно“, и я называл вас „жена моя, вечная моя“! смотрели в мои глаза, шептали — „в е ч н а я“... или не правда это?! Вы стали моей...» — тут было густо зачеркнуто. Даринька в волнении шептала: «Но это же не так, неправда... я не могла так... — это безумие!» Вагаев умолял не мучить себя напрасно, не губить открывшееся счастье, дарованное Богом. «Пречистая, вы не можете играть сердцем, вы не пустосердая кокетка... чего боитесь, вы же свободная... сами признались мне, что В. хочет от вас избавиться? не могли вы сказать неправду...» Он умолял ее озарить ужасную жизнь его, которая ему невыносима с самого того дня, с той ночи — «помните, у монастыря, в метели?» — когда она подняла в нем все чистое одним осиявшем его взглядом, одним озарившим его вскриком: «Дима!» Он заклинал ее поверить ему, что он стал другим, лучшим, — «и это сделали вы, чудесная, чудотворная, небесный ангел... и вы отвернулись от

меня, спасаемого вами!»). Клялся всем для нее пожертвовать, во всем быть послушным ее воле...

Письмо было большое, — «пламенная, сумбурная поэма», — говорил о нем Виктор Алексеевич. — И оно Дариньку потрясло. Это был последний соблазн, самый неодолимый, кажется. И все же Даринька совладала. Она удалилась в свое укрытие, в «детскую», и там что-то случилось с ней... С ней случился «молитвенный припадок». Анюта слышала, как Даринька вскрикнула и упала. Старушка с девочкой обливали ее водой, и, когда она пришла в себя, ее лицо было необыкновенно светлое, — «так нас и осветила», — говорили они потом. Мне она говорила, что тогда она увидела в с е, что с нами будет, но теперь забыла, что видела. Помнила только, что скоро мы уедем и — «большие монастыри». Это «видение» могло быть отражением пережитого, ее поездки к Троице. Так я тогда и думал. Но вскоре мы действительно уехали из Москвы, и там, куда мы уехали, близко совсем были большие монастыри.

Виктор Алексеевич нашел Дариньку совершенно преображенной. Она показалась ему спокойной, просветленной, что-то р а з р е ш и в ш е й, как бы выполняющей ей назначенное. Она стала еще прозрачней, еще прелестней. Виктор Алексеевич не находил слов, чтобы выразить новую красоту ее. Такой он видел ее в снежное утро после ее болезни, когда лежала она в постели, смотрела на привезенные доктором цветы, — лежала вся восковая, снежная, как бы из тончайшего фарфора, «неземного», как бы лампада светилась в ней. Не удивлялась, не вопрошала: светилась уже постигнутым. Прежняя робкая покорность ее сменилась кроткой какой-то сдержанностью, благодотно-ласковым. Таким взглядом, с таким лицом счастливая мать глядит на своего младенца. И в этой благодотной ласковости ее чувствовалась з н а ю щ а я воля.

Она не ответила прежним порывом ласки. Она кротко его поцеловала, и Виктор Алексеевич почувствовал, что в ней что-то изменилось, углубилось, о с в о и л о с ь, чего она не отдаст, не выскажет.

— Я сам был сдержанней, чем всегда, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Я был преступником перед ней, я не имел права даже ее касаться. И она чувствовала это. И я почувствовал, до чего я ничтожен, грязен. Все она мне сказала, во всем покаялась. И я понимал, что не передо мной кается она, а был лишь свидетелем исповеди ее, ее борьбы и нечеловеческой победы. Она рассказывала, будто вспоминала, воскрешала перед собой все мелочи, все слова, все, что было за эти дни в мыслях ее и действиях, и я поражался сокровищам памяти ее, чуткости ее, художественной силе ее рассказа. Слушал какой-то божественно-дьявольский роман и как будто видел состязание и игру сил в этой «божественной комедии», где разыгрывалось по чьей-то воле, по внутреннему, невидимому плану — с т р а д а н и е о с ч а с т ь е, и темные силы были попущены в ту и г р у. Эта «игра», как выяснилось потом определенно, была необходима, чтобы направить шаткие жизни наши к определенной цели, — направить «небесными путями». Я перед ней склонился, я целовал ей ноги, раздавленный духовным ее величием. Я понял, что она вся чистая, вся такая, какой увидел ее в памятный день июля в келье матушки Агнии, — осветляющий тихий свет, святая. Тогда я пришел, как вор, и устыдился, и преклонился. И тут, опять, почувствовал себя вором и злодеем, неправдопосагающим на то, чего я недостоин. И при всем сознании, что я вор, я, пряча от себя стыд свой, мысленно праздновал победу, что все-таки «мне принадлежит», «мое», и каковы же эти старцы-прозорливцы, который посылают «томиться» и «везти возок», посылают ко мне, к вору и гаду, на всю жизнь посылают, меня жалеют, мне оставляют «лакомый кусочек»! Я торжествовал, благодарил старца за «премудрость», внутренне ухмылялся, но... страшился вдумываться, а только поигрывал воровски этой винтящей мыслью. Как же я таил это от святой, от жертвы моей, от кающейся грешницы, м о е й и на целую жизнь моей! Если бы знала она мои усмешки и радости злодея! Знала бы?... И тогда бы не изменилась. Она была слишком высока, видела куда дальше, чем мои глаза вора, обшаривавшие ее, обновленную, не ласканную давно, заманчивую преображенной свежестью и светом. Я касался ее руки, чудесных ее волос, и голова кружилась от наслаждения страстной мыслью, от раздражения женщиной, ждущей моих объятий, казалось мне. Я, гад ползучий, «кающийся», — я ей покаялся в о о б щ е, без подробностей, отвлеченно, — приехал неизмеримо гаже, чем был раньше. Я раскалился от петербургской историйки, хотел объятий, пировал на «глупости» и «простоте» благодотного старца, приковавшего Дариньку к каторжному «возку»... я, как лисица, орал в душе: «Битый небитого везет!» А они, старец и святая, в с е с т а р

цы, кого мы встретили в нашей жизни после, свое торжествовали. И отторжествовали, победили гада, Гада. У них своя бухгалтерия, такая иррациональнейшая, что все мои построения ученого математика, механика и астронома оказались палочками из арифметики. За эти дни Даринька поднялась в высшую математику со своим старцем Варнавой, а я провалился на сложении.

Даринька простила Виктора Алексеевича, простила благосклонно, как ребенка за баловство, но было что-то в ее глазах, похожее на брезгливость. Она показала ему все телеграммы и письма Димы, перечислила все цветы и поцелуи, все «провалы сознания», до смущавшего ее ужина после театра. Объяснила ему — и он как будто понял, — чувства свои в метели, когда зрела «Хрисанфа и Дарию», небесно венчаных, когда не было ни земли, ни неба, а «что-то никакое, совсем пустое». Показывая голубое письмо, написанное Димой еще в Москве, сказала, смотря непорочными глазами: «Это не так, неправда... это было в метели, во сне, как будто... и там, в Зоологическом, на горах, было такое же, не в жизни... я говорила, не сознавая... видела сны, и он целовал меня...» Он спросил: «Ты его любишь?» Она подумала. «Да, люблю... сказала она спокойно, — но эта любовь другая. Я ушла бы к нему... он тоже слабый, мне его жалко очень, сердце мое лежит к нему... я не могу говорить неправду, я ушла бы. Но мне другое н а з н а ч е н о».

— Это меня больно укололо, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Во мне болело оскорбленное чувство собственника. Ведь я нашел ее, придал ей чудесное обрамление, и она — моя. Я понимал, что для нее, такой... и еще лучше, если бы она стала чуть-чуть не такой, а как бывала к театре или в том маскараде... если бы только захотела, открылись бы все сокровища, титулы и дворцы... что — я! И я помалкивал. Я видел, что у нас надломилось что-то, в близости нашей с ней. Но, правду сказать, какая же была близость между нами? Я, властитель, — и она, покорная, кроткая рабыня. И вот я видел теперь, что она перестала быть рабыней, что она — вот такая, высоко надо мной, царица, а я — у подножия ног ее. В чем я мог упрекнуть ее?

Этот «надлом» между ними остался на много дней. Были спокойные отношения молчаливо условленного братства. Даринька больше сидела в «детской», за пальцами, вышивала покров на ковчежец с главкой Анастасии-Узорешительницы, по лиловому бархату васильки. Виктор Алексеевич усиленно хлопотал с разводом, вел дело о наследстве. От Димы приходили «голубые» письма. В первые дни приезда Виктора Алексеевича она сама составила обещанное Вагаеву по телеграфу письмо-ответ, высказалась, открыв всю душу. Это письмо отняло у Вагаева последнюю надежду, как он написал в ответ. Но он продолжал писать, уже не прося ответов, просил позволения писать ей. Она читала, давала читать Виктору Алексеевичу и складывала в троицкий сундучок, заветный. Эти «голубые» письма что-то будили в ней. Она становилась замкнутой и грустней, Виктор Алексеевич советовал ей кончать «эти послания», советовал осторожно, делая над собой усилия, но Даринька спокойно говорила: «Это его покоит, я не могу делать ему больно»... «И тебе это интересно, ты прячешь его послания?» — «Да. Я просила его больше не писать мне о чувствах, он теперь пишет стихи и умные слова, и это интересно мне. Я ведь так мало знаю. А мне надо знать больше, очень много». Виктор Алексеевич сознавал, что сам ничего не дал Дариньке, и смирился. Что же писал Дариньке Вагаев?

Вот что рассказывал об этом Виктор Алексеевич.

— Эта односторонняя переписка... Дима как бы предвосхищал ответы Дариньки, и порой удачно, — продолжалась до мая, когда Дима пошел добровольно на войну. После ее просьбы не говорить о ней, писал довольно интересные письма «обо всем» — о поэзии, о музыке, о Боге, — он слушал Вл. Соловьева, которого я все еще собирался слушать, — о ж е р т в е н н о с т и, о счастье... о «счастье» особенно подробно, но дальше банальностей не пошел. И во всех письмах неприкровенно сквозила нежность и нежность к ней, и вся эта «энциклопедия» пересыпалась стихами, лирикой, «ею» и «к ней», выдержками из Пушкина, Лермонтова и... Розенгейма. Впрочем, порой из Гёте, подлинными стихами, с приложением плохого перевода. Дариньку эта лирика трогала, иногда я видел ее в слезах. Я кипел, злился на странное положение свое... и сдерживался, что-то выжидая. Не смел и думать — вызывать Дариньку на ласки. Боялся спугнуть ее, отвыкшую от меня. Она понимала мои взгляды, движения к ней, невольные, — и отводила глаза. Я видел, что она не хочет... не хочет ж и т ь. Я мог бы сыграть на ее струнах, что даже и

старец приказал «томиться», «везти возок», ж и т ь, и знаю, она покорилась бы, приучилась опять ко мне... Но какое-то чувство неловкости, какого-то «очищения» сдерживало меня. Мне было жалко ее, обретенного ее покоя. Я верил, что это еще придет. Я знал: Дима ее любил. И знал, за что полюбил ее. Любовь... Этого никто определить не может... любовь. Но он верно определил сокровенную сущность Дариньки и своей любви. И это мне было неприятно. Он как бы предвосхищал то самое, что я должен был понять п е р в ы й, что я и понял, только гораздо позже. Он писал ей, что в ней, как ни в какой из женщин, кого он знал, кого любил, — а он любил очень многих и очень разных — слиты два мира, в духе ее и чарующем облике: обычный земной, всем ясный, и — «замирный», влекущий неразгаданной тайной. В «голубых» письмах всегда повторялись излюбленные слова: «Божественное смотрит из ваших глаз», «в вас, как ни в какой другой, особенно чувствуется то вечное, что уводит за эту жизнь». Он писал, что слышит в ней «шепот небесной тайны», что в ней постигает он «самое идеальное любви», что она в этом мире «как во сне», что истинная она — в другом, замирном, и в ней, через нее, он чувствует мир предвечный, откуда она пришла. Он говорил, что видит в ее глазах «тревогу пробуждения». «В вас, — писал он, — великий отсвет того мира, о котором лермонтовский ангел пел в тихой песне, того небесного, предчувствуемого, о чем мечтает поэзия, что ищет философия, что з н а е т одна религия... вы его драгоценный отблеск». Он говорил только о любви. Спрашивал, почему юная любовь так идеальна, почему она быстро гаснет. Все чистые, юные угадывают в любимых глазах этот скользкий отблеск в е ч н о г о, его ускользающую тайну. Она всех влечет, и хотят ею овладеть, внять ее объятиям страсти, но она ускользает, и остается привычно-тленное, разочарование и скука. В Дариньке это «вечное», это мерцание миров иных, «небесная красота»... необъяснимая, неназываемая прелесть — была исключительна, в преизбытке, как дар небес. Она была именно «чарующая прелесть», «какой-то святой ребенок», как сказал доктор Хандриков. Это с в я т о е, что было в ней, этот «свет нездешний» — наполняли ее видениями, голосами, снами, предчувствиями, тревогами. Тот мир, куда она смотрела духовными глазами, — только он был для нее реальностью. Наше земное — сном. И отсюда вечная в ней «тревога пробуждения», которую отметил Дима. Он писал ей, что впервые ему открылось это в метель у монастыря... и потом, в зимнем поле, на грани иного мира... в «незабвенный метельный с о н», когда Даринька насаждала обещаний, себя не слыша. Отсюда-то — страстная, напряженная в ней борьба, невиданное Димой сопротивление з е м н о м у, что удивило его дерзость, привыкшую не встречать сопротивления, что раскалило его, очаровало и увлекло... и покорило, и — смирило.

Это истолкование Дариньки в «голубых» письмах Вагаева, передававшееся Виктором Алексеевичем спокойно даже по прошествии многих лет, стало и его собственным. Он говорил о «золотинках» в ее глазах, о «матери Божества», неведомыми для нас путями просыпавшейся из Божественной Кошницы и оставшейся на земле: «Эти золотинки Божества в глаза упали и остались... кротость, неизъяснимый свет, очарование, святая ласка, чистота и благодать... в е ч н о е в ней светилось, от той Кошницы». Он это знал, но не сознавал. Сознал он после.

XXXIII ИСХОД

Виктор Алексеевич — было это в день возвращения его из Петербурга — был удивлен, когда Даринька подошла к нему, держа обеими руками просвирку, и сказала, как говорит мать ребенку: «Вот съешь просвирку, н у ж н о». Он привык к невинным ее причудам. Поглядел с ласковой усмешкой, и его поразило что-то болезненное, жалеющее в ее глазах. «Если тебе приятно... но почему это н у ж н о?» Она сказала уверенно: «Так велел батюшка Варнава, ты г о л о д н ы й». — «В таком случае насытимся». Он взял просвирку и, проглядывая письма, начал охотно есть. «Ты не перекрестился», — сказала она грустно. «А это непременно надо? буду знать». «Мы скоро уезжаем?» — спросила она, о чем-то думая. «Куда? разве мы собирались куда-нибудь уехать?..» — спросил рассеянно Виктор Алексеевич. «О н сказал: „П о е д е т е к у д а — заезжайте, посмотрю на вас...“ — значит, мы должны куда-то ехать». Он посмотрел и увидел «что-то проникновенное» в грустных глазах ее. «Д о л ж н ы?...» — «Ты говорил, что у тебя вышла неприятность... з н а ч и т, мы уедем».

От этого разговора у Виктора Алексеевича осталось смутное чувство «предопределенности», хотя

ни в какую predeterminedность он не верил. Он попытался отмахнуться и подумал, что Даринька говорит это потому, что они не раз говорили о поездке за границу, когда будет получено наследство. Но тут же почувствовал, что Даринька говорит не о загранице, а о чем-то связанном с жизнью, прочном. И, поддаваясь «голосу из сердца», подумал вдруг: «А не уехать ли совсем?» И тут же отмахнулся.

Но Даринька слушала с в о й голос.

Как начинают вить гнезда птицы, когда приходит пора, она начала прибираться между делом: разбиралась в комодах и сундуках, откладывала, что надо отдать бедным, пожертвовав в комитет помощи славянам, «забрать с собой». Застав ее как-то над сундуками, он пошутил: «Ты вся пропиталась табаком и камфарой, какая-то сундучная страсть у тебя открылась!..» Она сказала: «Надо привести в порядок... мало ли что случится». «Ты вроде тараканов, — усмехнулся он. — Говорят, перед пожаром они начинают суетиться и ползут из дому». Она сказала: «Это правда... и матушка Агния говорила, что перед большим пожаром в Страстном все тараканы поползли из келий и хлебной, и тараканам д а е т с я знать». Он засмеялся и назвал ее милым таракашкой.

Разбираясь, она нашла голубой шарфик, разглаженный и далеко запрятанный, подумала, завернула в тонкую бумагу и положила на дно картонки, где хранилась батистовая прозрачная сорочка — та, маскарадная. Пересмотрела платья, отложила «голубенькую принцессу» — бедной какой-нибудь невесте — и задумалась над «ампир»: «Отдать?..» Виктор Алексеевич не раз просил показаться ему в «ампир». Он читал в газетах об ее триумфе в маскараде: называли ее «красавицей со старого дагерротипа». Но она упорно уклонялась, И вот, когда она раскинула голубой газ на серебристом шелку, в золотых искорках и струйках, вспомнились ей зеркальные белые колонны, люстры, кружащие переливы вальса... Она закрылась руками и увидела все, до мерцания огненных язычков в колоннах, до золотого жгута, зацепившегося на ней за газ... увидела чудесную чужую, отраженную в зеркалах, в колоннах. Когда она так стояла, Виктор Алексеевич застал ее и опять стал просить — показаться ему «графиней». Вся в мечтах, она не нашлась отказать ему. Это случилось вечером, при огнях. Она попросила его уйти, достала батистовую сорочку, бальную, надела газовое «ампир», уложила жгутами косы, пустила локоны по щекам, вколола гребень веретенном, серебряный, веером разметала трэн, оглядела себя в трюмо и позвала взволнованно-смущенно: «Иди, смотри...» Он глядел на нее, чудесную, на ее грудь и плечи, — и живые, и зеркальные, при огнях. Она увидела за собой, в зеркале, умоляющий взгляд его, услышала страстный, зовущий шепот: «Дара...», испуганно метнулась и оградила себя руками, чтобы не допустить... — но он ничего не видел.

Торопясь все закончить к сроку, как говорил ей г о л о с, она сидела за пальцами, отрывая часы у сна, и к Сретению Господню закончила работу над покровом на ковчежец с главкой великомученицы Анастасин-Узорешительницы, предстательницы ее перед Пречистой, и отнесла в Страстной монастырь, скрыв себя под вуалькой, чтобы не признала ее мать Иустина-одержимая. И не от себя возложила покров на главку, а протянула, кроясь, монахине пригробничной и шепнула: «Возложите, матушка... по обещанию просящей». И после, вдолге, придя укрытой-незнаемой, на Благовещение, с радостью смиренной увидела на ковчежце лиловый бархат, шитый золотыми колосьями и васильками.

Одиннадцатого февраля — помнила день тот Даринька — праздновалась память преподобного Димитрия Прилуцкого. Даринька ходила в церковь, служила преподобному молебен. В тот день случилось событие, оставившее в сердце ее тяжелый след.

Она пришла из церкви спокойная, радостно-просветленная и увидела необычное на дворе. Ворота были открыты, во дворе толпились пришлые и соседи. У погребов, в снегу, стояли какие-то странные, с темными лицами, закутанные в тряпки и овчины. Женщины были похожи на цыганок, растерзанные, с голой грудью, с детьми в лохмотьях. На черных лицах сверкали жуткие белки глаз. Тощий старик с замотанной головой, кланялся и крестился, а глазевший народ вздыхал и крестился на старика. Дариньке стало страшно. Она увидела Карпа и спросила, что это и почему все крестятся. Карп, тоже крестившийся на странных, сказал, что это наши, православные,

горевые, славянские болгары-сербы, замучили их турки — «вот и пришли к нам жаловаться, чтобы им помогли... вот наши добровольцы все и едут, сирот защищать, на Божье дело». Старик сдернул с руки лохмотья, и Даринька увидела черно-багровую щель на ней, и в этой ужасной щели что-то белело жестко. Ей стало тошно, искрой пронзило ноги, и она вскрикнула: «Господи... кость живая!» «Косточку видать, как истерзали...» — сказал Карп, морщась. Старик ткнул пальцем в «живую кость» и начал мычать и лаять. Потом показал на шершавого мужика, залаял, и тот тоже залаял и замычал. И когда мычал, Даринька увидела, что в его темной глотке вертится и дрожит что-то ужасно страшное... вместо живого языка черный огрызок какой-то. Народ вздыхал. «Живые мученики», — вздохнул Карп, Даринька увидела черную женщину с ребенком, с ямами вместо глаз: на голом ее плече лохматилась черная коса. Стали класть старику копейки в шапку. Даринька высыпала все, что было у нее в маленьком кошельке, отошла и заплакала. Вспомнила — и побежала в дом, достала из троицкого сундучка семьдесят рублей, заработанные у Канителева и берегшиеся «на случай», и, не утирая слез, ничего через них не видя, отдала женщине с ребенком. Мученики пошли, народ повалил за ними.

«Вот, б а р ы н я, делается чего на свете!..» — сказал, запирая ворота, Карп.

Дариньку удивило и даже испугало, что Карп назвал ее почему-то «барыней». С того дня так он и называл ее. Почему — Даринька не знала. И не спрашивала его об этом.

19 марта, день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии, — было это великим постом, в субботу, — Даринька причащалась. Придя из церкви, благодатная и просветленная, она увидела на столе корзину белых гиацинтов и большой торт, любимый ее, из сбитых сливок, от немца на Петровке, где когда-то пила она шоколад с Димой, подумала с грустной нежностью, что Виктор Алексеевич все-таки не забыл, что сегодня день ее Ангела, — а она ему не говорила, — и улыбнулась на торт со сливками: «Забыл, что сегодня пост». И увидела вложенную в бумажное кружево карточку. У Дариньки захолонуло сердце, когда читала она написанное знакомым почерком: «С Ангелом, Дари!» Она стала осматривать гиацинты, и там, в кудрявых, хрупких, будто из снежного фарфора, колокольчиках, пряталась такая же точно карточка, с теми же грустными словами, — почувствовалось так Дариньке, — «С Ангелом, Дари!»

Вернувшись со службы и узнав все, Виктор Алексеевич почувствовал себя раздавленным: Даринька не напоминала, а он забыл, что сегодня ее день Ангела. В раздражении он не мог удержаться и спросил Дариньку: «Ты ему писала?..» Она покачала головой. Он сказал: «Ты права, что не удостоила меня ответом». Она ему предложила, не подумав, торта. Его передернуло, он вскочил и крикнул: «Ты... научилась издеваться!..» После он целовал ей руки, просил прощения. Торт отослали в детскую больницу: ни Анюта, ни Прасковеюшка, ни Карп не ели постом скромного.

В конце марта — двухлетие их встречи — адвокат по разводным делам сообщил, что, ознакомившись с делом, он пришел к выводу, что развода добиться не удастся. Противная сторона заявляет, что супружескую верность нарушил истец: бесспорное доказательство — открытое его сожителство с бывшей послушницей Страстного монастыря, цеховой Дарьей Королевой. Госпожа Вейденгаммер развода пока не требует, а начинает процесс о взыскании на содержание детей и ее самой в соответствии с ожидаемым наследством. Если же намерены настаивать на разводе, ее адвокат представит консистории дело из архива монастыря «о побеге белицы, цеховой Дарьи Королевой при соучастии инженера В., к последнему».

События устремлялись, узлы как-то сами рассекались: все совершалось как по плану, — «выталкивало и направляло, куда н у ж н о».

В апреле на Фоминой другой адвокат доложил о положении дела о наследстве. Бийские прииски дают остаток по активу в 18 тысяч. Компаньоны-англичане предлагают 20 при ликвидации без суда. По договору процесс придется вести в Иркутске. Можно, конечно, потягаться, вытащить кое-что еще. Виктор Алексеевич судиться не захотел. «Миллионный» дом на Тверском бульваре «висит на волоске», подрядчик Р. требует по второй закладной с процентами за три года, предлагает

оставить дом за собой, с переводом долга кредитному обществу, и соглашается дать в очистку только из уважения 25 тысяч чистоганом. Можно довести и до торгов, но можно и промахнуться ввиду начинающейся войны. После переговоров подрядчик накинул еще пятерку, и Виктор Алексеевич согласился. Сказал Дариньке: «От наших миллионов осталось только полсотни тысяч». Даринька сказала: «Довольно с нас». Дом на Тверском бульваре стал называться «Романовкой», а над Виктором Алексеевичем смеялись, называли «инженером-бессребреником».

В начале мая приятель сообщил из Петербурга, что за проект назначили Виктору Алексеевичу «в поощрение» три тысячи, и советовал выждать время, а пока согласиться принять участок между Орлом и Тулой, старшим инженером движения в Мценск. Виктор Алексеевич понял, что его выживают из Москвы: у бывшего тестя большие связи в управлении дороги. В раздражении он решил было бросить службу. Но случилось «странное совпадение»...

В самый тот день, как пришло письмо от приятеля, он искал в газетах для Дариньки на лето спокойную дачу-усадебку, чтобы переменить место и впечатления, и прочел, — бросилось в глаза: «Под Мценском, на живописной Зуше...» Под М ц е н с к о м! По случаю семейного раздела продавалась недорого, за 12 тысяч, барская усадьба-дача Уютное, с лесом, лугами по речке Зуше. яблочный сад, парк, вишенник, лошади, охота, лодки, рядом церковь... Что-то ему мелькнуло... когда прочитал он — «Уютное»... и поразило, что — т о ж е М ц е н с к, и... — что-то такое связано с... Уютное?.. Не мог припомнить. Эти места он знал, не раз там бывал, в разъездах, — тихие места, лесные. Даринька леса любила... Он поглядел на карту. Мценск, Горбачево, Козельск, Тихонова Пустынь, Жиздра... Козельск?.. там эта знаменитая Оптиная пустынь. Задумался, — и, «неожиданно для себя», спросил Дариньку, проносившую стопочку белья: «Дара... хочешь хозяйничать, помещицей?» Она остановилась. «Это... в деревне?» «Да, в барской усадьбе, называется Уютное... у нас будут лошади, цветы, сад... Ты лошадок любишь...» — сказал он ласково, как ребенку. Она улыбнулась светло. «Да, я люблю лошадок». — «Там большие леса, близко Оптиная пустынь и рядом церковь, в селе... Уютное!..» И он вспомнил, что ему мелькнуло в мыслях. Она быстро спросила, запыхавшись: «Это почему? мы едем, да?» Он смотрел, как светилось ее лицо. «Если ты хочешь, мы уедем совсем туда... будешь кататься на лошадках, править, сажать цветы... вишни, яблоки... и там большие монастыри, старинные...» — «Большие монастыри?!..» — повторила она, светясь. «Да, большие монастыри...»- сказал он шепотом, вспомнив вдруг, как она недавно говорила, что в и д е л а... — «и там б о л ь ш и е м о н а с т ы р и...». «Ты сказал... называется Уютное?..»-перебила она его, радостно осветив глазами. Он посмотрел в газету: «Да... Уютово... но это одно и то же». — «Уютово... так и написано?..» И они встретились глазами. Их мысли встретились, но они не сказали, о чем подумали. Вспомнили оба счастливый день, морозный, ясный, монастырь и матушку Виринею-прозорливую: «Господь вас обоих и пожалеет, обоих и привееет, как листочки, в уюточку». Даринька положила на стол белье, сложила под шейю руки, ладошками... «Хочешь?..» — спросил он ее опять. «Хочу!.. — вскрикнула она с радостной мольбой. — Господи! так... хочу, хочу!..» И в глазах ее заблестели слезы. Он взял ее руку, поцеловал и почувствовал легкость в сердце. «Мы уедем... тебе понравится», — сказал он. Она перекрестилась и тихо, будто в себя, сказала: «Там будет хорошо».

Решилось сразу. Виктор Алексеевич телеграфировал, что принимает Мценск. Съездил, взглянул — и купил усадьбу. Вернулся легкий. Дом оказался приятным, светлым, сад распускаясь, было благоуханно, тихо, в кустах по речке заливались соловьи, куковала в бору кукушка. Начали готовиться в отъезд.

В половине мая, когда Виктор Алексеевич был на службе, Даринька выкапывала из клумбы маргаритки, чтобы снести на кладбище, матушке Агнии и Виринею-прозорливой. Было жарко, полдень, нежилась сирень на солнце, Даринька нарвала сирени. Когда ломала сирень, услышала, что кто-то за кустами. Выглянула — и оторопела: Дима?!.. Вагаев шагал по клумбам в белой блиставшей куртке, придерживая саблю, позванивали знакомо шпоры. Пряча лицо в сирень, Даринька смотрела неподвижно. «Не ждали? — крикнул Вагаев, запыхавшись. — Только на минутку, мимоездом... не мог не...» Черные его глаза сияли. Он снял фуражку и положил на куст сирени. «Не сердитесь? — спросил он, как когда-то. — Я вас встревожил, милая Дари?..» — «Нет, я рада... — шептала Даринька оторопело, — Виктор Алексеевич на службе, я такая грязная:

копалась. Вы... проездом?..» — «Да, в армию. Сядемте, Дари... — показал он на старую скамейку. — Ваше письмо я понял. И ваше „невозможно“ тоже... понимаю. Писал вам... У вас чудесно, все сирень... Можно?.. — потянул он. из букета ветку. — Светлая вы какая... Дари!..»

Даринька была в белом пикейном платье, с длинными косами, как она ходила дома. Пряталась в букет, дышала. Вагаев саблей царапал землю.

«Виктора не увижу. Скажите, заезжал проститься. Скажите, что... Не закрывайтесь, дайте на вас глядеть. Чудесная... стали еще юней... Ну, зачем же плакать... Можно?..» Он поднял ее руку и поцеловал. «Вся в земле... я маргаритки... вы... на войну?» — «Да, в армию. Я вас встревожил, но я не мог не...» — говорил он ей, ее руке, поглаживая тихо. «Нет, вам я рада... — через силу сказала Даринька, — мы тоже... уезжаем, совсем... в Мценск...» — «Мценск? Вот как... Знаю, как раз поеду мимо. Мы еще встретимся, Дари? правда, мы встретимся...?» — «Да, мы встретимся».

Вагаев взял с куста фуражку.

«Я счастлив, что еще раз увидел... вас, чудесную! и все — чудесно! Милая Дари, мы остаемся вечными друзьями, да?..» — «Да... — сказала через слезы Даринька, уже не видя, — дайте... я перекрещу вас... Дима...» — «Да, перекрестите. Мама крестила, а теперь вы, другая милая...» Не видя, Даринька утерла сиренью слезы. Он склонился к ней. Она его перекрестила, истово, смотря в глаза, притронулась руками к темной голове, к играющим височкам, все таким же, поцеловала над глазами. Он поцеловал ее у бровки. «Не буду больше вас... пора... как взволновался, увидел вас... но перед вами мне не стыдно... Ну, до свидания, Дари... до сви-дания?..» — «Да...» — шепнула она вздохом, ничего не видя. «Дайте мне...» — потянул он белую сирень, какой она утерла слезы. «Все возьмите...» — «Нет, только э т у, вашу... Нежный ангел!.. Помните, Дари... ведь это правда, это не стихи... „Прости, он рек, тебя я видел... и ты... н е д а р о м мне сиял...“ Это — з д е с ь. Я счастлив, Дари... я очень счастлив... очень! я в и д е л вас. Вот, смотрю на вас, запоминаю... Дари!..» Он держал ее руку и смотрел, запоминал. Даринька помнила: в глазах его блестели слезы, «Ну... до с в и — д а — н и я...»

Даринька слышала его шаги. Не различала белого пятна в деревьях, в солнце. Слышала веселый окрик: «А, Карп! ну, как, гвардеец?» Что-то говорили, «...чудесно!..» — узнала она голос. Это «чудесно» осталось в ней слепящим блеском.

События стремились. В конце мая заговорили о скандале, о «детских душах», о чрезвычайном следствии, о высочайшей резолюции — «вскрыть гнойник, всемерно, беспощадно». Шептали имена, упоминали о бароне, о приютах, о девочках-сиротках, о «Паньке». В газетах сообщили о самоубийстве барона Р. Его нашли на косяке в зимнем саду, под пальмой: удавился на шелковом шнурке, висел весь синий, с вываленным языком, ужасный. Виктор Алексеевич был поражен не этим, а «совпадением»: после «Яра» были у барона, и с Даринькой случился обморок: привиделся барон — под пальмой! — в образе дьявола, как на цыганских картах, синий, скалится, вывалив язык, Виктор Алексеевич не сказал Дариньке, боялся, что ее расстроит.

В конце июня отъезжали в Мценск. Даринька сходила к Марфе Никитишне, проститься: больше не было у нее никого з д е ш н и х. Просвирня прослезилась, благословила Дариньку «Скоропослушницей», как дочь родную называла — «деточка моя сердешная». Пожелала — в р а д о с т и успокоиться. Догадывалась она, что по младенчику Даринька горюет, — не доносила. «Пошлет тебе, деточка, Господь р а д о с т ь, молись Гурию, Симону и Авиву, семейные покровители». Знала Даринька, чего желает ей просвирня, знала, что э т о г о не будет. Поклонилась в пояс, как кланялась матушке Агнии: «Спасибо, матушка, на добром слове, недостойная я р а д о с т и». Даже погрозились на нее просвирня: «Грех, грех отчаиваться, великий грех! все и говори, смиренно: „Да будет мне по глаголу Твоему, Господи!“» И дала совет побывать в Шамордине, под Оптиной, навеститься к старице-матушке Анфисе — московская, подружка ее была. «Вот уж чистое-то сердце... утешит, сама увидишь». Даринька отслужила панихиды на могилках, поплакала. Простилась с переулком, с крылечком, с садом. Было светло и грустно. Остановилась у сирени. Смотрела в небо и молилась.

Вещи были отправлены. Комнаты серели пустотой. Анюта топотала: скорей бы на машину. Даринька брала ее охотно. Было хорошо, что и Карп поедет, человек надежный, верный, с ним спокойно. Карп любил хозяйство, лошадей, тихие места и богомолья. Радовался, что побывает в Оптиной: неподалеку. Попросился сам, надоело ему «в камнях мотаться».

Перед отъездом Даринька сказала, что надо непременно поехать к Троице, благословиться у батюшки Варнавы: сам ей наказал.

Были у Черниговской. Цвели луга. У домика отца Варнавы было полно народом. Долго ждали, Виктор Алексеевич кривился. Наконец вошли. Батюшка не помнил, кто такая. Даринька напомнила. Он всмотрелся — и тут припомнил. Пошутил: «Помню, помню... была Дарья, а вот, барыня стала, чисто п о м е щ и ц а... помню, п у г а н а я была, а вот теперь и не боишься... помню, помню...» Оба изумились, что батюшка сказал — п о м е щ и ц а. Правда, теперь — помещица. Виктор Алексеевич чувствовал себя смущенно. Батюшка спросил, как имя. «А-а... помню, помню, победитель. Вот и п о б е ж д а й». Благословил на путь. «Оптино... вот вы и опытные будете... хорошо, дочка, выбрала, у м н и ц а, — батюшка погладил Дариньку по голове, — с Богом, с Богом... — Оборотился к Виктору Алексеевичу и быстро-быстро: — Говоришь — инженер? вот и с т р о й с Богом, с Богом!..» И дал по кресту.

Виктор Алексеевич сказал про старца: «Приятный и неглупый». Даринька поправила: «Святой». Все было светло. Светлы были лица ожидавших благословения, светло было в небе, светлы были березовые рощи, пруды, луга, овсы, И светлы дали.

Отъезжали в Мценск. На вокзале Виктор Алексеевич купил газету. Заняли купе, правленское, «жетонное». У синего вагона вытягивались молодцы-кондукторы. Обер-кондуктор, в белоглазетовых обшивках, широкогрудый, бравый, плотный, четко козырял, бил трелью, вскакивал мягко на подножку, в сапожках с глянцем, держался у вагона на виду. Дариньку удивляло: какой почет им. Высунувшись в окошко, она смотрела, как смотрела в детстве, на светлые поля, на убегающие рощи, на откосы, полные цветов. Анюта вскрикивала: «Земляничку вижу!» Виктор Алексеевич курил, читал газету. Встречный ветер струил на Дариньке кудряшки, веял в лицо духами. Виктор Алексеевич прочел в газете... — тряхнулся и затаенно поглядел на Дариньку: она летела восхищенно в ветер, придерживая шляпку. Он опять прочел — о переправе через Дунай. Первыми, вплавь, перешли казаки, под огнем. Завязалась перестрелка, казаки кинулись в атаку. В жаркой схватке пал геройской смертью... «прикомандированный по личной просьбе к... — му казачьему полку ротмистр лейб-гвардии гусарского Его Величества полка князь Вагаев Димитрий...»

Виктор Алексеевич перекрестился, убрал газету...

Даринька летела в ветер, придерживая шляпку.

Март 1935 — май 1936

Булонь-сюр-Сен